4
П-78

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

1982

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

78305

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1982

Ответственный редактор
доктор филологических наук
В. П. ГРИГОРЬЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1984

Очередной выпуск ежегодника сохраняет структуру предшествующих сборников этой серии. Значительную часть сборника составляют работы, посвященные теории морфологии, словообразования и синтаксиса и анализу соответствующих групп фактов с помощью разных лингвистических методик. Второй круг статей посвящен лингвистической поэтике. Исследуются принципы звуковой организации стихотворного текста, в частности отношения «ритм и синтаксис», «интонация и стих», звуковые повторы и другие явления. Специальным предметом анализа является поэтика штампа, диалога, семантические оппозиции внутри художественного текста.

4
П-78
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА Р[illegible] ЯЗЫКА
АН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
78305

П $\frac{4602000000\text{-}295}{042\,(02)\text{-}84}$ 358-84—III

© Издательство «Наука», 1984 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск ежегодника «Проблемы структурной лингвистики» (ПСЛ) наряду с основной грамматической и лингвопоэтической проблематикой обращается и к некоторым новым для него проблемам.

Одна из них представлена статьей Н. Д. Арутюновой, которая и ранее была известна своими работами в области логики языка и его тропеического аппарата. На этот раз Н. Д. Арутюнова исследует логику оценок и виды их представления в языке. Несомненна важность этой проблемы не только для нормативной русистики и лингвистики вообще, но и для поэтики и эстетики словесного творчества.

Другой новой для ежегодника проблеме посвящена статья Т. М. Николаевой. В ней рассмотрены оппозиции *туга — веселие* и *тьма — свет* как существенные характеристики смысловой структуры «Слова о полку Игореве». Анализ текста такого памятника лингвистом, владеющим и методами семиотики, и дальнейшее обсуждение результатов, полученных автором, может оказаться полезным для многочисленных специалистов по «Слову» и поучительным для любого филолога.

Группу работ ежегодника следует обозначить как подступы к актуальной и сложной проблеме «Интонация и стих». Хорошо известны усилия ряда лингвистов и литературоведов, использующих в частности, и инструментальные методы. Известно и сопротивление, которое эта проблема оказывает до сих пор попыткам построить целостную теорию интонации в стихотворной речи. Публикация С. И. Гиндиным фрагмента из рукописи выдающегося советского ученого Н. И. Жинкина с содержательным комментарием, а также «Заметки об интонации поэтической речи» И. И. Ковтуновой и статья Г. Н. Ивановой-Лукьяновой о ритмико-интонационной организации стихотворных текстов рассчитаны на продолжение и развитие затронутых в них вопросов в последующих выпусках ежегодника.

Проблематика указанных работ не изолирована от вопросов, обсуждаемых в других статьях. Так, нетрудно установить связи между ритмико-интонационными проблемами и темой статьи М. Л. Гаспарова, слово «клише» в заглавии которой перекликается со словом «штамп» в заглавии статьи В. В. Краснянского. Очевидна перекличка между проблемами аксиологии и статьей Э. И. Ханпиры.

Основное содержание сборника составляют статьи, тематическое разнообразие которых подчинено проблемному и методическому единству. Это — проблемы моделирования, классификации и типологии (статьи П. А. Соболевой, Е. Л. Гинзбурга), проблемы категориальных, уровневых и иных взаимосвязей (статьи Н. Д. Арутюновой, М. Я. Гловинской, Ю. С. Азарх, Е. В. Падучевой, Т. С. Моро-

зовой, Л. И. Василевской, М. Л. Гаспарова), проблемы языка художественной литературы в его «экстранормальной», по выражению Н. В. Юшманова, специфике (статьи Т. М. Николаевой, Н. И. Жинкина, И. И. Ковтуновой, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой, Н. А. Кожевниковой, Н. Н. Ивановой, Э. И. Ханпиры, В. В. Краснянского).

Внимательный читатель, вероятно, заметит неунифицированное употребление некоторыми из авторов терминов «поэтический язык», «перифраза» и др. Это — сигналы того, что мы еще не располагаем здесь общепринятыми дефинициями, и призыв к более глубокому исследованию соответствующих проблем.

Коллектив авторов и редактор признательны рецензентам — докт. филол. наук О. С. Широкову и канд. филол. наук Е. А. Некрасовой за ценные замечания по рукописи настоящего выпуска.

В. П. Григорьев

Н. Д. АРУТЮНОВА

АКСИОЛОГИЯ В МЕХАНИЗМАХ ЖИЗНИ И ЯЗЫКА

Оценка относится к числу собственно человеческих категорий. Она задана физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием; она задает его мышление и деятельность, его отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие искусства.

Человек может не быть склонен к объективному анализу явлений и событий, но он обычно придерживается вполне определенной системы ценностей, убежден в ее непреложности и твердо делит все то, что так или иначе его затрагивает, как, впрочем, и то, что его не касается, на хорошее и плохое: добро и зло, счастье и несчастье, благо и беду, полезное и вредное, добродетель и порок, успех и провал, везенье и невезенье, выигрыш и проигрыш, приятное и противное, соответствующее его интересам или мешающее ему достигнуть цели. События и свойства предметов, которые сами по себе не располагают к аксиологическому осмыслению, интерпретируются как знаки, предвещающие добро или худо.

Ценностное отношение к окружающей действительности и перспективам ее развития присутствует у всех людей, формируя их мироощущение; именно оно делит человечество на оптимистов и пессимистов. Оно в то же время обусловливает организацию практических знаний и действий каждого индивида, социальных групп людей и в конечном счете опыта человечества.

Десемантизованный, когнитивно слабый язык оценок поэтому теснейшим образом связан с семантически сильным и точным языком прескрипций, программирующих и регламентирующих разные виды человеческой деятельности. Оценка стоит в преддверии выбора и решения, влекущих за собой переход к практическим действиям. Поэтому логика оценок, разрабатываемая в последние десятилетия, считается разделом теории практического рассуждения (Ивин 1970), а логика норм, имеющая своим предметом прескриптивные высказывания, занята установлением законов, которым подчиняется моральное, правовое и другие рассуждения, ведущие к установлению тех или иных систем правил (Ивин 1967, 1973).

В настоящей работе за исходный пункт приняты особенности ценностного подхода к действительности. В них мы ищем ключ к пониманию и объяснению механизмов языка. Исследование, таким образом, направлено от принципов жизни к принципам языка. Апелляция к жизни заменена нами апелляцией к литературе, отражающей формы бытия и психологию личности.

1

Ценностный подход к жизни, складывающийся в очень раннем детстве, начинается с распределения объектов по противостоящим друг другу категориям хорошего и плохого (аксиологически ней-

тральной зоны мы касаться не будем). Выражая те или другие мнения о мире, человек постоянно налагает на него свето-теневую сеть общечеловеческих и индивидуальных представлений о добре и зле (хорошем и плохом). Эта сеть улавливает и перераспределяет все сущее: естественные объекты, артефакты, продукты потребления и произведения искусства, людей, их психические свойства и состояния, их сознательные действия (поступки, поведение), их отношения друг к другу, мелкие и крупные события видимых и невидимых миров. Человек оценивает все, что было, есть, будет, может быть и могло бы быть.

Оценка создает совершенно особую, отличную от природной, таксономию объектов и событий. Если, объединяя предметы в естественные рода, человек стремится проникнуть в их объективную сущность, то создавая оценочные таксономии, он отражает в них свои интересы, вкусы, надежды, страхи и суеверия. Для того чтобы отнести объект к той или другой аксиологической категории, человек должен войти с ним в контакт: воспринять его физически, психически или эстетически, вовлечь в свою практическую или духовную деятельность, определить степень его необходимости и дефицитности, его роль в тех процессах, которые протекают в жизни, словом, предъявить к нему тот или другой набор требований. Оценочный подход к объекту поэтому налагается на познание его реальных свойств, отношений и функций. З. Вендлер дает убедительное лингвистическое подтверждение точки зрения Дж. Мура, согласно которой качество «хорошести» расположено дальше от объекта, чем другие его свойства (Вендлер 1981, с. 531). Оценка в таксономии стоит «превыше всего», а субъективный подход к предметам не может предшествовать объективному, он может только за ним следовать.

Классификацию объектов, предопределенную природой, человек модифицирует, а иногда и заменяет их делением по оценочно-потребительскому признаку, ср. выделение категорий полезных ископаемых, вредных насекомых, в частности вредителей полей, лекарственных растений, съедобных грибов (в противовес поганкам), полезных знакомств и нужных людей. Аксиология допускает весьма неоднородные по своему составу классы: так, ничто не мешает отнести к одной событийной общности (дурным приметам) карканье ворона и пение чайника.

Несмотря на всю свою зыбкость и отдаленность от объективной данности, аксиологическая таксономия нередко выдвигается на передний план и заслоняет собой естественные классы. Так, природная среда, обладающая большим разнообразием состояний, в основном делится на хорошую и плохую погоду (ведро и ненастье). Когда спрашивают *Какая у вас погода?* или *Какая была осень?*, то обычно получают аксиологический ответ *Хорошая* (*Плохая*), который не обманывает ожиданий собеседника, поскольку может быть достаточно правильно интерпретирован по координатам места и времени года. Хорошее и плохое настроение, так же как хорошая и плохая погода,

приравниваются к прагматически обусловленным состояниям психической «среды». Хотя физических ощущений бесконечно много и добросовестный врач стремится выяснить специфику каждого из них, в быту говорят о хорошем и плохом самочувствии. Будучи основным фактором, определяющим мировосприятие, оценка составляет первый и главный принцип классификации чувств (ср. деление эмоций на положительные и отрицательные), причем субъективное ощущение в этом случае создает объективную основу научной таксономии. Аксиология восприятия событий проецируется и на сами события: все, происходящее в личной, природной и социальной сферах, тем самым «гуманизируется», получая внешний аксиологический знак (плюс или минус): *Хорошо, что пошел дождь*; *Плохо, что так рано наступили заморозки*; *Хорошо, что мы не опоздали на поезд*; *Плохо, что поезд опоздал*. Аксиологический оператор в принципе не имеет семантических ограничений на область своего действия.

Человек распределяет себе подобных между классами хороших и плохих (добрых и злых, порядочных и непорядочных) почти с той же непреложностью, с какой природа делит род людской на мужчин и женщин. И уж несомненно, что критик, педагог и читатель разбивает персонажей литературных произведений на непересекающиеся категории положительных и отрицательных героев и только потом на лиц женского и мужского пола, продвигая этим оценочное определение в более интимную по ее отношению к классу позицию. Читатель делит писателей прежде всего на хороших и плохих; точно так же поступает с ними история, и это деление приобретает характер своего рода естественных классов. Поэтому выражение *хороший плохой писатель*, в котором первое определение имеет оценочный смысл, а второе — таксономический, не воспринимается как оксюморон.

Все многообразие межличностных отношений легко укладывается в разряды хороших и плохих. Поведение детей в школе и дома также чаще всего определяется как хорошее или плохое, и даже сами дети подлежат оценочной таксономии (ср. *плохая девочка*, *хороший мальчик*). Выделение аксиологических классов в известной мере аналогично выделению естественных родов. Не случайно оно уподоблялось отделению плевела от пшеницы или козлищ от овец. Однако между естественной и аксиологической таксономией есть существенные различия. Аксиологическая таксономия в отличие от природной распределяет объекты между классами, целиком заданными противопоставленными признаками (ср. *добрый*, *щедрый*, *умный* — *злой*, *скупой*, *глупый*). Большинство аксиологически релевантных свойств объекта взаимонезависимы. Они не образуют естественной иерархии; между ними нет отношений импликации: из того, что человек зол, не следует ни то, что он умен, ни то, что он глуп, ни то, что он красив, ни то, что он безобразен. Аксиологически противопоставленные свойства совместимы в одном объекте, а отношения конъюнкции могут соединять между собой не только предикаты с однородной аксиологической маркировкой, но и предикаты с противопоставлен-

ными знаками (ср. *Ребенок был послушен и мил* и *Ребенок был резов, но мил*).

Каждый объект действительности (вещь, человек, положение дел, событие) обладает обычно неопределенным по числу и составу набором аксиологически релевантных свойств, которые должны быть приняты во внимание при выведении общей оценки, т. е. при включении объекта в один из двух аксиологических классов. Эти свойства постоянно вступают между собой в конфликт. Объект может в одном отношении характеризоваться положительными свойствами, а в другом — отрицательными. Аксиологическая противоречивость объектов заложена в природе вещей. Мир состоит из несовершенств. Omnia praeclara rara. Идеалы монтируются человеком из деталей, розданных разным владельцам, или выводятся как своего рода «среднее арифметическое». Стремление к идеалу нарушает права «неотчуждаемой собственности». Гоголевская невеста, стоя перед проблемой выбора, сделала следующий коллаж жениха: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась» (Н. Гоголь). К «среднеарифметическому» жениху стремилась шекспировская Беатриче: «Вот если бы взять среднее между ним [графом Хуаном] и Бенедиктом, превосходный бы вышел человек: один совсем истукан, ничего не говорит; другой, как любимый сынок, вечно болтает без умолку». Собеседник Беатриче заменяет «среднее арифметическое» техникой монтажа, позволяющей из двух несовершенств получить двух образцовых представителей человеческого рода: «Значит, если бы половину языка синьора Бенедикта в уста графа Хуана, а половину меланхолии графа Хуана на лицо синьора Бенедикта. . .». Беатриче заканчивает портрет: «. . .да еще вдобавок стройные ноги и побольше денег в кошельке». Метод коллажа обычно приписывался и самой природе, ср. у Шекспира: «Так Природе повелели Небеса — чтоб слила Прелесть всю в едином теле, И тогда она взяла: Клеопатры горделивость, Аталанты чистоту. И Лукреции стыдливость, И Елены красоту. Так в Розалинде дали боги Созданий высших образец. Вручив ей лучшее из многих Прекрасных лиц, очей, сердец» («Как вам это понравится»).

Таким образом, основная трудность и в то же время основная специфика общеаксиологической таксономии (хороший или плохой) состоит в том, что классификации подлежат комплексные объекты, свойства которых могут частично совпадать с признаками, задающими противоположные классы. Аксиологическая классификация свойств — статических и динамических — оказывается асимметричной относительно классификации самих объектов. Свойства объектов пересекаются, сами же объекты поляризуются.

Еще большую аксиологическую неоднозначность обнаруживают события. Оптимисты интерпретируют ее в том смысле, что нет худа без добра, пессимисты обращают внимание на то, что у каждой ме-

дали есть оборотная сторона. Интересы людей постоянно сталкиваются, и это заставляет их заведомо метить по разному одно и то же событие. Один из персонажей Шекспира (разумеется, отрицательный) восклицает: «Каждая помеха, каждая преграда, каждое препятствие [бракосочетанию Геро и Клавдио] будет лекарством для меня. Я болен ненавистью к нему, и все, что противоречит его желаниям, совпадает с моими» («Много шума из ничего»).

Общая оценка составляет своего рода баланс положительных и отрицательных факторов. Как и всякий баланс, она достигается соотношением количеств. Чтобы вывести общую оценку, нужно перевести качество в количество, т. е. приписать разным свойствам, отношениям, фактам и обстоятельствам то или другое число очков или баллов в соответствии с прейскурантом, принятым в данной области, т. е. так, как это делается в спортивных и карточных играх, на олимпиадах, экзаменах, конкурсах и других видах регламентированной аксиологической деятельности человека, всегда предполагающей соперничество и конкуренцию. Иерархия нетоварных и неигровых ценностей, однако, весьма субъективна и приблизительна. Общая оценка жизненной ситуации обусловлена некоторым фоном, создаваемым психической организацией человека, его состоянием в момент речи, его самооценкой, требованиями, предъявляемыми им к жизни, степенью оплаченности «жизненного счета», соотношением настоящего с прошлым, прогнозами на будущее и т. п. Аксиологическое утверждение поэтому всегда прагматически связано: оно больше характеризует субъекта оценки, чем ее объект.

2

Вывод холистической, как принято ее называть в логике, оценки нуждается в переводе качеств в количества. Моделью этой процедуры может послужить простая арифметическая операция: необходимо сложить все плюсовые величины, сложить все «минусы», сопоставить полученные суммы и в зависимости от результата дать общую оценку аксиологически несовершенному объекту. Арифметические манипуляции с количествами, однако, уступают в наглядности взвешиванию (точнее, весовому сопоставлению): на одну чашу весов кладутся «плюсы» (достоинства, преимущества, позитивные стороны явления), на другую — «минусы» (недостатки, дефекты, отрицательные стороны явления). Именно такая модель чаще всего и воспроизводится в представлениях о справедливых судах, будь то суд человеческий, божественный или суд истории. Разница между правосудием земным и небесным в основном сводится к тому, что на земле человек достаточно определенно знает «количественные показатели», которые будут сопоставлены его отклоняющимся действиям, в то время как шкала паритетов добра и зла, по которой вершится «страшный суд» скрыта от человека. Весы же, считающиеся символом правосудия, являются

атрибутом как богини Фемиды, так и архангела Михаила — предполагаемого вершителя эсхатологического суда.

Количественные сопоставления и взвешивание составляют очень характерный признак процедуры оценки. Герой пьесы Л. Толстого «Петр-Хлебник», заболев, воочию увидел «божественные весы»: «Да, вот, они, весы, на них будут вешать мои добрые и злые дела. Вот они принесли на одну сторону деньги, что я поотнимал у вдов и сирот, жалованье, что я не отдал рабочим, обиды, ругательства, побои. Вот они ве́рхом наложили эту чашу весов, и уже пошли весы книзу, и вот они возрадовались, дьяволы. Ай, ай, пропал! Что теперь положат на другую сторону? . . . Что же это? Хлеб. Только один хлеб, тот хлеб, что я тогда бросил в надоедливого нищего. Батюшки, поднялись весы, перетянул хлеб все злые дела мои. . .». Совершенно аналогичны представления о том, как вершится суд истории, устанавливающий ценностные паритеты. «На беспристрастном безмене истории кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом Александра Македонского» (К. Прутков).

Подобным же образом вершится суд разума и это понимает не только философ, но и не искушенный в философии человек. «Суждение есть, так сказать, взвешивание ценности и определение того, на какой стороне перевес», — писал Дж. Локк (Локк 1960, с. 285). А в одном рассказе Саади молодая жена говорит своему старому мужу: «Все слова, сказанные тобой, на весах моего разума не имеют столько веса, сколько одно слово, услышанное мною однажды от моей няни: „Для молодой женщины лучше стрела в боку, нежели старик под боком“» («Гулистан»).

Мы привели эти иллюстрации, разумеется, не в целях назидания, как и не с тем, чтобы обратить внимание на то, что пересчет качеств в количества заставляет в рассуждениях о ценностях прибегать к овеществляющей метонимии и класть на весы не невесомые победы Александра Великого, а его весьма весомый меч. Наша цель состоит в другом. Эксплицировав некоторые представления о процедуре получения общей оценки, мы хотим показать, что они соотносительны с рядом черт аксиологического текста и его компонентов. Асемантический образ взвешивания как бы развертывается в семантико-синтаксическую структуру текста. Подобно тому как лексическая метафора соотносительна с отвлеченной семантикой слова, образ, т. е. развитая динамическая метафора, соотносителен с синтактико-семантической организацией предложения и смысловой структурой коммуникации. «Весы» являются своего рода ключевым образом, через который могут быть осмыслены и приведены в систему характеристики аксиологического аспекта языка и речи.

Лингвистическую релевантность имеют следующие свойства процедуры выведения общей оценки.

1. Чтобы прийти к холистической оценке какого-либо объекта, необходимо пометить его конкретные свойства — статические и динамические, постоянные и акцидентные — знаком плюс или знаком

минус, т. е. распределить их между чашами весов. Общеоценочный результат, свидетельствующий о перевесе плюсов или минусов, складывается из соотношения частооценочных характеристик, каждой из которых приписывается определенная количественная значимость. Аксиологический маркер прочно срастается с обозначениями многих частных свойств объекта; вследствие этого общеоценочным предикатом противостоит большая группа предикатов, выражающих частнооценочные значения.

2. Общая оценка объекта может быть контаминирована, т. е. ущемлена, снижена, частными дефектами («отдельными недостатками»); общая отрицательная оценка не исключает плюсов («отдельных достоинств») объекта. Поскольку плюсы и минусы находятся на разных чашах весов, одна из которых перетягивает другую (иначе общая оценка не может быть выведена), между ними складываются отношения неравенства (неравновесности). Если равновесие утрачено в пользу положительной оценки, то частные достоинства компенсируют частные недостатки (*Мал, да удал*; *Удал, хотя и мал*; *Хоть мал, да зато удал*). Если равновесие утрачено в пользу общей отрицательной оценки, то достоинства («плюсы») недостаточны для компенсации (*Хотя удал, да уж очень мал*). Таким образом «весы» задают синтаксис частнооценочных предикатов, способных характеризовать объекты, принадлежащие к одной категории. Предикаты с противоположной аксиологической маркировкой могут быть в равной степени истинны относительно своего субъекта, но не равноценны с точки зрения того количества «аксиологических очков», которое им сопоставляется. Синтаксические связи и порядок введения предикатов выражают, по крайней мере, два значения: 1) различие в оценке и 2) различие в весе, важности (Левин 1970).

3. Поскольку при выведении общей оценки сравниваются количественные показатели (ценностные эквиваленты), стирающие все частное, нивелирующие качественные различия, аксиологическое сравнение не предполагает с необходимостью, что сопоставляемые объекты должны иметь между собой нечто общее (основание сравнения). Аксиология может приравнивать меч Александра Македонского к полотнам (или кисти) Рафаэля, как, впрочем, и к другим заслугам и аксессуарам великих мира сего.

4. Разногласие в вопросе общей оценки объекта не исключает согласия в частных оценках, а возражение в ходе аксиологического разговора может состоять не в отрицании довода собеседника, а в его «перевешивании». Аксиологический контраргумент может вообще никак не соприкасаться семантически с аргументом, против которого он направлен. Диалог-спор о ценностях ведется по принципу «да, но. . .» («то, что вы говорите верно, но важнее другое»). Каждая из несогласных сторон поочередно кладет гирю на «свою» чашу весов. Спор идет не об истинности утверждений, а об иерархии ценностей: «зато» одного собеседника сводится к «хотя» другого. Правота в оценке устанавливается не благодаря истинности аргумента, а благодаря его

полновесности. Не случайно говорят *веский* (*легковесный*) *аргумент* (*довод*). Вот образчик аксиологического разговора: «Помилуй ты меня, — сказал он [гость] с удивлением, — Чем любоваться тут? Твой хор горланит вздор! — То правда, — отвечал хозяин с умиленьем, — они немножечко дерут; зато уж в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведением. — А я скажу: по мне уж лучше пей, да дело разумей» (И. Крылов). Истинность утверждения в таком диалоге не гарантирует правоты, а согласие с истинностью слов не имплицирует согласия с собеседником.

5. По этому же принципу строятся и монологические виды аксиологически ориентированных текстов, целью которых является определение общей ценности объекта, такие как рецензии, отзывы, характеристики, представления к званиям и наградам, «разносы» и пр. В таких текстах любые утверждения, даже сообщения о фактах, приобретают аксиологическую маркированность, поляризуются. Если читатель текста, подчиненного задаче выведения общей оценки, не улавливает в каком-нибудь его месте аксиологический знак, он вправе спросить автора «Я не понял: хорошо это или плохо?». Предложения в такого рода текстах часто вводятся аксиологическими операторами типа: *хорошо, что. . .*; *плохо, что. . .*; *достойно одобрения, что. . .*; *большим недостатком следует считать, что. . .*; *положительным фактором является. . .* и т. п.

Таким образом, особенности процедуры выведения общей оценки прямо соотносятся со следующими аспектами языка и речи: 1) значением обще- и частнооценочных предикатов, 2) спецификой аксиологического сравнения и ценностной эквивалентности, 3) спецификой аксиологической конъюнкции, 4) смысловой организацией аксиологического текста — диалогического и монологического.

3

Аксиологические значения представлены в языке двумя основными типами: общеоценочным и частнооценочным. Первый тип реализуется прилагательными *хороший* и *плохой*, а также их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (*прекрасный, превосходный, великолепный, отличный, замечательный, скверный, нехороший, дурной, поганый, худой* и др.). Эти прилагательные выражают холистическую оценку, аксиологический итог. Вторая группа более обширна и разнообразна. В нее входят значения, дающие оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. Классификация частнооценочных значений представляет трудности, обусловленные нечеткостью границ, разделяющих такие понятия, как объект, основание и способ установления оценки [1].

[1] Классификация типов «хорошего» была предложена фон Вригтом, который различал понятия инструментально хорошего (*хорошая машина*), технически, или специализированно, хорошего (*хороший шахматист*),

В предлагаемой ниже схеме во внимание принято основание оценки. Необходимо подчеркнуть, что основание оценки «аксиологично» уже само по себе: в нем заложено представление о хорошем и плохом. Именно поэтому и можно распределить значения (и выражающие их предикативные слова), относящиеся к основанию оценки, между противопоставленными аксиологическими категориями. Это не исключает возможности конкретизации непосредственных мотивов оценки, того, что стимулировало оцениваемую ситуацию, например: *Было противно слышать эти слова.* В этом предложении основание оценки составляет некоторый психологический дискомфорт, а мотив — сказанные кем-то слова. Выделяемые ниже группы частнооценочных значений существенно различны между собой по диапазону сочетаемости, т. е. по тому, какие виды объектов они способны квалифицировать. В то же время каждая группа может квалифицировать разные по своей природе объекты. Расширение сферы сочетаемости оценочных определений несет на себе следы логики обыденного аксиологического рассуждения; оно происходит также за счет метонимических переносов, процессов номинализации (*руководить умело → умелое руководство → умелый руководитель*), и компрессии текста (*кресло, в котором удобно сидеть, → удобное кресло*). Этот последний механизм освещен в упоминавшейся статье З. Вендлера (1981).

Частнооценочные значения могут быть разделены на следующие категории: 1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические оценки (*приятный — неприятный*; *вкусный — невкусный*; *привлекательный — непривлекательный*; *душистый — зловонный*; *то, что нравится, — то, что не нравится* и др.); это наиболее идиосинкрастичный, индивидуализованный вид оценки; 2) психологические оценки, в которых сделан шаг в сторону рационализации, осмысления мотивов оценки: а) интеллектуальные оценки (*интересный, увлекательный, захватывающий, глубокий, умный — неинтересный, неувлекательный, скучный, банальный, поверхностный, глупый*); б) эмоциональные оценки (*радостный — печальный; веселый — грустный; желанный — нежеланный, нежелательный; приятный — неприятный*); 3) эстетические оценки, вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых и психологических оценок (*красивый — некрасивый; прекрасный — безобразный, уродливый*); 4) этические оценки (*моральный — аморальный; нравственный — безнравственный; добрый — злой; добродетельный — порочный* и др.); 5) утилитарные оценки (*полезный — вредный; благоприятный — неблагоприятный*; 6) нормативные оценки (*правильный — неправильный; корректный — некорректный; нормальный — анормальный, ненормальный; стандарт-*

медицински хорошего (*хорошее сердце*), утилитарно хорошего (*полезная пища*), гедонистически хорошего (*хороший обед*), гуманистически хорошего (*добрая воля*) (Wright 1963, Ивин 1970, с. 63—64).

ный — нестандартный, *бракованный*; *доброкачественный — недоброкачественный*; *здоровый — больной*); 7) телеологические оценки (*эффективный — неэффективный*; *целесообразный — нецелесообразный*; *удачный — неудачный*); к этой же группе могут быть отнесены значения, выражаемые сочетаниями типа *хороший футболист*, *негодный пылесос*, *отличный пловец*.

Перечисленные категории образуют три группы. В первую группу входят сенсорные оценки, т. е. оценки, связанные с ощущениями, чувственным опытом — физическим и психическим. Оценка заложена в природе человека. Она ориентирует человека в природной и социальной среде, способствуя его аккомодации, достижению комфортности. В эту группу входят первые две категории оценок. Эти оценки (прежде всего те из них, которые основываются на физическом опыте) обычно не мотивируются, т. е. им не могут быть сопоставлены некоторые качества оцениваемого объекта. Субъективное ощущение покрывает многие семантические лакуны языка.

Оценка прямо проистекает из того ощущения, которое, независимо от воли и самоконтроля, испытывает человек. Стремление говорящего объяснить свои вкусовые предилекции может завести его в порочный круг, например: «Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу. — Люблю, — он отвечал. — Я вкус в нем нахожу». Квалификация любителя сыра как ханжи объясняется разве что рифмой, но никак не его ответом: никакой иной мотивировки своей склонности к сыру он, по-видимому, и не мог бы привести.

Предикаты этой группы, независимо от того, к чему они относятся, характеризуют субъекта оценки (человека), а не ее объект, т. е. имеют реляционное значение, указывая на отношение субъекта к объекту — конкретному или типовому. Переход от утверждения «Обед мне понравился» к утверждению «Обед вкусный» есть переход от предложения опытного знания к предложению мнения (belief-sentence). Субъект оценки выступает в этом случае как психический или физический рецептор и в качестве такового характеризуется тонкостью или грубостью восприятия — с одной стороны, и глубиной или поверхностью переживаний — с другой (ср. *тонкий вкус*, *тонкий человек*, *тонкий наблюдатель*, *глубокие впечатления*, *глубокий человек*, *глубокое переживание*, *глубокое проникновение в суть дела*, *глубокое понимание* и пр.).

Вторую группу образуют сублимированные, или абсолютные, оценки. К ним относятся две категории — эстетические и этические оценки. Они возвышаются над сенсорными оценками, «гуманизируя» их. Первые связаны с удовлетворением чувства прекрасного, вторые — с удовлетворением нравственного чувства, «органом» которого является совесть. Эти два вида чувствований составляют ядро духовного начала человека, моделируемое, в соответствии с его телесной ориентацией, по вертикали. Не случайно, в эти виды оценки вовлечены метафоры и интенсификаторы «высоты» и «низости» (ср. *высоконравственный человек*, *низкая личность*, *низменные цели*,

высокие порывы, *низкие подозрения*, *высокий моральный дух*, *высокие идеалы* и т. п.). Эта группа оценок не безразлична к понятию архетипа — нормы, образца, примера, потенциальных требований, предъявляемых к объекту оценки. При этом положительная эстетическая оценка исключает строгую нормативность. Эстетическое чувство не может быть удовлетворено стандартом. Высокая эстетическая оценка имплицирует уникальность произведения искусства. Между тем положительная этическая оценка в общем случае требует ориентации на этическую норму, соблюдение нравственного кодекса, т. е. большего или меньшего количества правил и заповедей. Требование уникальности, таким образом, не является необходимым условием моральности (положительной этической оценки), но оно необходимо предъявляется к произведениям подлинного искусства.

Последние три разряда входят в группу р а ц и о н а л и с т и ч е с к и х оценок. Эти оценки связаны с практической деятельностью, практическими интересами и повседневным опытом человека. Их основные критерии: физическая или психическая польза, направленность на достижение определенной цели, выполнение некоторой функции (в том числе и той, к которой данный предмет предназначен), соответствие установленному стандарту. Речь идет о тех видах ценностей, которые принято считать тривиальными, или относительными. Утверждения о такого рода ценностях близки к фактическим предложениям. Так, вместо того, чтобы сказать *Это самый лучший* (*правильный*) *путь в Звенигород*, можно объяснить, что имеется в виду самая короткая и в то же время самая легкая (ровная и сухая) дорога из числа ведущих в данный пункт назначения. Можно сказать также: *Идя по этой дороге, вы попадете в Звенигород через час* (о различии абсолютных и относительных оценок см. Wittgenstein 1965). Представления об относительных ценностях формируются в ходе практической деятельности человека. Они предназначены для того, чтобы упорядочивать, облегчать и регулировать эту деятельность.

4

В той степени, в какой оценочные значения характеризуют субъект оценки (*Я люблю бананы*; *Мне нравятся прогулки по лесу*), они выражают объективную, постигаемую опытом истину; в той мере, в какой они характеризуют объект оценки, они выражают мнение (*Это хорошие бананы*; *Бананы вкусны*; *Прогулки по лесу приятны*). Из этого следует, что оценочные суждения имплицируют наличие субъекта оценки — конкретного или обобщенного, релятивизованы относительно некоторого субъекта (о структуре оценки см. Ивин 1970, гл. 2; Вольф 1978). Они допускают вопросы типа *Кто так считает* (*думает*)*? Это твое мнение?* Оценочное суждение вводится глаголами пропозиционального отношения *думать*, *полагать*, *считать*, *находить*, *расценивать* (Вольф 1978, с. 21). Эти глаголы, вместе с субъектом суждения, образуют модус аксиологического высказы-

вания об объекте оценки: *Я нахожу, что погода приятная. Я считаю, что Петя добрый мальчик.* Обоснование оценки, т. е. указание на ее мотивы, которое иногда занимает позицию придаточного причинного, связано не с самим ценностным суждением, а с его модусом. Нельзя спросить **Почему Петя добрый мальчик?* или **Почему погода приятная* (*хорошая?*) или **Почему роза красива, а земляника вкусна?*, но можно спросить *Почему ты считаешь Петю добрым мальчиком? Чем тебе нравится погода? Что тебе нравится в такой погоде? Что ты находишь красивого* (*привлекательного*) *в розах?* То свойство, которое соответствует основанию оценки, само по себе не имеет причины. Нельзя сказать, что Петя добр, потому, что он дает свои игрушки другим детям и не бьет девочек. Факты в данном случае составляют лишь внешние проявления определенного нравственного качества, его следствие, а не причину. О наличии тех или других нравственных качеств мы судим на основании внешних их обнаружений, которые и составляют мотивировку мнения. Человек может эксплицировать свои мотивы для вынесения ценностного суждения, но не причины самой ценности. Причина допустима только в тех случаях, когда оценочный предикат близок к фактическому смыслу.

Таким образом, оценочные предикаты, характеризующие объект оценки, входят в предложения мнения, в которых может фигурировать экспликация оснований, мотивов оценки, но не указание на ее причину.

Основное синтаксическое различие между обще- и частнооценочными значениями состоит в том, что общие оценки могут выступать как в функции модального оператора, в сферу действия которого входит пропозиция [2], так и в функции предиката, пригодного для характеристики объектов разных видов. Между тем как частнооценочные значения обслуживают в основном вторую из названных функций. Можно сказать *Хорошо* (*плохо*), *что сейчас зима*; *Хорошо, когда зима*; *То, что сейчас зима, хорошо* (*плохо*). *Зима была хорошей* (*плохой*), но нельзя сказать **Красиво, что сейчас зима*, при том, что зима может быть исключительно красивой. Нельзя также сказать **Безнравственно, что ты так поступил*, даже если поступок и в самом деле не отличался нравственностью. В дидактической речи обычно говорят в этом случае *Плохо, что ты так поступил* или *Так поступать стыдно* (*безнравственно, недопустимо*).

Синтаксис слов, выражающих частную и общую оценку, представляет специальный интерес для изучения. Мы коснулись этого

---

[2] Аксиологический оператор обладает следующими грамматическими категориями: 1) модальностью ирреальности (*Было бы хорошо, если бы сейчас была зима*), 2) компаративом (*Лучше быть счастливым, чем богатым*). Компаратив выражает идею предпочтения, выбора и обычно предполагает альтернативу, т. е. ставит сравниваемые положения дел в отношение дизъюнкции. Это значение нейтрализует идею «добра»: речь может идти и о выборе меньшего из двух зол, например: *Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.*

вопроса, чтобы показать, что между частными и общими оценками есть не только синтаксическая общность, но и синтаксические различия. О синтаксических характеристиках инфинитивных конструкций со значением оценки см. (Шмелева 1979; Золотова 1982).

5

Рассмотрим теперь отношения между частно- и общеоценочными предикатами. Напомним, что оценочное значение принципиально противопоставляется дескриптивному тем, что оно не указывает на какие-либо объективные признаки предмета.

Общеоценочные прилагательные — *хороший* и *плохой* — имеют обобщающее, конденсирующее значение. Это видно на примере цейтнотных диалогов. Когда спрашивают при беглых встречах *Как дела?* или *Как живешь?*, то обычно ожидают не конкретного жизнеописания, а общеоценочного ответа типа *Хорошо*! *Неважно*; *Так себе*; *Прекрасно*. Аксиологический ответ подводит итог. В нем фиксируется оценочный балл на данный момент. За общеоценочным сообщением могут следовать сообщения о фактах и текущих делах. Это, как правило, случается при отрицательной оценке. При оптимистическом стандарте она нуждается в специальном обосновании: *Как живешь? — Плохо! — Что-нибудь случилось? — Да, болен отец* (*сын провалился на экзамене*). Недовольство жизнью требует особых мотивов, довольство может проистекать из одного отсутствия отрицательных факторов. Общеотрицательная характеристика объекта или положения дел в денотативном отношении более разнообразна, чем общеположительная. Утверждение, что у человека хорошее здоровье или просто что он здоров, соответствует одному положению дел, принимаемому за норму; утверждение же, что у человека плохое здоровье или что он нездоров (болен) может соотноситься с множеством недугов. И это легко понять, поскольку норма в принципе одна, отклонений от нормы может быть сколь угодно много. И именно это позволило Паскалю считать, что «зло . . . многолико, тогда как добро, можно сказать, всегда одинаково», а Л. Толстому заметить, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему».

Оценка общей ситуации как хорошей или плохой делается на несколько разных основаниях: для общехорошего достаточно отсутствия частноплохого, между тем как общеплохое всегда предполагает наличие частноплохого. Мы здесь отвлекаемся от прагматических различий, связанных с субъектом оценки, а они, конечно, есть: молодые люди, пребывающие в ожидании радостных событий (романов, успеха, новых впечатлений и пр.), оценивают их отсутствие как нечто анормальное; пожилые же люди, пребывающие в страхе перед отрицательными событиями, радуются одному их отсутствию.

И тем не менее не только понятие плохого, но и понятие хорошего насыщается многими и очень различными признаками. Это ясно видно

74305
Институт русского языка им. В. В. Виноградова
www.ruslang.ru

на примере того, что значит «хорошо живется», которое иногда расшифровывается: «Ни одной женщине в Виндзоре не живется так хорошо как ей [миссис Пейдж]: делает все что хочет, говорит что вздумает, покупает, тратит деньги, ложится когда ей угодно, встает когда ей заблагорассудится — все по ее желанию» (У. Шекспир. «Виндзорские насмешницы»). Совсем о другой «хорошей жизни» грустил Фальстаф: «У меня были самые благородные наклонности, какие подобают дворянину: я был в меру добродетелен, божился редко, играл в кости не чаще семи раз в неделю, ходил в непотребные дома не чаще одного раза в четверть часа, возвращал долги раза три или четыре, жил хорошо, держался в границах» (У. Шекспир. «Генрих IV»).

Что касается предметной реальности, то и ей оценка присуждается по совокупности признаков: *хороший чай* (*напиток*) подразумевает и то, что он высокого качества (ароматный), и то, что свежезаварен, и то, что горячий, и то, что достаточно крепкий, а иногда и то, что в меру сладкий. Когда гостиничный номер квалифицируют как хороший, то это значит, что комната снабжена необходимыми удобствами, светлая, не слишком тесная и не шумная. Комплексность значения общеоценочных предикатов чувствуют и носители языка: «Лучший мемуарист — тот, кто хорошо пишет (а в понятие «хорошо» включается и правда, и мастерство, и искренность)» (А. Латынина).

Объем значения общеоценочного предиката в максимуме определяется теми требованиями, которые субъект оценки предъявляет к оцениваемому объекту. Покажем это на следующем примере. Один из героев шекспировского театра говорит: «Пока я не встречу женщины, привлекательной во всех отношениях зараз, ни одна не привлечет меня. Она должна быть богата — это обязательное условие; умна — или мне ее не надо; добродетельна — или я за нее не дам ни гроша; красива — иначе я и не взгляну на нее; кротка — иначе пусть близко ко мне не подходит; знатна — иначе ни за какие деньги ее не возьму; она должна приятно разговаривать, быть хорошей музыкантшей, а волосы пусть будут такого цвета, как богу угодно» («Много шума из ничего»). Если бы, обдумав свои требования, Бенедикт сказал о конкретной девушке: «Вот это хорошая невеста!», то это бы означало: «богатая, умная, добродетельная, красивая, кроткая, знатная, музыкальная, владеющая изящной речью». Разумеется, не все женихи ставят так много условий. По мере того как сокращается число требований, уменьшается и количество семантических компонентов, вводимых говорящим в понятие «хорошего». Например, другой персонаж шекспировского театра восклицает: «Это лучшая девушка на свете! Семьсот фунтов стерлингов чистыми деньгами и много фамильного золота и серебра» («Виндзорские насмешницы»).

Оценочное значение с очевидностью релятивизовано относительно классов оцениваемых объектов.

Разные категории объектов в разной степени имплицируют те требования, которые должны быть удовлетворены для их общепо-

ложительной квалификации. Наиболее определенны требования, предъявляемые к специализированным предметам — орудиям, инструментам, приспособлениям, машинам и другим видам артефактов, предназначенных для выполнения определенной практической задачи: *хороший справочник* значит такой справочник, который содержит необходимую информацию и которым удобно пользоваться, *хорошие ножницы* «обязаны» хорошо резать и т. д. Оценочное прилагательное в сочетании с инструментальным именем или именем номинального класса получает интерпретируемое значение (ср. *хороший шахматист*, *хороший вратарь*, *плохая пишущая машинка*, *превосходный фотоаппарат*). Различия в интерпретации и соответственно в предъявляемых требованиях релятивизованы не столько относительно субъекта оценки, сколько относительно эпохи (времени оценки). В этом случае частно- и общеоценочные значения сближаются, поскольку в определяемом имени содержится указание на основание оценки.

Требования, предъявляемые к объектам с нечеткой специализацией, менее определенны и существенно колеблются в зависимости от субъекта оценки. Поэтому общеаксиологическая квалификация не развертывается в четкий ряд конкретных признаков. Когда говорят *Маша — хорошая девочка*, то это может значить: послушная, добрая, отзывчивая, не капризная, помогает маме, любит родителей, приветливая, ладит с подругами. Приведенная квалификация, по-видимому, не предполагает таких качеств, как богатырское здоровье, красота, спортивность, особые таланты. Между тем, хотя названные свойства и не входят в общее понятие «хорошей девочки», они аксиологически маркированы и участвуют в выведении общей оценки в качестве своего рода «довесков», помогающих опуститься «плюсовой» чаше весов. Наконец, существует серия частноотрицательных свойств (недостатков, дефектов, изъянов и проступков), которые могут воспрепятствовать положительной квалификации ребенка: можно ли считать хорошей девочкой плаксу, упрямицу, девочку, которая по вечерам не хочет ложиться спать, но зато хватается за спички, таскает за хвост кошек, щиплет младшую сестру и грубит бабушке. Эти свойства, как бы к ним не относиться, участвуют в подведении аксиологического баланса, и если им не удается перетянуть чашу весов, то они (иногда в смягченном виде) могут войти в уступительные отношения с общеоценочным определением: *Она хорошая девочка, хоть и немного озорная* (*бывает, что капризничает*; *не всегда вежлива*; *случается, что нагрубит бабушке*).

Таким образом, наряду с объемом собственного значения, пусть нестабильным, общеоценочный предикат говорит и об определенном соотношении признаков, заведомо не входящих в его семантическую структуру. Положительная оценка предполагает не только наличие у объекта тех или других достоинств, но также и то, что их общий «вес» превосходит «вес» отрицательных свойств. Точно так же отрицательная оценка объекта указывает не только на его изъяны, но и

на то, что имеющиеся позитивные качества недостаточны для того, чтобы их компенсировать. Например, у Крылова: «Мне хочется невеждам не во гнев, Весьма старинное напомнить мнение: Что если голова пуста, То голове ума не придадут места» («Парнас»).

Система паритетов между достоинствами и изъянами, естественно, не сводится к численному соотношению, она определяется иерархией, в которой внешним преимуществам придается меньший вес, чем внутренним совершенствам. Ситуация множества достоинств при одном некомпенсируемом дефекте дает возможность иронически представить как «недохорошее» то, что на самом деле является «переплохим». Например: «И подлинно, что царь на диво был им дан: Не суетлив, не вертопрашен, Степенен, молчалив и важен; Дородством, ростом великан, Ну посмотреть, так это чудо! Одно в царе лишь было худо: Царь этот был осиновый чурбан» (И. Крылов. «Лягушки, просящие царя»).

Выполнение требований, предъявляемых к «хорошему» в том или другом разряде объектов, превращает «хорошее» в «совершенное». Это последнее понятие относится к пределу возможного приближения конкретной данности к модели, идеалу. Оно скрывает за собой совокупность признаков, которые, если речь идет не о произведении искусства, обычно могут быть эксплицированы. Например: «Как в полку он [Степан Касатский] был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь» (Л. Толстой. «Отец Сергий»).

Понятие совершенства не только укрепляет связь аксиологии с представлением о модели, идеале, образце (ср. *образцовый офицер*) и с модальностью долженствования (необходимостью выполнять определенные требования), оно вводит в аксиологию своего рода «аспиративную» модальность, заключающуюся в сознательном или врожденном (не будем обсуждать этот вопрос) стремлении к совершенствованию, развитию, улучшению личности творца и его творений. Наличие неистребимой разницы между хорошим и совершенным приводит аксиологический механизм в действие, заставляя человека ставить перед собой определенные цели и стремиться к их достижению (ср. в «Отце Сергии»: «Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером»). Если ограничить проблему видами «психологической модальности», то аксиология вовлекает три из них: модальности желания, долженствования и «аспиративную» модальность, включающую волю, стремление к достижению той или другой цели.

* * *

Таким образом, общеоценочные сочетания не интерпретируются однозначно по следующим причинам: 1) нестабилен состав свойств, достаточных для отнесения к объекту общей положительной или отрицательной оценки, 2) неясен состав допустимых признаков с противоположным знаком, 3) неясны паритеты между «плюсами» и «минусами».

Нефиксированность объема значения общеаксиологических предикатов, переменность их дескриптивного содержания, его субъективность и прагматическая обусловленность ставят их в совершенно особое положение.

В отличие от семантического анализа многих других предикатных слов, соотносительных с вполне определенными свойствами объектов, рассмотрение значения оценочных предикатов начинается с онтологии, то есть с выяснения того свойства, которое ими обозначается, и первый вопрос, который встает в этой связи, касается самого существования такого свойства в природе вещей. Отрицательный ответ на этот вопрос заставляет квалифицировать оценочные прилагательные как псевдопредикаты (Hall 1947) или синкатегорематические слова (Katz 1964). Положительный ответ на этот вопрос приводит к введению в анализ аксиологической семантики функции замещения. «Слово *хороший* является заместителем имен естественных свойств, но не именем особого естественного свойства» (Ивин 1970, с. 43). Лингвист, возможно, предпочел бы говорить в этом случае о шифтерном типе значения. Значение оценочных предикатов, однако, не может быть приравнено к указанию на свойства объекта. Присущие объекту свойства могут служить основанием оценки, но не смыслом оценочного предиката. Подстановка вместо этого последнего дескриптивных прилагательных, лишенных оценочных коннотаций, оставляет открытым вопрос «Хорошо это или плохо?». Точно так же, как оценочное суждение может вызвать вопрос «Чем это хорошо?», относящийся к основаниям мнения, сообщение о реальных свойствах объекта, мотивировавших положительную оценку, допускает вопрос о том, хорошо это или плохо. Сведéние оценочных суждений к фактическим было подвергнуто убедительной критике Дж. Муром, а приведенный выше вопрос об оценке объекта, получившего развернутую дескриптивную характеристику, иногда называют открытым вопросом Мура (Moore 1903).

Осознав «натуралистическую ошибку» (naturalistic fallacy), логики и философы, придерживающиеся верификационной теории значения, выдвинули гипотезу, согласно которой оценочные предикаты относятся к вторичным, производным признакам предмета (supervenient, or consequential properties), вытекающим из его реальных свойств (good-making characteristics). Тем самым оценочные предикаты были сближены с прилагательными, обозначающими признаки объектов через указание на вызываемую ими в человеке психологи-

ческую реакцию (ср. *возмутительный*, *огорчительный*, *волнующий* и пр.) (Nowell-Smith 1957, Ch. 5, 6). Такое сближение в конечном счете ведет к пониманию оценки как особого вида чувствования и возвращает на путь гедонистической интерпретации «хорошего» и «плохого», возможно, наиболее тонко представленной в «Трактате о человеческой природе» Д. Юма (Юм 1966, с. 602 и сл.).

Развитие взгляда на оценочное значение тем самым замкнулось отношением между стимулом и реакцией (или свойством и восприятием свойства). Путь этот не удовлетворил многих исследователей ввиду чрезвычайной вариативности как первого, так и второго термина отношений. Оценка была выведена за пределы указанных связей и отнесена к разряду элементарных, не подлежащих анализу и определению значений. Эта точка зрения наиболее полно выражена в исследованиях по этике Дж. Мура, сильной стороной которых является критика «натуралистического», гедонистического (в широком смысле) и метафизического подхода к этическим и иным ценностям (Moore, 1903). Не представляя собой окончательного решения и вызывая ряд возражений, касающихся прежде всего того «внеестественного» (non-natural) свойства, которое связывается с общеоценочными предикатами, концепция Мура имеет то преимущество, что исключает возможность подмены оценочного значения каким-либо из тех понятий, с которыми категория ценности находится в непосредственном и постоянном взаимодействии. Эта концепция в то же время не исключает задачи полного обследования того концептуального контекста и соответствующего ему жизненного субстрата, в который входит понятие ценности и отдельные элементы которого обычно используются при определении оценочного значения. Не имея возможности подробно останавливаться на этом вопросе, который уже затрагивался в начале статьи, ограничимся эскизным наброском совокупности тех понятий, которые организованы категорией ценности.

Понятие «хорошего/плохого» выделяется среди других категорий чрезвычайной разноплановостью своих связей и функций. То, что обозначает общеоценочный предикат, имеет отношение к действительным свойствам объектов, их соответствию или несоответствию норме (существующей или идеальной), восприятию объектов, вызываемым ими ощущениям (приятному и неприятному), к активному психологическому началу человека (его желаниям, стремлениям, воле, обязанностям) [3], к решению и выбору из ряда альтернатив, к жизненной программе человека и идеалам человечества, к прескриптивной функции речи, реализующейся в определенных типах речевых актов (ср.

[3] Характерно сделанное в этой связи наблюдение Ч. Стивенсона: «Слово goodness ‘хорошее’ обладает неким магнетизмом. Признав нечто хорошим, человек обретает тем самым более сильную тенденцию к соответствующему действию, чем если бы положительная оценка не состоялась» (Stevenson 1964, p. 13). Главное назначение оценочных суждений, по Стивенсону, не сообщать о фактах, а оказывать воздействие.

одобрение, осуждение, поощрение, рекомендация, совет, инструкция, приказание, убеждение, призыв, запрет, рекламирование и др.)[4]. Указанные связи распределяются по следующим планам: онтологическому, психологическому, деятельностному и коммуникативному. Понятие о ценности, таким образом, выполняет координирующую (между человеком и миром объектов), стимулирующую (направляющую деятельность), дидактическую и регулирующую (прескриптивную) функцию в механизмах человеческой жизни. Оценка в той же мере относится к области реакций, как и к области стимулов. Она столь же неуловима, сколь и вездесуща. Тот «жизненный комплекс», которому оценка придает целостность, во многом определяет поведение аксиологических значений в контексте речи и речевых актов. Особенно ярко выступает связь между ситуациями жизни и речевым узусом в высказываниях о сравнительной ценности событий и ситуаций (Арутюнова 1983).

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Сравнительная оценка ситуаций. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1983, № 4.
Вендлер З. О слове good — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981.
Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. М., 1978.
Вольф Е. М. О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1981, № 4.
Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
Ивин А. А. Некоторые проблемы теории деонтических модальностей. — В кн.: Логическая семантика и модальная логика, М., 1967.
Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970.
Ивин А. А. Логика норм. М., 1973.
Левин Ю. И. Об одной группе союзов русского языка. — В кн. Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 13. М., 1970.
Локк Дж. Избранные философские произведения, т. I. М., 1960.
Шмелева Т. В. Смысл и формальная организация двукомпонентных инфинитивных предложений в русском языке. Канд. дис. М., 1979.
Юм Д. Сочинения в двух томах. т. I. М., 1966.

Hall E. W. A categorical analysis of value. — Philosophy of science, v. 14, 1947, № 4.
Hare R. M. The language of morals. Oxford, 1967.
Hare R. M. Essays on the moral concepts. Edinburgh, 1972.
Katz J. J. Semantic theory and the meaning of «good». — Journal of philosophy, v. 61, 1964, 2—3.
Moore G. E. Principia ethica. Cambridge, 1903.
Nowell-Smith P. H. Ethics. Oxford, 1967.
Stevenson Ch. Facts and values. New Haven; London, 1964.
Wittgenstein L. A lecture on ethics. — The Philosophical review, January, 1965.
Wright G. H. von. The varieties of goodness. N. Y.; London, 1963.

[4] Связь оценки с целью того коммуникативного акта, в который входит оценочный предикат, была положена в основу определения оценочного значения в работах по философской этике Оксфордской школы (Hare 1967, Hare 1972).

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

М. Я. ГЛОВИНСКАЯ

К ПОНЯТИЮ ЧИСТО ВИДОВОЙ ПАРЫ

Целью данной статьи является уточнение понятия чисто видовой пары на основе семантического анализа видового противопоставления (проведенного нами в Гловинская 1982). При этом мы коснемся только одного аспекта этой сложной проблемы — а именно, вопроса о формальном и семантическом статусе приставочных видовых пар.

Чисто видовая пара занимает особое место среди прочих категориальных словоизменительных [1] оппозиций. В принципе словоизменительные категории (вида, числа, падежа, степеней сравнения и пр.) образуются морфологической и семантической оппозицией форм слов. Семантическая оппозиция состоит в том, что значения двух сравниваемых единиц не различаются ничем, кроме категориальной семантики (ср. формы единственного и множественного со значениями 'один' и 'больше одного').

Морфологическая оппозиция выражается системой регулярных форм (падежно-числовые флексии, суффиксы степеней сравнения и т. д.). Обычно существуют какие-то более регулярные способы выражения данной оппозиции и менее регулярные, иногда нестандартные, например супплетивные формы, являющие собой крайний случай нерегулярности. При этом, если речь идет не о видовой корреляции, то менее регулярные способы формообразования учитываются наряду с основными.

Несколько иначе выглядит ситуация с видовыми парами. Семантический критерий выделения чисто видовых пар формулируется обычно так: чисто видовыми считаются пары глаголов, члены которых не выражают никаких семантических различий, кроме видовых.

Естественно, что установить, какие именно пары удовлетворяют этому требованию, можно только с помощью прямого семантического анализа самих пар. Парадоксальность ситуации в аспектологии состоит в том, что этот семантический критерий на деле подменяется формальным: большинство лингвистов считает, что удовлетворяют этому требованию все и только суффиксальные пары, образованные вторичной имперфективацией (типа *закрыть — закрывать*), меной тематической гласной (*бросить — бросать*), меной ударения (*разре́-*

---

[1] Мы совершенно не касаемся здесь вопроса о том, какой статус — словоизменительный или словообразовательный — имеют категории вида, числа и пр. Обсуждать этот вопрос следует отдельно от того, могут ли приставочные пары глаголов быть чисто видовыми или нет. В соответствии с традицией мы называем здесь вид словоизменительной категорией.

зать — разреза́ть). За пределы чисто видовых выводятся все приставочные пары, как не удовлетворяющие семантическому критерию, т. е. содержащие помимо видовых значений дополнительные смысловые оттенки. Последнее соображение не сопровождается специальным семантическим анализом, на что справедливо обращали внимание противники этой точки зрения (Богуславский 1969, с. 20).

Такая ситуация связана с развитием самой аспектологии. Исторически дело обстояло так, что аспектологам пришлось отделять чисто видовые значения от значений так называемых «способов действия», выражаемых главным образом разнообразными приставочными перфективами.

Дополнительные значения, которые приставки сообщают основному глаголу, не являются чисто видовыми: ср., например, начинательное значение (*забегать, побежать*), значение заполнения действием отрезка времени (*проспать два часа, прозаниматься всю ночь*), значение окончания действия (*отыграть, отзвонить*).

Во всех этих случаях приставочные глаголы не считаются видовыми парами к основным глаголам *бегать, бежать, спать, заниматься, играть, звонить*.

Отмежевываясь от значений, привносимых в категорию вида приставками, некоторые авторы впадают в другую крайность, отказывая априорно всем приставочным перфективам в способности выражать чисто видовое значение. При этом выдвигаются также и формальные возражения. Вот важнейшие из них.

1. Количество пар, образованных имперфективацией и префиксацией, резко различно. Префиксальные пары малочисленны, имперфективные составляют подавляющее большинство общего количества пар. Вот подсчеты, произведенные на основе цифровых данных, приводимых в работе Мучник 1971, с. 112—124: Из 5760 глагольных видовых пар 4960 образованы имперфективацией и лишь 800 — префиксацией.

2. Префиксальные пары характеризуются чрезвычайным разнообразием средств выражения: по данным Академической грамматики в видовых корреляциях участвует 17 приставок (АГ—70, с. 340). Имперфективные пары образуются более единообразно. Так, суффиксальные корреляции образуются всего тремя суффиксами: *-ива-* (*-ыва-*) — 60% случаев, *-а-* — 31%, *-ва-* — 9% (Мучник 1971, с. 113).

Следует признать, что, хотя два названных различия весьма существенны, они нисколько не препятствуют интерпретации префиксальных пар как чисто видовых. Выше уже говорилось, что многие грамматические значения выражаются наряду с регулярными и единообразными средствами и менее регулярными и даже нестандартными. Так, например, имеется 7 возможных окончаний именных словоформ в винительном падеже множественного числа, причем некоторые из них присоединяются к весьма ограниченному количеству основ. При этом отмечено 140 случаев нестандартного образования данной формы (Еськова и др. 1971, с. 40—41; с. 56—57).

3. Поскольку приставочное видообразование не имеет регулярного характера, то некоторые полагают, что сама форма приставочного перфектива не предсказуема с помощью общего правила, так как «для разных глаголов она образуется с участием самых разных приставок, выступающих в качестве «лексически пустых». Между тем, образование пар второго типа (*подписать — подписывать*) осуществляется вполне регулярно, даже механически, присоединением суффикса (Вейранк 1965; цит. по обзору Маслов 1977, с. 31—32). Есть, однако, основания считать, что непредсказуемость видовых форм глагола имеет место не только в случае приставочной перфективации, но и при любом способе глагольного видообразования.

Ср., например, *вкусить — вкушать*, но *закусить — закусывать*, *восславить — восславлять*, но *обесславить — обесславливать*; *подавить — подавлять*, но *сдавить — сдавливать*; *разредить — разрежать*, но *проредить — прореживать*; *сопроводить — сопровождать*, но *выпроводить — выпроваживать*; *воззреть — взирать*, *призреть — призирать*, но *обозреть — обозревать*, *прозреть — прозревать*; *овеять — овевать*, но *провеять — провеивать*; *рассеять — рассевать* (сеять в разных местах), но *рассеять — рассеивать* (прочие значения). Ср. также случаи типа: *накалить — накалять*, *накаливать*; *обмерить — обмерять*, *обмеривать*; *накопить — накоплять*, *накапливать*; *затопить — затоплять*, *затапливать*, *простудиться — простужаться*, *простуживаться*, *опорожнить — опорожнять*, *опоражнивать*. Как видим, о «механическом» присоединении суффикса не может быть и речи.

Существующие правила построения морфологических форм, в том числе глагольных, и не рассчитаны на подобную предсказуемость: при каждом глаголе в грамматических словарях имеется указание на тип видообразования; и правила построения словоформы даются относительно этих типов (Зализняк 1977; Бидер, Большаков, Еськова 1977). При этом и суффиксальные, и приставочные пары порождаются по правилам, как это предусмотрено, например, в последней цитированной работе.

4. Выражение видового значения является не единственной и не основной функцией префиксов (Мучник 1971, с. 124). Хотя само по себе это утверждение не вызывает возражений, вряд ли оно может рассматриваться как аргумент в данной полемике. Непонятно, почему не единственная и не основная функция морфемы не должна была бы приниматься во внимание.

Кроме того, необходимо отметить, что и для суффиксов выражение видового значения — не единственная функция. Так, суф. *-ива-* (*-ыва-*) имеет еще значение многократности (многократный способ действия — *хаживать*, *сиживать*). Что касается гласных *и — а* (*решить — решать*), то они, как и прочие тематические гласные, имеют в качестве главной основообразующую, а не семантическую функцию. Выражение значения вида для них вторично, так же как, например,

для гласных *и* — *е* вторично выражение значения переходности — непереходности (*белить — белеть*).

5. Существует так называемая «неполная семантическая соотносительность» по виду приставочных образований с исходными глаголами (Мучник 1956, с. 97—98; Быкова 1955, с. 119, Маслов 1958, с. 16). Она состоит в том, что многозначные глаголы в своих разных значениях по-разному проявляют видовое противопоставление. Например, глагол *бить* в значении 'наносить удары' образует форму совершенного вида с помощью преф. *по-* (*бить — побить собаку*), а в значении 'издавать звук' — с помощью *про-* (*часы бьют — пробили полночь*), в значении же 'ударять' (*бить в дверь*) глагол *бить* вообще не имеет соотносительной формы совершенного вида.

Однако подобное обстоятельство неоднократно отмечалось и для пар, образованных имперфективацией (Виноградов 1947, с. 537, Тихонов 1964, с. 45; Авилова 1976, с. 161 и след.; Гловинская 1982, с. 40—43). Например, у многозначного глагола в одном значении может быть видовая пара, в другом — нет: *Автор изображает / изобразил Россию. Картина изображает / — пожар*; в одном значении может отсутствовать форма одного вида, в другом — форма другого вида. Например, *заблудиться* 'потерять дорогу' — нет пары несовершенного вида, *заблуждаться* 'ошибаться' — нет пары совершенного вида.

Кроме того, подобная семантическая несоотносительность широко представлена и у других словоизменительных категорий. Хорошо известны аналогичные примеры у числа существительных. Так, существительное *хлеб* в значении 'продукт, выпекаемый из муки' (*Они питались хлебом и овощами*) не имеет формы множественного числа; в значении 'изделие из муки' форма множественного числа — *хлéбы* (*накормить пятью хлебами две тысячи человек*); а в значении 'зерновые на корню' — *хлебá* (*хлеба хорошо уродились*).

Кроме того, данное соображение совершенно теряет силу аргумента против приставочных пар еще и в связи с тем, что в современных семантических работах в качестве единицы описания принято брать не слово целиком, а слово в одном своем лексическом (словарном) значении. Относительно глагольных видовых пар это было предложено уже двадцать лет назад в Богуславский 1963, с. 18—19.

Итак, рассмотрение формальных возражений против приставочных пар показывает, что все они касаются с разных сторон недостаточной регулярности приставочного видообразования. Между тем, как мы убедились, в этом отношении нет принципиального различия между приставочным видообразованием и средствами выражения других словоизменительных категорий. Признавая ведущую роль вторичной имперфективации как формального средства выражения значения вида, естественно было бы отвести приставочному способу видообразования роль второстепенного, менее распространенного и регулярного средства.

Вернемся к семантическому критерию выделения чисто видовых пар. Применение семантического критерия к проблеме чисто видовых пар состоит в том, чтобы, установив первоначально с помощью прямого семантического анализа, какие семантические элементы в значении глагола можно считать чисто видовыми, проверить затем, какие глагольные пары различаются только этими семантическими элементами.

Обнаружению чисто видовых семантических элементов и отделению их от лексических в полном толковании глаголов обоих видов была посвящена наша работа (Гловинская 1982). Там подробно описываются принципы и методы исследования. Здесь мы лишь воспользуемся материалом и результатами этой работы.

Нами было обнаружено 4 типа видового противопоставления совершенного и несовершенного видов в их главных значениях — совершенном точечном и несовершенном актуально-длительном. Рассмотрим суффиксальные и префиксальные пары внутри каждого из этих типов.

1. К первому типу относятся предельные глаголы или глаголы в предельном употреблении, которые в несовершенном виде обозначают процесс или действие, частично достигшие результата, а в совершенном виде — полностью достигшие результата. Эти пары различаются семантическими элементами 'начать' — 'начинать'. Поясним содержание данных элементов.

'**Начать**' — '**начинать**'

'Ситуация Р начала иметь место'='В какой-то момент времени Р не существовало, в один из последующих моментов Р существует'. 'Ситуация Р начинает иметь место'='(1) В какой-то момент времени Р не существовало, (2) в один из последующих моментов существует часть Р или нечто, имеющее существенные признаки Р, (3) в каждый последующий момент существует бóльшая часть Р или нечто, имеющее больше существенных признаков Р, чем в каждый предшествующий момент, (4) если процесс (3) не прекратится до некоторого момента, то в этот момент начнет существовать Р'. Речь идет здесь о моментах наблюдения, которые, хотя и следуют друг за другом, но могут быть разорваны в реальном времени. Подробнее об этом см. указ. соч., с. 71—76. Этими элементами (и только ими) различаются и суффиксальные, и приставочные пары. Например:

Выздоравливать='начинать быть здоровым' — *выздороветь*='начать быть здоровым';

Заболевать='начинать быть больным' — *заболеть*='начать быть больным';

Засыхать='начинать быть сухим' — *засохнуть*='начать быть сухим';

Превращаться='начинать не иметь одно свойство и начинать иметь другое' — *превратиться*='начать не иметь одно свойство и начать иметь другое';

Исправляться='начинать быть лучше или хорошим' — *исправиться*='начать быть лучше или хорошим';

Бледнеть='начинать быть бледнее или бледным' — *побледнеть*='начать быть бледнее или бледным';

Краснеть='начинать быть краснее или красным' — *покраснеть*='начать быть краснее или красным';

Портиться='начинать быть хуже или плохим' — *испортиться*='начать быть хуже или плохим'.

Рассмотрим отдельно каузативы, обозначающие целенаправленные действия, так как их толкования имеют более сложный характер.

Представим толкования целенаправленных каузативов в полной форме. Истолкуем для этого видовую пару *делать—сделать*, которая в русском языке имеет наиболее общее каузативное значение и может быть ситуативно отнесена к действию, обозначаемому любым каузативным глаголом; ср.: *Что ты делаешь? — Пишу письмо. Рублю дрова. Одеваюсь*; *Что ты сделал? — Написал письмо. Нарубил дров. Оделся.*

'X делает P'='X действует определенным образом так, что начинает существовать P'='(1) В какой-то мемент времени P не существовало, (2) X действует определенным образом так, что в результате действия в какой-то последующий момент существует часть P или существенные признаки P, (3) в каждый последующий момент существует бóльшая часть P или больше существенных признаков P, чем в каждый предшествующий момент, (4) если процесс (3) не прекратится до некоторого момента, то в этот момент начнет существовать P (целиком)'.

'X сделал P'='(1) В какой-то момент времени P не существовало, (2) P начал действовать определенным образом и действовал так, что в результате действия в какой-то последующий момент существовала часть P или существенные признаки P, (3) в каждый последующий момент существовала бóльшая часть P или больше существенных признаков P, чем в каждый предшествующий момент, (4) X кончил действовать в момент, когда начало существовать P (целиком)'.

Различия в этих сложных толкованиях сводятся к противопоставлению тех же элементов 'начинать'—'начать',

Значительная часть толкования 'делать' (за исключением импликации (4)) входит в толкование 'сделать'. Обозначим эту часть толкования фиктивным глаголом 'делать'$_2$, чтобы можно было представить толкование сделать' в более удобной сокращенной форме. Тогда толкование 'сделать' в сокращенной форме будет выглядеть следующим образом: 'X сделал P='X начал делать$_2$ P, делал$_2$ и кончил делать$_2$ P в момент, когда P существует (целиком)'.

Теперь рассмотрим некоторые пары.

Втаскивать—втащить. Он втаскивает шкаф в комнату='Он действует определенным образом [2] (перемещает шкаф) так, что в ре-

[2] Компонент 'действовать определенным образом' в полном толковании каждого конкретного глагола должен заменяться подробным описанием данного

зультате этого действия шкаф начинает находиться в комнате'. *Он втащил шкаф в комнату*='Он начал втаскивать$_2$ шкаф в комнату, втаскивал$_2$ его и кончил втаскивать$_2$ в момент, когда шкаф начал находиться в комнате'.

Погружать—погрузить. Ребенок погружает куклу в воду='Ребенок действует определенным образом так, что в результате этого действия кукла начинает находиться в воде'. *Он погрузил куклу в воду*='Он начал погружать$_2$ куклу в воду, погружал$_2$ ее и кончил погружать$_2$ в момент, когда кукла начала находиться в воде'.

Надевать — надеть. Он надевает пальто='Он действует определенным образом так, что в результате этого действия он начинает иметь на себе пальто'. *Он надел пальто*='Он начал надевать$_2$ пальто, надевал$_2$ его и кончил надевать$_2$ в момент, когда он начал иметь пальто на себе'.

Читать—прочитать. Он читает книгу='Он действует определенным образом (воспринимает зрением или осязанием написанное) так, что в результате этого действия содержащаяся в книге информация начинает быть воспринятой'. *Он прочитал (прочел) книгу*='Он начал читать$_2$ книгу, читал$_2$ ее и кончил читать$_2$ в момент, когда содержащаяся в книге информация начала быть воспринятой' [3].

Шить—сшить. Она шьет платье='Она действует определенным образом (соединяет с помощью швейных принадлежностей куски ткани) так, что в результате этого действия начинает существовать платье'. *Она сшила платье*='Она начала шить$_2$ платье, шила$_2$ его и кончила шить$_2$ в момент, когда платье начало существовать'.

Писать—написать. Ребенок пишет буквы палочкой на песке='Ребенок действует определенным образом (передвигает палочку по песку) так, что в результате этого действия на песке начинают существовать буквы'. *Ребенок написал букву палочкой на песке*='Ребенок начал писать$_2$ букву, писал$_2$ ее и кончил писать$_2$ в момент, когда она начала существовать'.

Строить—построить. Он строит дом='Он действует таким образом, что начинает существовать дом'. *Он построил дом*='Он начал строить$_2$ дом, строил$_2$ его и кончил строить$_2$ в момент, когда дом начал существовать'.

Мы видим, что и в этом случае суффиксальные и приставочные пары имеют одинаковое смысловое соотношение.

2. Ко второму типу относятся непредельные глаголы, которые в обеих видовых формах в равной мере выражают результативное действие. Члены видовой пары различаются в этом случае элементами 'стать'—'становиться'. Раскроем содержание этих элементов.

типа действия. Мы, однако, этим вопросом не занимаемся, так как он целиком относится к ведению лексической, а не грамматической семантики.

[3] В эксплицитных толкованиях неизбежны стилистические шероховатости: ср. *создать*= 'сделать существующим' в словаре С. И. Ожегова.

'стать' — 'становиться'

'X стал P'='В какой-то момент времени X имеет некоторое значение признака P, в один из последующих моментов X имеет большее или меньшее значение признака P'. 'X становится P'='(1) В какой-то момент времени X имеет некоторое значение признака P, (2) в каждый последующий момент X имеет большее или меньшее значение признака P, чем в каждый предшествующий'. Элементы 'становиться' и 'стать' не совпадают по смыслу с соответствующими словами русского языка. Приведем примеры пар второго типа:

Расширяться='становиться шире'='В какой-то момент времени иметь некоторую ширину, в каждый последующий момент иметь бóльшую ширину, чем в каждый предшествующий' — *расшириться*='стать шире'='В какой-то момент времени иметь некоторую ширину, в один из последующих моментов иметь бóльшую ширину, чем в этот предшествующий момент'.

Сокращаться='становиться меньше' — *сократиться*='стать меньше';

Сужаться='становиться уже' — *сузиться*='стать уже';

Улучшаться='становиться лучше' — *улучшиться*='стать лучше'

Расти (*цены растут*)='становиться выше' — *вырасти*='стать выше';

Падать (*цены падают*)='становиться ниже (меньше)' — *упасть*='стать ниже, меньше';

Толстеть='становиться толще' — *потолстеть*='стать толще'.

Мы видим, что и в этом случае суффиксальные и префиксальные пары выражают одинаковое видовое различие.

3. К третьему типу относятся только целенаправленные каузативы типа доказывать—*доказать*, *заставлять—заставить*, *настаивать* (*на своем*)—*настоять*, *решать—решить*, *склонять—склонить*, *убеждать—убедить*, *уговаривать—уговорить* и т. п.

В данном типе глаголы несовершенного вида толкуются как 'действовать определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия начала существовать ситуация P'.

Глаголы совершенного вида являются семантически более сложными. Их толкования целиком включают в себя толкования соответствующих глаголов несовершенного вида: 'действовать определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия начала существовать ситуация P; в результате действия ситуация P начала существовать'. Представим толкования некоторых пар.

Доказывать—доказать. Он доказывает нам свою правоту='Он действует определенным образом (сообщает нам некоторые факты или умозаключения) с целью, чтобы в результате этого действия для нас начала быть очевидной его правота'. *Он доказал нам свою правоту*='Он действовал определенным образом (сообщал нам некоторые факты или умозаключения) с целью, чтоб в результате этого действия для нас начала быть очевидной его правота; в результате этого дей-

ствия для нас начала быть очевидной его правота'='Он доказывал нам свою правоту; его правота начала быть очевидной для нас'.

Заставлять—заставить. Он заставлял ее уйти='Он действовал по отношению к ней определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия она вопреки своей воле ушла'. *Он заставил ее уйти*='Он действовал по отношению к ней определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия она вопреки своей воле ушла; в результате этого действия она ушла'.

Точно так же толкуются и приставочные пары. *Прятать—спрятать. Он прячет игрушку*='Он действует по отношению к игрушке определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия игрушку не было видно'. *Он спрятал игрушку*='Он действовал по отношению к игрушке определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия игрушку не было видно; в результате этого действия игрушку не видно'.

Провоцировать—спровоцировать. Он провоцировал меня поссориться с сестрой='Он действовал по отношению ко мне определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия я поссорился с сестрой'. *Он спровоцировал меня поссориться с сестрой*='Он действовал по отношению ко мне определенным образом с целью, чтобы в результате этого действия я поссорился с сестрой; в результате этого действия я поссорился с сестрой'.

К этому типу относится и супплетивная пара *ловить—поймать*. Она имеет точно такое же видовое соотношение, что и приведенные выше примеры.

Первые три типа образуют основное ядро видового противопоставления. Именно по отношению к ним верно утверждение, что имперфективных пар гораздо больше, чем префиксальных.

4. Что касается четвертого типа, то для него характерно обилие приставочных пар. Четвертый тип можно считать более периферийным. К нему относятся остальные, контактные, контактно-двигательные глаголы, глаголы местонахождения, а также глаголы со значением передачи и получения информации. Здесь возможны следующие разновидности видового противопоставления:

1. Формы несовершенного вида имеют значение 'действовать', а совершенного — 'начать действовать, действовать и кончить действовать'. Например, *возражать—возразить, отвечать—ответить, спрашивать—спросить* и т. д. супплетивная пара *говорить—сказать*, а также большое количество приставочных глаголов: *глядеть—поглядеть, смотреть—посмотреть, благодарить—поблагодарить, просить—попросить, хвалить—похвалить* и т. д.

2. Формы несовершенного вида имеют значение 'быть в состоянии', 'иметь свойство', 'действовать', а формы совершенного вида — 'начать быть в состоянии','начать иметь свойство', 'начать действовать'. Проиллюстрируем первое соотношение — 'быть в каком-то состоянии' — 'начать быть в каком-то состоянии (и пребывать в нем)'

Оно встречается у некоторых глаголов со значением эмоционального или интеллектуального состояния или отношения:

обижаться='быть в состоянии обиды' — *обидеться* 'начать быть в состоянии обиды', *обоготворять*='относиться как в божеству' — *обоготворить*= 'начать относиться как к божеству', *понимать*= 'иметь правильное представление' — *понять*='начать понимать' и т. д.. Точно такое же соотношение характерно и для некоторых приставочных пар; *беситься*='быть в бешенстве' — *взбеситься*= 'начать быть в бешенстве', *беспокоиться* —*обеспокоиться*, *злиться*— *обозлиться*, *верить*—*поверить*, *веровать*—*уверовать*, *волноваться*— *взволноваться*, *любить*—*полюбить*, *ненавидеть*—*возненавидеть*, *сомневаться*—*усомниться*, *подозревать*—*заподозрить* и т. д.

Глаголы, относящиеся к рассмотренной группе, в большинстве своем имеют статальное значение, в принципе же, как известно, статальность препятствует наличию у глагола парного совершенного вида. Обычно, если от глагола со значением статальности образуется соответствующая форма совершенного вида, она имеет значение начинательности и относится к так называемому начинательному способу действия (ср. *болеть*—*заболеть*, *петь*—*запеть*). Как мы видели, все глаголы совершенного вида, в том числе суффиксальные, в четвертом типе тоже имеют значение начинательности, хотя, видимо, несколько более сложное, чем в парах типа *петь*—*запеть*.

Возможен двоякий способ интерпретации этих глаголов. Во-первых, они могут рассматриваться как чисто видовые пары, но в этом случае значение начинательности вопреки традиции будет также считаться чисто видовым, и следовательно, все приставочные пары начинательного способа действия окажутся чисто видовыми, что явно нежелательно. Во-вторых, эти глаголы могут рассматриваться как способ действия, т. е. семантико-словообразовательный тип, образованный при этом чисто аспектуальными с формальной точки зрения средствами. В пользу второго решения свидетельствует и тот факт, что такие суффиксальные парные по форме глаголы немногочисленны и образуются нерегулярно (подробнее см. указ. соч., с. 100—101).

Мы убедились в том, что семантический критерий выделения чисто видовых пар должен применяться независимо от формального, так как, с одной стороны существуют приставочные пары, не имеющие никаких смысловых различий, кроме видовых (как и суффиксальные), и, с другой стороны, имеются суффиксальные пары, смыслово е различие между которыми сводится к семантике способа действи я (как у соответствующих приставочных пар).

Подытоживая наблюдения над чисто видовыми приставочны ми парами, можно констатировать, что если подходить к ним без пр едвзятости, то мы не обнаружим теоретических оснований отказыв ать им в статусе обычного словоизменительного средства.

Что же касается практических соображений, то трактовка соо тветствующих приставочных пар как чисто видовых представляетс я

очень важной. Речь идет о преподавании русского языка и о лексикографической интерпретации видов.

Очевидно, что изучающему русский язык необходимо одновременно давать представление о *делать*, *строить*, *шить* и т. д. и о *сделать*, *построить*, *сшить* именно как о видовых соответствиях: *Делал, делал уроки и наконец сделал*; *Строил долго дом и наконец построил* и т. д.

Так же необходимо иметь данную информацию и в толковом словаре. Причины, по которым эти пары должны быть отражены в словаре, — те же, по которым словарь помещает имперфективные пары. Образцом в этом отношении может служить «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, в котором преодолена длительная традиция неодинаковой трактовки суффиксальных и приставочных видовых пар и наряду с суффиксальными указываются и приставочные пары.

ЛИТЕРАТУРА

Авилова 1976 — *Авилова И. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

АГ-70 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Бидер, Большаков, Еськова 1978 — *Бидер И. Г., Большаков И. А., Еськова Н. А.* Формальная модель русской морфологии. — ИРЯЗ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации, вып. III. М., 1978.

Богуславский 1963 — *Богуславский А.* Перфективные глаголы в русском языке. Slavia, XXXII, 1963, № 1.

Быкова 1958 — *Быкова Л. А.* Несоотносительные глаголы несовершенного вида в современном русском языке. — Учен. зап. Харьк. ун-та, т. 99. Труды філол. фак., 1958, т. 6.

Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1947.

Гловинская 1982 — *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Еськова и др. 1971 — *Еськова Н. А.* и др. Формальная модель русской морфологии — ИРЯЗ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М., 1971.

Зализняк 1977 — *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.

Маслов 1958 — *Маслов Ю. С.* Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958.

Маслов 1977 — *Маслов Ю. С.* Русский глагольный вид в зарубежном языкознании последних лет, II. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 434. Вопросы русской аспектологии. Тарту, 1977.

Мучник 1956 — *Мучник И. П.* О видовых корреляциях в системе спряжения глаголов в современном русском языке. — ВЯ, 1956, № 6.

Мучник 1971 — Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., 1971.

Тихонов 1962 — *Тихонов А. Н.* Чисто видовые приставки в системе русских видов. — ВЯ, 1964, № 1.

Вейранк 1965 — *Veyrenc J.* UN problème de formes concurrents dans l'économie de l'aspect verbal en russe: imperfectifs premiers et imperfectifs seconds. — Slavica, 5, Debrecen, 1965.

О. С. АЗАРХ

О СВЯЗИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ

В настоящих заметках рассматривается вопрос о связи субстантивных суффиксов с несловоизменительной морфологической категорией этой части речи — грамматическим родом. По своей позиции в слове суффиксы являются своего рода предокончаниями, однозначно / неоднозначно связанными с родом и типом склонения дериватов. Характер зависимости между родом производного и суффиксом связан и со спецификой словообразовательного значения (СЗ) производных, и с сочетаемостными возможностями суффиксов, и с их морфонемной структурой.

Субстантивные суффиксы, помимо собственно деривационных, могут иметь и морфологические функции, или морфологическую нагрузку. Ею обладают специфичные для словообразования существительных суффиксы: например, *-тел'-Ø*, *-ост'-Ø*, *-ств-о*, *-(е)ц-*, *-иц-*, *-их-а*, *-ух-*. Назовем подобные суффиксы частеречными, или частноименными (ЧС). Субстантивные суффиксы могут не иметь морфологических функций, если они участвуют в деривации не только существительных, но и других именных частей речи. Назовем подобные суффиксы общеименными (ОС). К числу ОС принадлежат, например, *-(о)к-*, *-ин-*, нулевой суффикс.

Все частноименные суффиксы указывают на принадлежность деривата к определенной части речи — существительным и производной основы к определенному классу основ — субстантивных. По признаку однозначности / неоднозначности связи с грамматическим родом и типом склонения все ЧС можно подразделить на 1) $ЧС^1$ — формальные показатели грамматического рода и типа склонения (*-изн-а*, *-ищ-е*, *-ун-Ø*, *-ар'-Ø* и др.); 2) $ЧС^2$ — формальные показатели женского субстантивного склонения типа *вода*, *земля* (*-аг-а*, *-уг-а*, *-ул'-а*, *-он'-а* и др.); 3) $ЧС^3$ — не являющиеся формальными показателями рода и словоизменительного класса дериватов (*-(е)ц-*, *-иц-*, *-ух-*). Таким образом, для разных групп ЧС характерна неоднородность морфологических функций. $ЧС^1$ обладают наибольшей морфологической нагрузкой, а $ЧС^3$ — наименьшей. Группировку субстантивных суффиксов по их морфологическим функциям можно представить в табл. 1.

Границы между группами субстантивных суффиксов исторически изменчивы и подвижны. Так, в словообразовании существительных древнерусского периода (XI—XIII вв.), видимо, отсутствовала группа $ЧС^2$ — формальных показателей женского субстантивного склонения на *-а*. В современном языке с помощью $ЧС^2$ образуются экспрессивные характеристики лиц муж. или жен. рода, принадлежащие к разряду слов общего рода: *выпивоха*, *капризуля*, *молодчага*,

плакса, *тихоня*, *хапуга* и т. п. ЧС² участвуют также в деривации по преимуществу неодушевленных субъективно-оценочных слов жен. рода: *каменюка*, *речуга*, *сотняга* и т. п. В древнерусской письменности до XV в. подобные образования с ЧС² не отражены. Массовость в деловых документах XV—XVII вв. отапеллятивных прозвищ и фамильных прозваний от них типа *Верещага*, *Дурняга*, *Коротыга*, *Живуля*, *Слабоня*, *Торопыня*, *Правуня*, *Мокруша*, *Потеряха*,

Таблица 1

Группа суффиксов		Морфологические функции: указание на			
		часть речи	грамматический род	тип склонения	числовую форму
Частноименные (ЧС)	ЧС¹	+	+	+	—
	ЧС²	+	—	+	—
	ЧС³	+	—	—	—
Общеименные (ОС)		—	—	—	(+)

Примечание: знак «+» указывает на наличие, а знак «—» на отсутствие у суффиксов данной группы определенной морфологической функции. Знак «(+)» обозначает возможность у ОС данной морфологической функции. Так, ОС *-ин-* у дериватов типа *граждане* / *гражданин* является формальным показателем формы ед. числа, а ОС *-ат-* ‹ праслав. *-ent- у дериватов типа *козленок* / *козлята* — формальным показателем формы мн. числа.

Пустоха, *Раздеришин* т. п. (Ономастикон) позволяет предполагать, что по крайней мере уже к концу древнерусского периода (XIV в.) началось формирование группы ЧС² — экспрессивных суффиксов, показателей определенного типа склонения. Сравнительно малопродуктивные уже в древнерусский период названия лиц муж. пола по профессиональной деятельности типа *воевода*, *возьница*, *меченоша*, принадлежавшие к женскому субстантивному склонению, были стилистически нейтральны. Группу ЧС² образовали экспрессивные суффиксы, ранее участвовавшие в деривации либо слов муж. и жен. рода (ЧС³), либо только жен. рода (ЧС¹). Основная масса ЧС² представлена двухфонемными суффиксами со структурой «гласный + смягченный сонорный согласный» и «гласный + задненебный согласный или его репрезентант, возникший вследствие палатализации задненебного согласного перед суф. *-j-*».

В русском языке постоянно увеличивается группа суффиксов с наибольшей морфологической нагрузкой (ЧС¹). С конца древнерусского периода растет и группа ЧС², характерная для разговорной речи. Вместе с тем уже в древнерусский период активен процесс сокращения числа суффиксов с наименьшей морфологической нагрузкой (ЧС³) и дополнительного распределения дериватов с ОС на лексическом и словообразовательном уровнях.

Суффиксы с наибольшей морфологической нагрузкой имеют более сложную морфонемную структуру, чем суффиксы других групп. ЧС[1] в основном представлены трех- и четырехфонемными суффиксами, двухфонемные суффиксы этой группы восходят к трехфонемным, расширенным суф. *-j-* (*-ож-* < *-еж-* <* *-egj-*, *-ач-* <* *-akj-* и др.). Все иноязычные суффиксы, вычленившиеся у заимствований однотипной структуры, уже начиная с исходной системы русского языка (X в.— начало XI в.), принадлежат к группе ЧС[1] (суф. *-ар'-ь*, соответствующий лат. *-ārius*, у слов типа *виноградарь*; вычленившиеся в Петровскую эпоху суф. *-ист-Ø* у слов типа *бубенист* 'тот, кто играет на бубне', *канцелярист*, *-ш-а* у слов типа *атаманша*, *генеральша*). В русском языке активен процесс образования сложных суффиксов вследствие присоединения к субстантивному суффиксу суффикса производящей основы. Так возникли праслав. сложные суф. *-ьник-ъ* < *-ьп-ik*, *-ьниц-а* <* *-ьп-ik-*; в русском языке аналогичным путем образовались суф. *-ов(е)ц-Ø*, *-л(о)к-а*, *-атин-а* и др. Все сложные суффиксы, возникшие путем левого распространения за счет производящей основы, принадлежат к группе ЧС[1]. В результате правого распространения суффикса также могут образоваться ЧС[1]. При правом распространении к производной основе существительного присоединяется второй субстантивный суффикс. Это явление характерно для уменьшительных имен, субъективно-оценочных слов, сингулятивов, образований со значением невзрослости, утративших отличающие их от производящих существительных семантические признаки. Таковы, например, суф. *-чик-Ø* < *-(е)ц-* и *-ик-* у дериватов типа *карманчик*, *мальчик*; суффиксы субъективно-оценочных образований *-ен(е)ц-*, *-ищ(е)к-*, *-он(о)к-*, *-ен(е)к-*, *-уш(е)к-*; сингулятивы типа *ягоди́ннина* в говорах Северо-Запада, где суф. *-ин-* служит и для деривации собирательных имен, и для логического выделения слова в речи. Присоединение второго суффикса к основе деривата наблюдается при необходимости «восстановить» первичное для слов данной модели словообразовательное значение, почему-либо утраченное или ставшее неактуальным.

Группа ЧС[1] растет в русском языке и за счет перехода в нее суффиксов с наименьшей морфологической нагрузкой (ЧС[3]). Например, в древнерусском языке XI—XII вв. ЧС[3] *-от-* функционирует как ЧС[1]: слова жен. рода типа *доброта*, *дремота* продуктивны, а слова муж. рода единичны, эти праслав. образования лишь воспроизводятся (*животъ*). Увеличивается группа ЧС[1] и за счет перехода в нее ряда ОС: например, уже в древнерусском языке с помощью ОС *-ав-* производятся лишь имена жен. рода (*дьржава*, *дубрава*), а слова муж. рода единичны (*рукавъ*); ОС *-ит-* в древнерусский период образует лишь наименования лиц муж. пола (*наимитъ*), а праслав. образования с суф. *-ит-* жен. рода только воспроизводятся (*ланита*, *улита*).

Постепенно сокращается в русском языке число суффиксов с наименьшей морфологической нагрузкой (ЧС[3]). Суффиксы этой группы

либо переходят в группу ЧС[1], либо в группу ЧС[2]. В современном языке эта группа суффиксов с наименьшей морфологической нагрузкой сохраняется прежде всего вследствие продуктивности суф. *-(е)ц-*, *-иц-*, генетически являющихся общеименными суф. **-ьк-*, **-ik-*, и суф. *-ух-*, уже малопродуктивного в деривации имен муж. рода, а также суф. субъективно-оценочных слов *-ищ(е)к-*, *-он(о)к-*, *-он(е)к-*, *-оч(е)к-*, *-уш(е)к-*.

Уменьшается количественно группа ОС, уже в древнерусский период активен процесс дополнительного распределения словопроизводственной базы существительных разного грамматического рода с одинаковыми ОС: слова муж. рода на *-инъ* продуктивны лишь от плюративов типа *боляре*, *граждане* и собирательных этнонимов типа *чудь*, а словопроизводственная база имен жен. рода с суф. *-ин-* практически не ограничена в русском языке. Часть ОС переходит в группу ЧС[1] (см. примеры выше) и ЧС[2] (например, образования с ОС *-'он-* типа *гулёна*). Продуктивность ОС в субстантивном словообразовании возможна, во-первых, при дополнительном распределении словопроизводственной базы существительных и прилагательных с одинаковыми суффиксами: ср. др.-рус. сущ. *складьнь*, *въпль*, *заячина* и прил. *братьнь*, *безумль*, *сестрина*. Случаи омонимии производных основ существительных и прилагательных с одним и тем же ОС единичны и возможны при достаточной дифференциации парадигм дериватов: ср. др.-рус. *звѣрина* 'мясо дикого животного' и *звѣриныи*. Уже, видимо, в исходной системе русского языка группа ОС не пополняется новыми суффиксами. Продуктивность ОС в словообразовании существительных возможна, во-вторых, при их непродуктивности в словообразовании прилагательных. Уже в др.-рус. период в качестве суффиксов прилагательных совершенно непродуктивны, например, *-тв-* (*мьртвъ*), *-ак-* (*одинакъ*), *-ик-* (*великъ*), малопродуктивен *-ьн'-* (*дальнии*).

Количественный рост суффиксов с наибольшей морфологической нагрузкой, однозначно связанных с родом дериватов, отражает растущую в славянских языках роль грамматического рода в распределении существительных по словоизменительным классам и лексико-грамматическим разрядам (распределение существительных на одушевленные / неодушевленные имена в соответствии с полом по родам у названий живых существ). Установлению однозначной связи между родом и суффиксом способствует и то, что род и суффикс являются классификационными признаками существительного, присущи ему во всех словоформах. Рост числа ЧС[1] — следствие проявления тенденции к однозначности, действующей в словообразовании и словоизменении существительных. Проявлением этой тенденции является усложнение системы субстантивного словообразования: рост сложных формантов и увеличение числа суффиксов с наибольшей морфологической нагрузкой. Проявлением этой же тенденции является упрощение системы словоизменения существительных: унификация типов склонения во мн. числе, сокращение их в ед. числе, утрата дв.

числа, увеличение числа слов с неполной числовой парадигмой, а также несклоняемых существительных.

Случаи перехода суффикса из группы ЧС[1] в группы ЧС[2] или ЧС[3] единичны в русском языке. Например, переход ЧС[1] *-л-о* $<$* *-dl-o-* связан с упрощением структуры этого праслав. суффикса. У именных суффиксов информативность возрастает к финали морфемы. Упрощение морфонемной структуры праслав. суф. *-л-о-* повлекло за собой омонимию его с ОС *-л-*: ср. сущ. с ЧС[1] типа *чернило* и сущ. с ОС типа *вила, быль*; прил. типа *беглый*, первичные прич. типа *дал*. Омонимия ЧС[1] *-л-о* и ОС *-л-* на территории акающих говоров поддерживала слияние их в один суффикс. В антропонимии XVII в. отражены фамильные прозвания от прозвищ типа *Колотилин* $<$ *Колотила* $<$ *колотило*, встречающиеся в это время на территории южнорусских говоров (Тупиков). Переход суффиксов группы ЧС[1] в группу ЧС[3] может быть обусловлен общностью семантики дериватов с ЧС[1] и ЧС[3], общностью их словопроизводственной базы, а также тождеством конечных элементов морфемы у суффиксов указанных групп. Так, субъективно-оценочные слова на *-ишько*, *-еньце* (*попишько*, *конишько*, *женишько*; *человѣченьце*, *бабеньце*, *кобыленьце*) в др.-рус. период принадлежат к ср. роду, а их суффиксы к группе ЧС[1]. Общность признака уменьшительности у дериватов с суф. *-иш(е)к-*, *-ен(е)ц-* и деминутивов с суф. *-(о)к-*, *-(е)ц-*, общность словопроизводственной базы у производных этих словообразовательных типов и тождество второй части сложных суф. субъективно-оценочных слов и ОС *-(о)к-*, ЧС[3] *-(е)ц-* способствуют преобразованию ЧС[1] *-иш(е)к-*, *-ен(е)ц-* в ЧС[3]; указанные суффиксы утрачивают однозначную связь со ср. родом, субъективно-оценочные слова, как и деминутивы, уже в XVI—XVII вв. сохраняют род производящего существительного (Азарх 1980).

В современной дериватологии выделяют несколько семантических типов СЗ по соотношению общекатегориальных и/или лексических значений членов словообразовательной пары. Эти типы СЗ специфичны для дериватов разных частей речи (Кубрякова 1981, 119—120). Для существительных характерны следующие семантические типы СЗ: 1) транспозиционный, 2) мутационный, 3) модификационный (Dokulil 1962, 200; Земская 1973, 184—185; Лопатин 1976, 13—14; Ермакова 1977, 13—21; Улуханов 1977, 7, 25—27). Е. Курилович выделяет синтаксическую деривацию, или транспозицию, и лексическую деривацию, или мутацию и модификацию (Курилович 1962, 57—70). В. В. Лопатин ввел понятие синтагматического, или соединительного СЗ (Лопатин 1976, 14).

При транспозиции производное полностью или частично сохраняет лексическое значение производящего. Члены словообразовательной пары совпадают хотя бы в одном ЛСВ, между ними существуют в плане содержания отношения «нулевой оппозиции» (см. определение «нулевой оппозиции»: Караулов 1976, 106), или равенство семантических объемов. Дериваты с транспозиционным СЗ, или транспозиты, противопоставлены производящим по своему общекатегори-

альному значению. Члены словообразовательной пары при транспозиции принадлежат к разным частям речи: *бегать* > *бег*, *беганье*, *беготня*; *белый* > *белизна*, *бель*.

При мутации значения членов словообразовательной пары находятся в отношениях пересечения, или эквиполентной оппозиции. Производное сохраняет лишь часть компонентов семантики производящего: *выключать* > *выключатель*, *Москва* > *москвич*, *объезд* > *объездчик*, *плоский* > *площадь*, *синий* > *синяк* и т. п. Производное и производящее при мутации либо противопоставлены по своим общекатегориальным значениям, либо различаются внутрикатегориальными значениями, т. е. принадлежат к разным лексико-грамматическим разрядам одной части речи: одушевленное > неодушевленное, неодушевленное > одушевленное, собственное имя > нарицательное, нарицательное > собственное.

При модификации значения производного и производящего находятся в отношениях привативной оппозиции. Значение производящего включается в значение производного. Последнее отличается от значения производящего дополнительным семантическим компонентом. К числу семантических признаков модификатов обычно относят уменьшительность, увеличительность, субъективную оценку, собирательность, единичность, женскость, невзрослость (АГ—80, 200—218). Спорным нам кажется наличие модификационного СЗ подобия у слов типа *шляпка* (гвоздя) и *ушко* (иглы). Подобные значения возникают, видимо, не в результате морфологического словообразования, а вследствие переносного употребления слова, т. е. это явление, присущее как словам производным, так и непроизводным. Вряд ли можно считать собственно русским словообразовательным типом модификатов со значением подобия заимствования на *-оид* типа *негроид*, *эллипсоид*, характерные для научной терминологии (АГ-80, 205). Слова этой модели обозначают разновидность того класса предметов, который назван производящей основой, что соответствует значению морфемы *-оид-* < греч. *eidos* 'вид'. Кстати, к этому типу принадлежат заимствования *дифтонгоид*, *металлоид*, не представляющие в современном их значении разновидности дифтонгов или металлов.

К промежуточным между мутационными и модификационными словообразовательными типами можно было бы отнести дериваты с совпадающими как обще-, так и внутрикатегориальными значениями при отношении пересечения их лексических значений. Общая семантическая часть у дериватов подобных промежуточных типов и производящих существительных обычно больше, чем у дериватов мутационных типов. Таковы, например, наименования части целого (*кнутовище*, *топорище*), остатков разрушенного целого (*городище*), обозначения степеней родства и свойства (др.-рус. *къняжичь* 'сын князя', *сестричь* 'сын сестры'; отчества; наименования жен по имени или профессии мужа типа *Макариха*, *кузнечиха*).

При соединительном СЗ производное и источник деривации — словосочетание семантически эквивалентны. Этот тип СЗ имеют сра-

щения, аббревиатуры, слова, возникшие вследствие семантического стяжения устойчивых словосочетаний прилагательного с существительным (конденсаты, или универбаты), типа *зачетка* (Лопатин 1978). В разговорной речи регулярны образования с первичным соединительным СЗ, источником деривации которых являются атрибутивные словосочетания: *левак* < *левый рейс*, *левый товар*; *запретка* < *запретная зона*. В момент порождения род конденсата соответствует роду существительного словосочетания. Малоупотребительность исходного для конденсата словосочетания или существование нескольких семантически эквивалентных словосочетаний с одним и тем же прилагательным и синонимичными существительными разного грамматического рода, а также утрата прилагательного, выступающего при конденсации в качестве непосредственно производящей основы, — все это способствует преобразованию у первичного конденсата соединительного СЗ в мутационное. Этому способствует и существование дериватов с однотипной структурой и мутационным СЗ. Например, в др.-рус. период *вьрбьница* является конденсатом, семантически тождественным словосочетанию *недѣля вьрбьная*. В XVI в. *вербница* эквивалентно словосочетаниям *вербная недѣля* и *вербное воскресенье*, что разрушает однозначность связи конденсата *вербница* с определенным словосочетанием и поддерживает преобразование у слова *вербница* семантического типа СЗ. Слово *коровникъ* 'хлев для скота' возникло на базе словосочетания *коровный дворъ* (СлРЯ, XVI в.). Малоупотребительность исходного словосочетания по сравнению с конденсатом и неупотребительность в нормированном языке позднейшей эпохи прил. *коровный* повлекли за собой преобразование первичного соединительного СЗ у слова *коровник* в мутационное. Этому способствовало и существование словообразовательных типов с суф. *-ник-Ø*, *-ик-Ø* и мутационным СЗ.

Близкое к соединительному СЗ обнаруживают префиксальные существительные с отрицательными приставками *без-* и *не-*: образования с приставкой *без-* характерны для древнерусского книжного языка (*безбоязньство* < *без боязньства* 'бесстрашие'), образования с приставкой *не-* широко распространены уже в др.-рус. период и в языке народно-разговорного типа (*неправьда*). Близко к соединительному СЗ и значение конфиксов, восходящих к сочетанию имен с пространственным значением с предлогами: *заболотье* < *за болотом*, *побережье* < *по берегу*.

Выделенные выше семантические типы СЗ можно считать собственно словообразовательными значениями, определяющими словообразовательную семантику производных слов. «Словообразовательное значение является лишь наметкой возможного содержания слова, что́ слово значит на самом деле — определяет закрепившееся в языке фактическое употребление» (Булаховский 1953, 14).

Суффиксы с наибольшей морфологической нагрузкой (ЧС[1]) однозначно связаны только с одним семантическим типом СЗ — либо транспозиционным, либо мутационным, либо (реже) модификацион-

ным. Так, с помощью ЧС[1] *-об-а*, *-изн-а*, *--(е)ниj-е*, *-ств-о*, *-от-а*, *-ост'-Ø* образуются транспозиты, у которых значения отвлеченного от носителя действия / состояния (*воровство*, *укоризна*, *утомление*, *утомленность*, *тошнота*) или отвлеченного качества (*лукавство*, *желтизна*, *скорость*, *доброта*) определяются общекатегориальным значением производящей основы. ЧС[1] *-ун-Ø*, *-ар'-Ø*, *-иш-* Ø однозначно связаны с мутационным СЗ. В зависимости от общекатегориального значения производящей основы мутационное СЗ 'носитель признака' конкретизируется: 'носитель процессуального признака' (*бегун*, *пекарь*, *выкормыш*), 'носитель качественного признака' (*толстун*, *сухарь*, *малыш*), 'носитель предметного признака' (*глазун* костром., нижегор. 'человек с глазами навыкат'; волж. 'сеть с крупными ячейками'; астрах. 'птица сем. ржанок' СРНГ; *виноградарь*; *заугóлыш* онеж., ирк. < *заугóл* 'зауголок' СРНГ). ЧС[1] *-ниц-а*, *-ш-а* образуют модификаты со значением женскости, а ЧС[1] *-инк-а* модификаты со значением единичности. Суффиксы, однозначно связанные с семантическим типом СЗ, не участвуют в деривации слов с соединительным СЗ, семантически эквивалентных словосочетанию.

Суффиксы, не являющиеся формальными показателями грамматического рода дериватов, неоднозначно связаны с семантическим типом СЗ, участвуют в образовании существительных различных по содержанию типов СЗ. Так, суффиксы — формальные показатели типа склонения (ЧС[2]) продуктивны в деривации экспрессивных имен с мутационным СЗ — одушевленных существительных (*бродяга*, *бедняга*, *выпивоха*), модификатов — преимущественно неодушевленных существительных (*каменюка*, *коняга*, *тетёха*, *ветрюга*). ЧС[2] непродуктивны в деривации имен с транспозиционным СЗ и малопродуктивны в образовании слов с соединительным СЗ. Суффиксы с наименьшей морфологической нагрузкой (ЧС[3]) и суффиксы, не имеющие морфологических функций (ОС), также участвуют в образовании слов с различными семантическими типами СЗ. У слов с суффиксами, не однозначно связанными с родом и семантическим типом СЗ, значение деривата определяется и суффиксом, и общекатегориальным значением производящей основы (у ЧС[2]), а также морфологической характеристикой производного (у ЧС[3]) и лексическим значением производящей основы (у ОС). Один и тот же ЧС[3] может образовывать транспозиты (*румянец*, *трусца*, *хитреца*), слова с мутационным СЗ (*мудрец*, *резец*, *стервец*, *пропойца*, *святцы*, *цыпцы*), модификаты (*грязца*, *народец*, *сельцо*). В момент порождения дериваты с ЧС[3] могут иметь соединительное СЗ: *бѣглецъ* < *бѣглецъ холопъ* < *бѣглый холопъ* (СлРЯ, XVI в.). Один и тот же ОС также может участвовать в образовании слов с различными по содержанию СЗ. Так, ОС *-(о)к-* образует транспозиты (*глоток*, *чистка*, *прятки*), слова с мутационным СЗ (*загородка*, *похлёбка*, *тараторка*, *выжимки*; *белок*, *синька*, *святки*; *загорбок*), модификаты (*братóк*, *домок*, *головка*, *идейка*, *пивко*; *мелок*, *карамелька*; *активистка*, *соседка*), имена с соединительным СЗ (*вечёрка*, др.-рус. *пятъкъ* 'пятница' < *дьнь пятыи*, клички *Воронко* <

воронко < *конь воронъ*, *Буланка* < *буланка* < *кобыла булана* СлРЯ).

Итак, для суффиксов с наибольшей морфологической нагрузкой (ЧС[1]) более характерна транспонирующая функция преобразования общекатегориального и/или лексического значения производящего. Суффиксам, не однозначно связанным с родом дериватов, присущи и транспонирующая, и модифицирующая функции ограничения объема содержания при одновременном увеличении числа семантических признаков, свойственных производящему. Суффиксы, не имеющие морфологических функций, продуктивны в структурной функции преобразования словосочетания в семантически эквивалентное существительное. Сказанное можно подытожить в табл. 2.

Таблица 2

Группа суффиксов	Типы СЗ по содержанию			
	транспозиционный	мутационный	модификационный	соединительный
ЧС[1]	+	+	(+)	—
ЧС[2]	(+)	+	+	(+)
ЧС[3]	+	+	+	(+)
ОС	+	+	+	+

Примечание: знак «(+)» указывает на малопродуктивность суффиксов данной группы в деривации слов с данным семантическим типом СЗ.

На неразрывную связь грамматических и неграмматических значений в смысловой структуре аффикса обратили внимание Е. С. Кубрякова и З. А. Харитончик. Они выделили в значении аффикса 1) общекатегориальное значение части речи, 2) частное грамматическое значение (вид, род и т. п.), 3) общее словообразовательное значение, конкретизирующее значение части речи, 4) частное словообразовательное значение, подчиненное общему (Кубрякова, Харитончик 1976, 226). Данная характеристика смысловой структуры аффикса опирается на признание омонимии аффиксов, участвующих в деривации слов разных словообразовательных типов, и на выделении у аффикса производных одного словообразовательного типа, во-первых, значения, инвариантного для всех дериватов данного типа, и во-вторых, значения, инвариантного для части дериватов данного типа. При этом аффиксу приписывается значение, присущее производному слову, что, на наш взгляд, неправомерно. Словообразовательный аффикс не может, как нам кажется, иметь значение более частное, конкретное, чем то общее значение, которое свойственно дериватам с данным аффиксом разных словообразовательных типов. Одними и теми же, неомонимичными аффиксами являются в синхронии славянские аффиксы, тождественные (в сильной позиции) по

своему звуковому облику и восходящие к одному и тому же аффиксу в диахронии.

Суффикс может иметь лишь весьма обобщенное словообразовательное значение, присущее всем производным и членимым словам данной части речи с этим суффиксом. Права Н. А. Янко-Триницкая: «Чем многочисленней и разнообразнее значения какой-либо формы в языке, тем больше оснований полагать, что у нее нет ни одного из этих значений, а есть только некое весьма общее значение, которое не противоречит всем приводимым частным» (Янко-Триницкая 1963, 91). Приписывание субстантивному суффиксу различных частных значений, свойственных всем дериватам или части дериватов одного словообразовательного типа, «провоцируется» ономасиологической сущностью существительного, сравнительно четким распределением слов этой части речи по тематическим и лексико-грамматическим группам. Приписывание аффиксу частного значения противоречит такой характерной особенности производного слова, как фразеологичность его значения (Панов, 1956; Ермакова 1977, 11—21; Земская 1981, 137—138).

Собственно словообразовательное значение можно приписать лишь тем субстантивным суффиксам, которые однозначно связаны с семантическим типом СЗ, т. е. ЧС^1. Значение ЧС^1 тождественно либо транспозиционному, либо мутационному, либо модификационному СЗ. Для транспозиционных ЧС^1 словообразовательным является значение отвлеченного от носителя признака, для мутационных ЧС^1 соответственно значение носителя признака, а для модификационных ЧС^1 — частное значение данного модификационного словообразовательного типа (например, значение женскости у дериватов с суф. *-есс-а*, значение невзрослости у дериватов с суф. *-оныш-Ø*, субъективно-оценочное у дериватов с суф. *-чик-Ø*). Даже при отсутствии в синхронии непосредственно мотивирующего слова дериваты с ЧС^1 имеют значение, свойственное производным с данным суффиксом. Например, *картёж* в современном языке не является девербативом, но при этом имеет транспозиционное СЗ отвлеченного действия с дополнительным модификационным значением усилительности, что свойственно и другим отглагольным образованиям с ЧС^1 *-ож-Ø* (*грабёж*, *скулёж*) [1]. И в письменности XVII в. *картеж* не мотивируется глаголом; однокоренной с *картеж* глагол не отражен в памятниках, *картеж* семантически соотносительно со словосочетанием *играть в карты* (СлРЯ, XVII в.). Бóльшая часть ЧС^1 обладает стабильным СЗ, тождественным семантическому типу СЗ (транспозиционному или мутационному), меньшая часть ЧС^1 имеет частное модификационное СЗ, свойственное словам одного словообразовательного типа. Некоторые ЧС^1 развивают дополнительное модификационное значение, если дериваты с данным суффиксом образуются в ос-

[1] Пример подсказан автору В. В. Лопатиным, прочитавшим статью в рукописи и сделавшим ряд ценных критических замечаний.

новном от слов одной части речи и преимущественно одной тематической группы (слова типа *галдёж* от глаголов физического действия). Правда, подобные частные значения у ЧС[1] обусловлены и лексическим значением производящей основы (ср. *терпёж*, у которого оттенок усилительности, интенсивности отсутствует), и преимущественным употреблением дериватов с данным ЧС[1] в одном из функциональных стилей языка (образования типа *кутёж* характерны для разговорной речи и просторечия). Следовательно, дополнительное, частное модификационное значение является принадлежностью дериватов с данным ЧС[1], а не собственно словообразовательным значением суффикса.

Значение ЧС[1] не зависит от «внутреннего контекста» (категориального и лексического значений производящей основы, рода и словоизменительного класса производного слова), так как ЧС[1] однозначно связан с грамматическим родом и типом склонения, а также с семантическим типом СЗ. Для словообразовательной семантики дериватов с ЧС[1] и транспозиционным или мутационным СЗ не является существенным признак частеречной принадлежности производящего (Янко-Триницкая 1976, 45; Ермакова 1977, 6—11, Земская 1981, 188). Для словообразовательных типов с ЧС[1] частеречная принадлежность производящих не является классификационным признаком. У поливалентных ЧС[1] частеречная принадлежность производящих определяет подтип словообразовательного типа. Например, мутационный словообразовательный тип с ЧС[1] *-ач-Ø* имеет три подтипа: а) наименования носителей процессуального признака (девербативы типа *толкач*), б) наименования носителей качественного признака (деадъективы типа *ловкач*), в) наименования носителей предметного признака (десубстантивы типа *горбач*).

Суффиксы, не однозначно связанные с родом дериватов и семантическим типом СЗ, не обладают собственно словообразовательным значением. Они либо дублируют общекатегориальное значение предметности (ЧС[2] и ЧС[3]), свойственное всем специфичным для словообразования существительных суффиксам, либо имеют лишь общую для всех словообразовательных аффиксов функцию указания на производность слова (ОС). Значение предметности или признаковости у ОС реализуется лишь в сочетании с флексиями субстантивного или адъективного склонения. Для словообразовательных типов с ЧС[2], ЧС[3] и ОС существен признак частеречной принадлежности производящих, так как одни и те же суффиксы этих групп участвуют в образовании имен разных словообразовательных типов. Суффиксам, однозначно связанным с типом склонения (ЧС[2]), свойственно экспрессивное значение, характер которого выявляется лишь в контексте.

Словообразовательное значение дериватов может быть инвариантным для всех образований с данным суффиксом, контекстно-независимым от «внутреннего» (обще- и внутрикатегориального значений производящей основы, ее лексического значения, морфологической характеристики деривата) и «внешнего» (словесного окружения де-

ривата) контекстов, стабильным и предсказуемым, выраженным суффиксом (ЧС[1]). Этот тип СЗ можно было бы назвать семантико-словообразовательным (ССЗ). Он имеет признаки категориального грамматического значения. ССЗ у дериватов с ЧС[1] определяется нормой системы языка. Словообразовательное значение дериватов может быть инвариантным лишь для образований с данным суффиксом одного словообразовательного типа, контекстно-зависимым, непредсказуемым, устойчивым для определенного хронологического среза при продуктивности данного словообразовательного типа, выраженным совокупностью признаков, отличающих производное от производящего. Этот тип СЗ присущ дериватам с ЧС[2], ЧС[3] и ОС, он обусловлен нормой употребления. Совмещение различных по содержанию ССЗ невозможно в пределах одной лексемы при непереносном ее употреблении. Совмещение различных по содержанию типов СЗ в пределах одной лексемы возможно у дериватов с ЧС[3] и ОС: в XVII в. *румянецъ* обозначает и цвет лица (транспозиционное СЗ), и косметическую краску (мутационное СЗ); совмещение этих СЗ в пределах одной лексемы характерно в современном языке для девербативов с ОС -(*о*)*к*-. В подобных случаях трудно разграничить СЗ, возникшие вследствие морфологического словообразования, и значения, появившиеся у слова вследствие так называемого семантического словообразования, или регулярной многозначности (Апресян 1977, 193—203). Наличие словообразовательного значения у ЧС[1], видимо, ограничивает или даже препятствует появлению у дериватов с суффиксами этой группы таких значений, которые не согласуются с присущим данному суффиксу ССЗ. Переносное употребление дериватов с ЧС[1] всегда является контекстно-зависимым. Например, у некоторых отадъективных транспозитов на *-ство* и *-ость* в XVI—XVII вв. отмечается переносное употребление, они обозначают титул. Подобное значение у слов *величество*, *высость*, *высочество*, *сиятельство*, *милость*, *светлость* возникает, видимо, под влиянием принятого в Европе титулования особ, занимающих верхние ступени в социальной иерархии. При переносном употреблении указанные слова обязательно сочетаются с притяжательными местоимениями в формулах обращения к адресату: послалъ есъми до *вашей свѣтлости*. Курб. Пис. XVI в., 53; *твое величество* вѣнчаемъ вѣнцомъ Римского царства. Кн. родосл. I, XVII в., 2 (СлРЯ).

На статус самостоятельных семантических единиц словообразования могут претендовать значения, имеющие «собственное, специфическое словообразовательное формальное выражение» (Манучарян 1981, 76). По этому признаку к числу семантических единиц словообразования можно отнести транспозиционное, мутационное и модификационное ССЗ, выраженные ЧС[1], основными носителями словообразовательного значения. Соединительное СЗ не принадлежит к числу самостоятельных семантических единиц словообразования. Оно, во-первых, формально не выражено специфическими словообразовательными средствами, во-вторых, этот семантический тип СЗ

устойчив у дериватов при их однозначной связи с производящим устойчивым словосочетанием, в-третьих, дериваты с соединительным СЗ дублируют смысл производящего словосочетания и внутрикатегориальное значение стержневого существительного исходного словосочетания, а основная функция словообразования — производство слов, отличающихся по своему значению от производящих.

Слова одного словообразовательного типа могут иметь: 1) общее значение, тождественное семантическому типу СЗ, инвариантное для всех дериватов данного словообразовательного типа (ОСЗ); 2) общее значение, инвариантное для дериватов подтипа словообразовательного типа, производных от слов одной части речи (ОКСЗ). Этот тип СЗ, представляющий собой конкретизацию ОСЗ дериватов одного словообразовательного типа, присущ производным с ЧС^1 и производным с ЧС^2 при мутационном СЗ последних. ОСЗ и ОКСЗ определяют словообразовательную семантику дериватов. Они являются собственно словообразовательными значениями. Одинаковые ОСЗ и ОКСЗ могут быть свойственны разным словообразовательным типам.

Слова одного словообразовательного типа могут иметь значения, общие для части производных данного типа, относящихся к одной тематической или лексико-семантической группе. Подобные инвариантные частные словообразовательные значения (ЧСЗ) присущи транспозиционным и мутационным словообразовательным типам. Набор ЧСЗ («физическое действие», «психическое состояние», «цвет», «орудие действия», «лицо по профессиональной деятельности» и т. п.) в синхронии, как правило, различен у разных словообразовательных типов при возможности совпадения отдельных ЧСЗ. Набор ЧСЗ словообразовательного типа обусловлен присущим ему ОСЗ (и ОКСЗ у дериватов с ЧС^1 и ЧС^2), а также лексическим значением производящей основы. ЧСЗ в отличие от ОСЗ и ОКСЗ исторически изменчивы и подвижны. ЧСЗ относятся к числу лексико-словообразовательных значений (Янценецкая 1979, 143; Манучарян 1981, 173—174), они определяют лексическую семантику дериватов.

Каждому производному и членимому слову свойственны и индивидуальные мотивированные значения, которые также являются лексико-словообразовательными (ЛСЗ). ЛСЗ обусловлены и ОСЗ (ОКСЗ у дериватов с ЧС^1 и ЧС^2), и актуальными для данного словообразовательного типа ЧСЗ, и, наконец, парадигматическими отношениями в гнезде и в лексике (Шмелев 1977, 183—232). ЛСЗ представляют собой мотивированные лексико-семантические варианты производного слова, они всегда контекстно-зависимы, связаны с лексическим значением производящей основы, морфологической характеристикой деривата, его контекстным окружением. ЛСЗ исторически изменчивы. Например, *бѣгунъ* в др.-рус. период имеет ЛСЗ ‘беглец’, в XV—XVII вв. этому слову свойственны ЛСЗ ‘беглец’, ‘перебежчик’, ‘скороход’ (с XVII в.), современные словари выделяют у слова *бегун* значения ‘тот, кто хорошо бегает, занимается бегом как спор-

том', чаще мн. 'член старообрядческой секты' устар.; чаще мн. 'мельничный жернов' спец. Древнерусское *бѣгунъ* сосуществовало с однокоренными синонимами *бѣглець* и *бѣглыи*, причем последним были в это время присущи ЛСЗ 'беглец', 'перебежчик,' 'беженец'. В летописях XVI в. отражены *бѣглянинъ*, *бѣжанинъ*, *бѣжлянинъ* 'перебежчик', в деловой письменности с XVII в. отмечается в том же значении *перебѣжчикъ*. Это влечет за собой утрату словом *бѣгунъ* к XVII в. значения 'перебежчик'. Слово *бѣгунъ* в XVI—XVII вв. принадлежит в ЛСЗ 'скороход' к синонимическому ряду, членами которого являются *борзоходецъ*, *гонецъ*, *нарочный гонецъ*, *гончикъ*, *нарочный*, *скороходъ*, *скороходецъ*, *скорошественникъ*, *ходокъ* (КСлРЯ). Это обусловливает постепенную утрату словом *бегун* ЛСЗ 'скороход'. Словари начала XX в. фиксируют слово *беженец*, с появлением которого ЛСЗ 'беженец' становится неактуальным для слов *бегун*, *беглец*, *беглый*. Таким образом, слово *бегун*, сохраняя постоянные ОСЗ и ОКСЗ, имеет исторически изменчивые ЛСЗ и принадлежит в различные периоды истории русского языка к разным тематическим и лексико-семантическим группам. Изменчивость ЛСЗ дериватов определяет и изменчивость ЧСЗ словообразовательных типов. Классификация СЗ по объему и средствам их выражения может быть представлена в табл. 3.

ОСЗ (и ОКСЗ) являются ядром словообразовательного значения слова, а ЧСЗ, ЛСЗ — периферией, подчиненной словообразовательной семантике ОСЗ (и ОКСЗ). Чем больше морфологическая нагрузка

Таблица 3

Средства выражения СЗ	СЗ по объему					
	ОСЗ дериватов с			ОКСЗ у дериватов с ЧС[1], ЧС[2]	ЧСЗ	ЛСЗ
	ЧС[1]	ЧС[2]	ЧС[3], ОС			
Суффикс	+	+	+	+	+	+
Категориальное значение производящей основы	—	—	+	+	+	+
Лексическое значение производящей основы	—	—	—	—	+	+
Морфологическая характеристика деривата:						
а) род	—	—	+	—	+	+
б) тип склонения	—	—	+	—	+	+
в) числовая парадигма	—	—	+	(+)	+	+
г) одушевленность/неодушевленность	—	+	+	+	+	+
Контекстное окружение деривата	—	—	—	—	—	+

Примечание: знак «(+)» указывает на возможность у дериватов с транспозиционным ОКСЗ действия/состояния полной числовой парадигмы, в отличие от ОКСЗ отвлеченного качества: ср. *глупость/глупости* 'глупый поступок' и *глупость* 'глупость'.

субстантивного суффикса, тем богаче содержание его значения и тем меньше число словообразовательных типов с данным суффиксом. ЧС[1] однозначно связаны со словообразовательным типом, подтипы которого определяются частеречной принадлежностью производящих. Одни и те же ЧС[2] обычно участвуют в деривации существительных одного мутационного и одного—двух модификационных словообразовательных типов. Одни и те же ЧС[3] служат для образования имен одного транспозиционного, одного мутационного и нескольких модификационных типов. Одни и те же ОС используются в деривации существительных нескольких транспозиционных, мутационных и модификационных типов.

ЛИТЕРАТУРА

АГ-80 Русская грамматика. Т. I/Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980.
Азарх Ю. С. К истории существительных с суффиксами субъективной оценки в русском языке. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1978. М., 1980.
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
Булаховский Л. А. Введение в языкознание, ч. II. М., 1953.
Ермакова О. П. Проблемы лексической семантики производных и членимых слов. — АДД. М., 1977.
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
Земская Е. А. Словообразование. — В кн.: Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 1981.
Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976.
Кубрякова Е. С., Харитончик З. А. О словообразовательном значении и описании смысловой структуры производных суффиксального типа. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. М., 1981.
Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. — В кн.: Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. — АДД. М., 1976.
Лопатин В. В. Суффиксальная универбация и смежные явления в сфере образования новых слов. — В кн.: Новые слова и словари новых слов. Л., 1978.
Манучарян Р. С. Словообразовательные значения и формы в русском и армянском языках. Ереван, 1981.
Панов М. В. О слове как единице языка. — В кн.: Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина, т. 51, вып. 5, М., 1956.
Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977.
Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.
Янко-Триницкая Н. А. Закономерность связей словообразовательного и лексического значений в производных словах. — В кн.: Развитие современного русского языка. М., 1963.
Янко-Триницкая Н. А. К системности русского словообразования. — НДВШ. Филологические науки, 1976. № 5.
Янценецкая М. Н. Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979.

Dokulil M. Tvoření slov v češtině, I. Praha, 1962.

СЛОВАРИ

КСлРЯ Картотека Словаря русского языка XI—XVII вв. (Москва, Институт русского языка АН СССР).
Ономастикон *Веселовский С. Б.* Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.

СлРЯ Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 1—9. М., 1975—1982.
СРНГ Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, вып. 1—18. Л., 1965—1982.
Тупиков Н. М. Словарь древнерусских собственных имен. СПб., 1903.

Е. В. ПАДУЧЕВА

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ И ПРОБЛЕМА ЗАЛОГА ОТГЛАГОЛЬНОГО ИМЕНИ

§ 1. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ И ГЕНИТИВ

Притяжательное местоимение, как и многие другие простейшие языковые категории, не имеет общепринятого определения. Более того, нет даже единого мнения относительно состава этой группы в русском языке. В Грамматике 1960 к притяжательным местоимениям относятся только местоимения 1-го, 2-го лица *мой*, *твой*, *наш*, *ваш* и возвратное *свой*; про местоимения *его*, *ее*, *их* говорится, что это род. падеж личных местоимений 3-го лица, употребляемый в притяжательном значении. В Грамматике 1970 местоимения *его*, *ее*, *их* уже считаются притяжательными. В. В. Виноградов, который не причисляет *его*, *ее*, *их* к притяжательным местоимениям, отмечает, однако, следующие два синтаксических отличия форм *ее*, *его*, *их*, когда они употребляются «в значении притяжательных прилагательных», от генитивов: 1) постановка — при нормальном словорасположении и нормальном фразовом ударении в конце синтагмы — перед определяемым именем, ср. *его шýба*, *его прихóд*, но **шуба егó*, **приход егó*; 2) возможность употребления в роли сказуемого, ср., с одной стороны, *Он твой*; *Лиза теперь его* (Тургенев); *Тот их, кто с каменной душой прошел все степени злодейства* (Пушкин), и, с другой стороны, **Он Кати*, см. Виноградов 1947, с. 335. Есть и еще одно сочетаемостное различие: формы *его*, *ее*, *их* в притяжательном употреблении не имеют параллельного варианта *него*, *нее*, *них* в положении после предлога, ср. *У нее дочери* и *У ее дочери*, в том числе и тогда, когда предлог синтаксически связан непосредственно с местоимением, ср. *У моих ‹детей› была ветрянка, а у ее — нет*. Эти аргументы, в дополнение к естественным соображениям симметричности системы, позволяют считать, что формы *его*, *ее*, *их* омонимичны, т. е. в одних своих употреблениях — генитивы, в других — притяжательные местоимения 3-го лица.

Далее, как справедливо указывает А. М. Пешковский, если компонент притяжательности в составе значения местоимения вообще принимать во внимание, то к притяжательным следует отнести и местоимение *чей*, которое соотносится с вопросительным *кто* (и с относительным *который*) в точности так же, как, например, *мой* с *меня*,

Пешковский 1938. Аналогичную трактовку следует, конечно, принять и для всех производных с частицами — *ничей*, *чей-то*, *чей-либо*, *чей-нибудь*, *кое-чей* и др. Именно этот, максимальный, состав категории притяжательных местоимений (ПМ) и представляется естественным, по крайней мере при семантико-синтаксическом использовании термина.

Итак, соответствующие ПМ имеются в русском языке для всех видов субстантивных местоимений — для личных, возвратных, вопросительно-относительных, отрицательных и неопределенных (семантически показательное исключение — отсутствие соответствующего ПМ для субстантивного указательного *это*, ср. Вольф 1974, с. 61, и для неодушевленного *что*, с производными). В чем же состоит, однако, то притяжательное значение (притяжательная функция, притяжательность), которое отличает ПМ от соответствующего субстантивного местоимения? Обычно считается, что это значение принадлежности, т. е. что ПМ обозначает обладателя. Действительно, в простом случае значение ПМ складывается из двух компонентов: ПМ а) обозначает лицо или (для притяжательного местоимения 3-го лица) лицо или предмет; б) выражает принадлежность этому лицу, см. Tesnière 1959, с. 90. Например, *мой* в сочетании *мой стол* обозначает лицо — говорящего — и принадлежность стола говорящему. Компонент (а) общий у притяжательных местоимений с субстантивными, а компонент (б) и есть собственно притяжательное значение. Ясно, однако, что, скажем, в сочетании *мой приезд* слово *мой* уже не выражает принадлежности приезда говорящему (или тем более того, что говорящий обладает приездом), так же как и в сочетании *приезд гостя* генитив *гостя* не выражает принадлежности приезда гостю: *мой*, как и *гостя*, означает просто, что данное лицо является субъектом действия [1]. Аналогично, в сочетании *твое избрание* слово *твое* не выражает принадлежности (т. е. не обозначает обладателя избрания), как и слово *Ольги* в сочетании *избрание Ольги*, а имеет объектное значение, т. е. обозначает объект избрания. Тем самым, дополнительное значение ПМ по сравнению с субстантивным местоимения не есть просто принадлежность: в набор значений, которые выражает ПМ, входят и другие значения генетива — а быть может и каких-то других падежных форм.

В то же время, дело не сводится к тому, что ПМ выполняет все те же функции, что и род. падеж существительных. Прежде всего во многих конструкциях существительное в род. падеже вообще не может заменяться местоимением, см. Грамматика 1980, с. 455; например, местоименная замена невозможна для род. падежа со значением отождествления (*золото волос*, *бархат кожи*); с характеризующим зна-

[1] Тот факт, что использование посессивного показателя для выражения субъекта при всей кажущейся случайности этого средства имеет место в языках самого различного строя, сам по себе заслуживает внимания, но не является предметом рассмотрения в данной работе.

чением (*день радости*, *улыбка привета*, примеры из Ермакова 1976; *дома современной архитектуры*, пример из Вольф 1974, с. 62); со значением материала (*стол красного дерева*); со значением сравнения (*взгляд Наполеона*, *ловкость обезьяны*); со значением количества (*стакан воды*; *большинство присутствующих*) или множества (*группа студентов*). В этих конструкциях источник несоотносительности генитива с ПМ — в специальных требованиях, предъявляемых генитивной конструкцией к денотативному статусу (см. Падучева 1979) генитива. Однако по отношению к тому кругу контекстов, где местоимение по денотативным причинам не запрещено, остается еще следующая синтаксическая проблема: какие из значений род. падежа (и других падежей) существительного у местоимения выражаются не род. падежом, а с помощью ПМ; иначе говоря, в каких случаях вместо род. падежа употребляется ПМ только потому, что вместо существительного употреблено местоимение [2], ср. *приход гостя*, но *мой приход*, а не **приход меня*; *университет имени Ломоносова*, но *университет его имени*, а не **университет имени его*.

Та же проблема может быть поставлена иначе: как наличие в языке ПМ суживает набор функций падежных форм субстантивных местоимений, т. е. какие из функций существительных невозможны для субстантивных местоимений только из-за наличия в языке притяжательных местоимений, выполняющих эти функции.

В. В. Виноградов (1947, с. 335) отмечает, что у личных местоимений (В. В. Виноградов делает исключение для местоимений 3-го лица, однако после признания форм *его*, *ее*, *их* омонимичными, они перестают быть исключением) род. падеж не может иметь значения принадлежности. Действительно, **стол меня* ⇒ *мой стол*, что вызвано, естественно, наличием ПМ, специально выражающих принадлежность. В других случаях, однако, наличие той или иной функции у ПМ не исключает возможности употребления в той же функции и субстантивного местоимения, быть может, в другом контексте. Так, в контексте *Он был против превращения меня в программиста* местоимение *меня* имеет объектное значение — то, которое может выражаться и с помощью ПМ; а в контексте *выполнение мною этого задания* местоимение *мною* обозначает субъект, т. е. имеет значение, которое тоже входит в набор функций ПМ. Задача состоит в том, чтобы выявить это достаточно сложное соотношение синтаксических возможностей существительных, ПМ и субстантивных местоимений (фактически в этом соответствии фигурируют еще притяжательные и просто относительные прилагательные). Эта задача будет рассмотрена ниже в суженном варианте — речь будет идти только о контексте отпредикатного имени.

---

[2] Разумеется, речь идет только о местоимениях, имеющих соотносительное ПМ. В соотношениях типа *по причине засухи — по причине этого*, *во время дождя — в это время* (примеры из Ермакова 1976) эта проблема не встает, поскольку местоименная замена хоть и возможна, но либо с участием местоимения, не соотнесенного с ПМ, либо вообще несубстантивного.

§ 2. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В СУБЪЕКТНОМ ЗНАЧЕНИИ

У всякого предиката имеются семантические актанты (см. Апресян 1974), которые могут быть названы субъектом, объектом и 2-м (или косвенным) объектом — в зависимости от того, выражается ли соответствующий актант предиката подлежащим, прямым или косвенным дополнением при употреблении предиката в его исходной диатезе (см. Падучева 1974). Отпредикатное имя, которое находится в регулярном словообразовательном соотношении с производящим предикатом, имеет либо тот же набор семантических актантов, что у этого предиката — если это п о л н о е отпредикатное имя (н е к с у с н о е имя по Есперсен 1958), — либо уменьшенный на единицу: у имени субъекта отсутствует, в силу семантики словообразовательной формулы, семантический актант «субъект»; у имени объекта отсутствует семантический актант «объект» и т. д. Субъект и объект называются главными актантами предиката.

З а м е ч а н и е. Разумеется, это пояснение оставляет много неясностей. С каким, например, предикатом соотносится слово *замена* в сочетании *замена каучука резиной* — с предикатом «*X* заменяет *Y* *Z*-м» или с предикатом «*Y* заменяет *Z*»; соответственно, являются ли актанты слова *замена* в этом сочетании субъектом и объектом, или же объектом и 2-м объектом; аналогично для слов *заполнение*, *засорение* и проч. Или другой вопрос: куда отнести дополнения в генитиве; некоторые из них по поведению при отпредикатных именах неотличимы от прямых дополнений; ср. (а) **боязнь брата ответственности* и (б) *его боязнь ответственности*; (а) **жажда брата счастья* и (б) *его жажда счастья*; а) **ожидание инженера отправки на фронт* и (б) *ожидание инженером отправки на фронт*. Другие являются отчетливо косвенными, как *наследства* в *лишение брата наследства*. Или как трактовать семантический актант — лицо при слове *удобство* (например: *для вашего удобства*), который является субъектом «по смыслу», но не по определению, поскольку лицо при слове *удобно* никогда не оформляется подлежащим. Эта неопределенность, однако, для дальнейшего несущественна; дополнительные уточнения могут быть введены по ходу дела.

Функция субъекта при отпредикатном имени выражается с помощью ПМ в следующих контекстах:

I. В контексте имени, произведенного от безобъектного предиката (т. е. от непереходного глагола или от прилагательного). Употребление род. падежа субстантивного местоимения в этом контексте практически исключено:

(1) Это было до *моего* п о я в л е н и я в институте (ср. **до появления меня в институте*); Все произошло из-за *вашего* с о п р о т и в л е н и я отправке в колхоз; Он продолжал *свое* п у т е ш е с т в и е; Он ждет *моего* о т в е т а; Он прикрывает *свое* б е с с и л и е высокими фразами; Я поступаю *в ваше* р а с п о р я ж е н и е; под *вашу* о т в е т с т в е н н о с т ь; *твое* д о в о л ь с т в о собой; *ваше* с о д е й с т в и е; *чье* и з у м л е н и е; *мой* п р и х о д; *его* в о с х и щ е н и е; *ваше* о т с у т с т в и е.

То же самое для имен, образованных от переходных глаголов, но не имеющих валентности на генитив объекта (*любовь*, *ненависть*, *презрение*, *уважение*, *похвала* и пр.):

(2) Он продемонстрировал *свое* п р е з р е н и е к окружающим; Он ждал *вашего* о д о б р е н и я; *твое* у в а ж е н и е к себе.

Род. падеж местоимения может быть использован для выражения субъекта только в том случае, если у местоимения есть подчиненные слова, ср. *Он ставит под сомнение вашу компетентность* и *Он ставит под сомнение компетентность вас как биографа*.

То, что ПМ заполняет именно актантную валентность отпредикатного имени, подтверждается несоподчинимостью ПМ генитиву — если генитив выражает тот же актант; ср. осмысленное *его убежденность*, *убежденность Федора*, но бессмысленное **его убежденность Федора*.

II. ПМ — единственный способ оформления местоименного субъекта в контексте отпредикатного имени объекта (т. е. имени, у которого объект отсутствует в силу семантики словообразовательной формулы, хотя он есть у исходного глагола). Генитив местоимения и здесь исключен:

(3) Он выслушает *ваше* п р е д л о ж е н и е (ср. **предложение вас*); Он продолжает *свое* и с с л е д о в а н и е; Он не принял *моей* ж е р т в ы; *Мой* в к л а д в это предприятие невелик; Этот синяк — *моя* р а б о т а; *мое* н а м е р е н и е, *мой* с о в е т, *свое* з н а н и е, *мое* м н е н и е, *мое* п р е г р е ш е н и е, *мой* з а м ы с е л, *мой* р а с с к а з; *мое* в о с п о м и н а н и е; *ваши* в о з м о ж н о с т и.

III. Если отпредикатное имя в принципе способно подчинять себе объект, оформленный род. падежом, то ПМ может выражать субъект такого имени лишь при определенных дополнительных условиях.

1) ПМ может выражать субъект при тех (относительно немногочисленных) именах действия, которые допускают генитив существительного в значении субъекта, хотя бы в одном из употреблений; ср. *подтверждение*, *предложение*, *решение*, *предположение* (где субъект — это лицо, а объект — предикация), а также *одобрение*, *защита*, *поддержка*, *поощрение*, *поиски*, *осуждение*, *понимание*, *непонимание*, *признание*, *охрана*, *запрет*, *ожидания*, *обман* (*Он поддался на обман злопыхателей*), *наказание*, *признание*, *проверка* (*Машина не прошла проверки экспертов*), *преследование*, *осмотр*, *аресты*, *эксплоатация*, *оскорбление*, *прием* (*Это обеспечило ему теплый прием коллег*). При этих словах генитив имени имеет разное осмысление в разных диатезах (см. Падучева 1977; ср. не совсем точное замечание в Есперсен 1958, с. 195, о том, что при словах такого рода генитив осмысляется как субъект, если слово употребляется как подлежащее, и как объект в позиции после предлога). Примеры употребления субъектного ПМ совместно с генитивом объекта:

(4) Меня огорчает *твое* н е п о н и м а н и е Мессиана; Извините меня за *мое* откровенное п р е д п о л о ж е н и е неудачной переделки (Достоевский).

Возможность употребления ПМ в субъектной функции здесь строго согласована с возможностью употребления генитива субъекта; так, в (5б) невозможен генитив субъекта, и невозможно ПМ:

(5) а) Его поступок, кажется, вызвал о с у ж д е н и е *коллег* / *ваше* о с у ж д е н и е; б) *Эти события вызвали обсуждение студентов / *ваше обсуждение.

Допустимость генитива субъекта и соответственно субъектного ПМ в (6) объясняется безобъектной диатезой (см. Падучева 1977) отпредикатного имени:

(6) аппаратура *их* и з г о т о в л е н и я (ср. *изготовления фирмы «Цейс»*); пришел по *вашему* п р и г л а ш е н и ю (ср. *по приглашению бригадира*); У него прибор *своего* и з о б р е т е н и я; Он прислал ей книги *своего* с о ч и н е н и я.

2) ПМ широко используется для выражения субъекта в контексте имен способа действия (см. об этом классе отпредикатных имен Апресян 1974, с. 48): *твое поведение, ваше представление о современной молодежи, в чьем исполнении, мой плохой уход за животными, моя реакция, мое понимание, восприятие, толкование, прочтение, подбор, осмысление.*

В частности, ПМ может выражать субъект и в контексте соподчиненного генитива объекта:

(7) *Ваше* р а с п р е д е л е н и е *квартир* не отличается справедливостью; *их* п о н и м а н и е этого *обычая*; *его* у п о т р е б л е н и е *метафор*; *его* о ц е н к а *Толстого*; е г о *исполнение* Ш о п е н а; *их* п о с т а н о в к а *«Гамлета»*; *ваше* и з о б р а ж е н и е литературной *среды*; *его* т р а к т о в к а *истории*; *его* в о с п р и я т и е *Достоевского*; *их* в ы б о р *посредника*; *ваше* о б ъ я с н е н и е *причин* ссоры.

Генитив существительного может быть использован для оформления субъекта в контексте имени способа действия только в случае отсутствия при том же слове генитива объекта. Таким образом, ПМ в контекстах типа (7) не соответствует генитиву существительного. Однако ПМ здесь не соответствует и субъектному творительному падежу существительного. Наиболее уместно, в не-местоименном случае, притяжательное или относительное прилагательное:

(8) Расселовская трактовка (ср. невозможность в этой позиции *трактовка Расселом*) собственных имен основана на сведении их к дескрипциям; Он упростил геделевское доказательство (ср. невозможное *доказательство Геделем*) теоремы о неполноте; Гильбертово определение понятия «пространство».

Допустимо, однако, *восприятие Батюшкова современниками* (и *их восприятие Батюшкова*).

Если отпредикатное имя (с двумя главными актантами) выражает не способ действия, а факт[3], то для выражения его субъекта употребля-

[3] Но не событие или процесс; о противопоставлении фактов процессам и событиям см., в частности, Арутюнова 1980; о контекстах, способствующих возникновению у имени значения факта, см. Падучева 1980.

ется не ПМ, а твор. падеж личного местоимения, т. е. местоимение ведет себя подобно существительному. Так, в (9а), (10а) фигурируют имена способа действия и ПМ; а в (9б), (10б) — имена фактов и твор. падеж субстантивного местоимения:

(9) а) Шопен в *вашем* и с п о л н е н и и великолепен; б) И с п о л н е н и е *вами* Шопена было неуместно (пример из Падучева 1974, с. 201);

(10) а) *Твое* п о н и м а н и е этой проблемы не совпадает с моим; б) П о н и м а н и е *тобой* этой проблемы свидетельствует о твоей изощренности.

Аналогично, *ваше объяснение≠объяснение вами*. Другие примеры употребления твор. субъекта в контексте имен факта:

(11) О т р и ц а н и е *нами* фрегевской трихотомии не является изолированным фактом; Я знал о к р и т и к е *Марковым* классической теории множеств; Необходимое условие перевода — п о н и м а н и е *ею* ‹машиной› текста в полном объеме (ср. **ее понимание*); *после вашего открытия целительных свойств аскорбиновой кислоты ⇒ после о т к р ы т и я *вами*; *ваше увольнение трех старейших рабочих ⇒ у в о л ь н е н и е *вами*; *наше отклонение этих предложений ⇒ о т к л о н е н и е *нами*; о с о з н а н и е *им* своей победы (ср. **его осознание*); *ее соблюдение тайны ⇒ с о б л ю д е н и е *ею* тайны; по поводу и з о б р а ж е н и я *мною* психической болезни (≠по поводу моего изображения); Пока нельзя говорить о р е ш е н и и *роботом* каких-то задач (≠о его решении); Я оскорблен и г н о р и р о в а н и е м *вами* (*вашим игнорированием) моих интересов.

Употребление ПМ вместе с соподчиненным генитивом, видимо, даже наталкивает на понимание отпредикатного имени как выражающего способ действия. Так, в составе сочетания *его знание латыни* в нейтральном контексте (например: *По поводу его знания латыни я скажу вот что*) отпредикатное имя *знание*, скорее всего, понимается как имя способа действия.

3) ПМ может употребляться для выражения субъекта при отпредикатных именах со значением процесса или события:

(12) Жирмунский присутствовал при *ее* ч т е н и и своей поэмы на «башне» у Вячеслава Иванова; *Его* р а с с л е д о в а н и е обстоятельств дела не дало результатов; *Ваше* п о с е щ е н и е театра надолго останется в памяти у нас, артистов; Каждое *мое* п о с е щ е н и е Музея было событием; *Моей* п о к у п к о й коляски были довольны все; *Мои* р а с с п р о с ы соседей ни к чему не привели; Он поплатился за *свою* н е д о о ц е н к у сил противника; *Наш* о с м о т р дворца был прерван появлением экскурсовода; *ваше* п р е д в о с х и щ е н и е назревавшей катастрофы; *его* ‹художника› сознательное и с к а ж е н и е реальных пропорций; *ее* преодоление символизма; *его* з а х в а т Казани; *их* р е в и з и я марксизма.

Здесь ПМ соответствует не генитиву, а твор. падежу существительного. Границы допустимости такого употребления ПМ, однако, не вполне ясны: многие примеры из (12) кажутся шероховатыми. В целом употребление субъектного ПМ в контексте соподчиненного генитива объекта за пределами контекстов а) и б) затруднено. Ср. примеры сочетаний, где твор. падеж субъекта допустим, (13б), а ПМ — нет, (13а):

(13) а) *Ваша отправка Петра в колхоз была преступлением; *Мое увольнение этого сотрудника не нуждается в объяснениях; *Его претворение в жизнь этих замыслов; б) Открытие *геологами* нового месторождения; Другое важное следствие — осознание *нами* недостатков ЭВМ; Приобретение *галереей* этих трех вещей было важным событием в ее истории; Начало Петербурга — это закладка *Меньшиковым* Петропавловской крепости; прекращение *Иваном III* подвоза хлеба в Новгород; завоевание *харьковчанами* новых рубежей; признание *Энгельсом* роли труда; разрушение *поэтом* основ бытия.

Заметим, что генитив, не заполняющий актантной валентности отпредикатного имени, например, генитив сравнения (ср. *убежденность прозелита*), который делает абсолютно невозможным субъектное употребление генитива (**убежденность прозелита Федора*), не является препятствием для субъектного употребления ПМ: *Федор с его убежденностью прозелита*; *Моцарт с его простодушием гения.*

Иногда ПМ способно выражать субъект при таких отпредикатных именах, которые не допускают синтаксической связи со своим семантическим субъектом, если он выражен обычной именной группой, ср. *Положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу* (Пушкин), хотя сказать *опала Пушкина*, скорее всего, нельзя.

§ 3. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ОБЪЕКТНОМ ЗНАЧЕНИИ

Что касается объектного значения, то возможность его выражения с помощью ПМ не независима от одушевленности объекта. Одушевленные объекты часто могут быть выражены с помощью генитива существительного (и субстантивного местоимения), но не с помощью ПМ:

(1) *Он раскаивается в *твоем* оскорблении; *Меня обвиняют *в вашем* оскорблении; *Он снова взялся за *твое* оскорбление; *Он скорбит о *твоей* утрате (⇒ об утрате тебя); *Он не допустит *твоего* использования в качестве помощника; *Он ограничился *моим* использованием в качестве посредника; *Он посвятил годы *моему* обучению греческому языку; *Он посвящает свободное время *моему* поучению; *Я против *твоей* эксплоатации этими странными людьми; *В конце концов он отказался от *моего* преследования за опоздания (⇒ преследование меня); *Он вызвал возмущение *их* преследованием (ср. *преследованием инако-*

мыслящих); *Она не подозревала о *твоем* преследовании; *Он был против *твоего* приглашения; **Ваше* запугивание (⇒ запугивание вас) имеет для него прямую выгоду; *ваша боязнь.

ПМ *его* в предложении *Его чтение было прервано появлением командира* однозначно понимается в субъектном, а не в объектном значении. Аналогично для сочетания *чье приглашение* (хотя *чтение Маяковского*, *приглашение Петрова* допускает объектное понимание).

Предложение (2) содержит генитив объекта, для которого невозможна замена на ПМ (ср. *чтение Жорж Занда* и *его чтение*):

(2) Самые строгие отцы и матери позволили в своих семействах чтение Жорж Занда (Достоевский).

В примере (3), где на первый взгляд может показаться, что ПМ имеет объектное значение, на самом деле отпредикатные имена семантически соотносятся не с активными, а с соответствующими им «средними» глаголами:

(3) *мое рождение*='я родился' (≠'меня родили'); *мое возвращение*='я вернулся'; *мой провал* ⇒ 'я провалился'.

Имеется, однако, ряд отпредикатных имен, при которых ПМ способно обозначать одушевленный объект:

(4) Это было уже после *моего* приема на работу; *моей* отправки в колхоз; Он считает *свое* увольнение (*свой* арест, *его* назначение на эту должность) противозаконным; Это было вскоре после *его* убийства; *Ваше* прослушивание назначено на среду; Это будет началом *нашего* уничтожения (завоевания, освобождения); Я был свидетелем *его* унижения; Мы знали о *его* казни; В газетах уже сообщено о *вашем* избрании в академики; *его* отстранение от руководства отделом; Мысль о переведении *моем* из Белогорской крепости меня ужасала (Пушкин).

Выявить какое-либо семантическое различие между контекстами типа (1), не допускающими употребления ПМ в объектном значении, и типа (4) не удается.

Для выражения неодушевленного объекта ПМ употребляется более свободно:

(5) Книги я послал; известите меня об *их* получении; Он не заинтересован в *их* очистке; Если обстоятельства неясны, стоит потратить время на *их* расследование; Он взял тетради, и сегодня закончил *их* проверку; Произошла передача газет другому владельцу без *их* национализации; Новый план предусматривает перестройку 300 предприятий, и за *его* выполнением строго следят; Это несущественные детали, и я не вхожу в *их* рассмотрение; Рядом с богохульством и с анархизмом — *их* опровержение.

Объектное понимание ПМ затруднено в контексте имени, имеющего соподчиненные с ПМ другие слова:

(6) Встает вопрос об обеспечении себя всем необходимым (ср. **о своем обеспечении*); Он не позаботился о включении меня в список (ср. **о моем включении*); *ваше признание лучшим шахматистом.

В (7), скорее всего, не ПМ, а генитив местоимения 3-го лица:

(7) После свержения *его* с престола ода не переиздавалась; использование *их* сознательным художником.

Объектное понимание ПМ полностью исключено в контексте соподчиненного генитива; так, в (8б) и (8в) *его* выражает субъект; хотя в сочетаниях *преследование редактора* (*графомана*) генитив допускает объектное понимание:

(8) а) Преследование редактора графоманом; б) Его преследование редактора; в) Его преследование графомана.

В примере (9а) из-за этого невозможна одна из местоименных замен:

(9) а) Предчувствие Хлебниковым катастрофы; б) Его предчувствие катастрофы; в) *Ее предчувствие Хлебникова.

В контексте соподчиненного твор. падежа субъекта притяжательному местоимению, казалось бы, ничего иного не остается, как пониматься в объектном значении. Однако такое сочетание оказывается грамматически неправильным:

(10) *Это ускорило его ‹Новгорода› разгром Московским князем; *мое посещение писателями и режиссерами; *его приглашение друзьями; *ваше ограбление работодателем; *ваше непонимание студентами; *их использование художником; *мое увольнение начальником.

Ср. допустимое *поиски Белым самого себя* и невозможное **свои поиски Белого*.

В примере (11), казалось бы нарушающем этот запрет, *теорией* выражает не субъект, а 2-й объект (*концепция обусловлена теорией*):

(11) Это доказывает не ошибочность концепции Фреге, а ее обусловленность частной семантической теорией.

Тем более грамматически невозможно сочетание объектного ПМ с соподчиненным субъектом, который был бы выражен также с помощью ПМ: **твое мое непонимание*, **их твое признание*. Таким образом, можно сказать, что для ПМ запрещено объектное понимание при наличии выраженного субъекта. Невозможность объектного понимания ПМ в (8), (9) и запрет сочетаемости в (10) не могут быть выведены из одной лишь затрудненности употребления ПМ в объектном значении (так, *ваше ограбление* вполне допустимо). К интерпретации этого явления мы вернемся в § 4.

Те опредикатные имена, у которых отсутствие субъекта входит в смысл словообразовательной формулы (так что объектная валентность остается единственно возможной), в частности имена деятеля, допускают выражение объекта, в том числе и одушевленного, с помощью ПМ:

(12) Я *ваш* должник; Вы *мой* избавитель; Это *мой* поклонник; Вы должны поблагодарить за это своего учителя; *ваши* предшественники; *наш* спутник; *его* участник; *ее* хозяин; *ее* владелец; в *моем* окружении; *мои* последователи; *мои* воспитатели; *мой* знакомый; *мои* сообщники; Это растет *наша* смена; Машина

удивила *своих* изобретателей; *мой* читатель, обожатель, ценитель, критик, цензор.

Как пишет О. Есперсен (1958, с. 194), «прежде объектный притяжательный падеж был распространен больше, чем в настоящее время». В русском языке часто отсутствует возможность объектного понимания ПМ, допускаемая в англ. языке (примеры из Есперсен 1958) или в испанском (пример из Вольф 1974):

(13) Her reception was unique 'Ее принимали исключительным образом'; He is full of your praises 'Он все время хвалит вас'.

(14) mi invitacion 'меня приглашают'.

Исключительно редка в русском языке соотнесенность ПМ с косвенным объектом (кроме контекста имен деятеля: *ваш поклонник, ваша попечительница*), ср. устойчивые сочетания *Я к вашим услугам; Он вышел из моего повиновения* или устаревшее *Приближься друг. В мое воспоминанье прими сей дар* (Пушкин); ср. в англ. и в исп.:

(15) at his service 'у него на службе'; Come to his assistance 'Придите к нему на помощь'; A great man's memory may outlive his life half a year («Hamlet») 'память о великом человеке' (примеры из Есперсен 1958).

(16) mi recuerdo 'воспоминание обо мне'; su memoria 'память о нем'; venir en su ayuda 'пришел к нему на помощь' (примеры из Вольф 1974).

Таким образом, ПМ замещает генитив объекта не во всех контекстах: при одушевленности, а также при наличии соподчиненных (в частности, твор. субъекта) аналогом генитиву существительного в местоименной сфере может быть не ПМ, а генитив местоимения.

§ 4. ДИАТЕЗЫ ОТПРЕДИКАТНЫХ ИМЕН

Чтобы сформулировать еще одну закономерность употребления ПМ, обратимся к следующей известной проблеме: почему невозможно сочетание (1) **исполнение Шаляпина «Блохи»*, при допустимом (1′) *исполнение Шаляпина* и (1″) *исполнение «Блохи»*, и почему сочетание (2) *исполнение Шаляпиным* невозможно вне контекста род. падежа объекта, например, контекста (2′) *исполнение Шаляпиным «Блохи»*. Как справедливо говорит Ж. Веренк, который рассматривает эту проблему в работах Veyrenc 1972, 1974, нарушение, представленное примером (1), нельзя объяснить запретом на соподчинение одному слову двух родительных падежей: этот запрет довольно слабый и часто нарушается, ср. допустимые сочетания *лишение брата наследства, таблица элементов Менделеева* и проч.; тогда как в (1) нарушен «сильный» запрет. Кроме того, такое объяснение примера (1) ничего не предсказывает относительно примера (2), а между тем несомненно, что запреты в примерах (1) и (2) связаны друг с другом.

Решение, предлагаемое Веренком, состоит о том, что у переходных глаголов различаются два омонимичных отглагольных имени, имеющих разные залоги: номинализация глагола в активном залоге дает

конструкцию с род. падежом субъекта; номинализация глагола в пассивном дает конструкцию с объектом в род. падеже и с субъектом в творительном [4]. Тем самым пример (1) получает простое объяснение: оформление род. падежом субъекта *Шаляпин* предполагает активный залог имени *исполнение*, а оформление род. падежом объекта «Блоха» — пассивный залог того же имени.

Это описание не может быть принято в своем буквальном виде, поскольку оно нарушает существующую традицию употребления общеграмматических терминов: залог — это грамматическая категория, которая должна иметь не только содержание, но и формальное выражение, и если в каком-то грамматическом разряде слов (а именно, у существительных) залоговых показателей никогда не бывает, то для этого разряда нет смысла говорить о залоге.

Оба возражения снимутся, однако, если сказать, что падежное управление от глагольных имен определяется изменяющейся диатезой слова (см. Холодович 1970). В данном случае речь идет о диатезе поверхностно-синтаксического уровня, т. е. о синтаксической характеристике, которая предопределяет способ оформления глубинно-синтаксических актантов в морфологических категориях (в противоположность диатезе глубинно-синтаксического уровня, определяющей способ выражения семантических актантов через глубинно-синтаксические, см. Падучева 1977).

Различая у отпредикатного имени активную и пассивную поверхностные диатезы, можно описать его управление следующим образом.

Правило I. При активной диатезе семантический субъект оформляется генитивом. Активная диатеза возможна только в том случае, если в данном употреблении отпредикатного имени объект в генитиве по той или иной причине отсутствует — из-за непереходности производящего предиката, пример (3); из-за того, что объект не может быть выражен у данного отпредикатного имени генитивом, пример (4); в силу семантики словообразовательной формулы, пример (5); либо же вследствие эллипсиса или редуцированной диатезы глубинно-синтаксического уровня, пример (6):

(3) присутствие в зале *иностранцев*;
(4) любовь *Гоголя* к метафоре;
(5) изобретение *Эддисона*; открытие *Колумба*;
(6) Я рассчитываю на поддержку *друзей*; при поддержке *друзей*; в исполнении *Шаляпина*.

Поскольку при этом на эллипсис актантов и на редукцию диатезы наложены определенные ограничения, нарушение этих ограничений может сделать предложение с генитивом субъекта неправильным:

[4] Близкие утверждения содержатся в работе Ревзин 1973. Менее определенные и в силу этого, быть может, более приемлемые формулировки использует Есперсен (1958, с. 193), который говорит об активных и пассивных именах (или употреблениях имен): пассивное употребление — это такое, при котором род. падеж имеет значение объекта.

**Все отрицают собственность, но в отрицании Достоевского больше убедительности; *Моральные устои подверглись отрицанию анархистов.*

Правило II. При пассивной диатезе отглагольного имени семантический объект оформляется генитивом, а для субъекта имеется две возможности:

а) Субъект может оформляться твор. падежом, как агентивное дополнение, пример (7); при этом наличие у имени подчиненного в генитиве обладает 1-й, а в творительном — 2-й степенью обязательности, в соответствии с тем, что перевод актанта из подлежащего в агентивное дополнение — это понижение степени обязательности.

б) Субъект может оформляться притяжательным местоимением [5], пример (8).

(7) изображение *писателем* внешности героя; сознание *героем* своей роли; восприятие *ими* этих событий; исполнение Шопена *Рихтером.*

(8) *его* захват Казани; *ваше* непонимание своей пользы; *ваше* чтение Соловьева; *ваша* защита Морозова; *твоя* поддержка Постникова.

В пассивной диатезе типа (а) генитив и творительный падеж являются соответственно главным и периферийным актантом; периферийный актант возможен только при фактическом наличии главного, и главный актант не может подвергаться никаким эллиптическим сокращениям, если сохраняется периферийный.

Называние диатез активной и пассивной до некоторой степени условно. Синтаксическое сходство «пассивной» диатезы имени с пассивом глагола состоит только в том, что в пассивной диатезе объект выдвигается на главное место, а субъект — на периферийное, так что может быть опущен.

Различение поверхностных диатез не влечет, как полагают сторонники «залогового» подхода к описанию поверхностной сочетаемости отпредикатных имен (ср. Ревзин 1973, Veyrenc 1974), признания единого нерасчлененного значения род. падежа как падежа подлежащего: никакой семантики у подлежащего, которая оставалась бы при номинализации сказуемого, нет вообще. Понятие диатезы необходимо только постольку, поскольку оно позволяет выразить сложную зависимость между возможностью и способами выражения одного актанта от наличия и способов выражения другого.

Из правил I, II вытекают следующие следствия.

1. Если субъект выражен генитивом (т. е. диатеза активная), то объект с обязательностью отсутствует, см. правило I. Это объясняет неправильность в примере (1), где субъект выражен генитивом, несмотря на наличие генитивного объекта. Можно сказать и иначе: неправильность сочетания (1) объясняется тем, что одна из синтакси-

[5] А в случае существительного — притяжательным или даже просто относительным прилагательным: *Петино исполнение Шопена*; *машинное решение задач* (ср. о широком использовании модели с притяжательным прилагательным в чешском языке в работе Ревзин 1973).

ческих связей отпредикатного имени вытекает из его активной диатезы (связь *исполнение Шаляпина*), а другая — из пассивной (связь *исполнение «Блохи»*).

2. Если субъект выражен твор. падежом, то обязательно присутствует объект, выраженный генитивом — вследствие иерархии степени обязательности в правиле IIа. Это объясняет неправильность в примере (2).

И еще три следствия, касающиеся различий между ПМ и генитивом существительного.

1. Наличие существительного в генитиве субъекта (по правилу I) исключает генитив объекта при том же отглагольном имени, а ПМ, выражающее субъект (по правилу IIб), не исключает, ср. **захват англичан Индии* и *его захват Казани*.

2. Наличие существительного в генитиве объекта является достаточным условием для возможности выражения субъекта твор. падежом (*посещение пионерами Зимнего дворца*), а ПМ, выражающее объект, не является (**его посещение писателями и режиссерами*) — по правилу IIа.

3. При наличии у отпредикатного имени соподчиненных ПМ и актантного генитива генитив однозначным образом интерпретируется как объектный, а ПМ получает субъектную интерпретацию (*его преследование редактора*). Действительно, если допустить, что генитив выражает субъект, то диатеза имени должна быть признана активной, а в этом случае для ПМ не остается никакой возможной интерпретации, поскольку активная диатеза исключает подчиненный объект (правило I). Остается принять для генитива объектную интерпретацию и, следовательно, субъектную для ПМ (по правилу IIб).

§ 5. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Различия в функциях и в сочетаемости между ПМ и генитивом, естественно, проявляются в том, что в некоторых контекстах, где сочетание отпредикатного имени с генитивом существительного неоднозначно, сочетание с ПМ или с генитивом субстантивного местоимения может иметь единственный смысл. Рассмотрим несколько примеров такого рода.

I. Есть контексты, где в сочетании отпредикатного имени с генитивом существительного генитив интерпретируется неоднозначно — как выражающий то ли субъект, то ли объект, — а при употреблении местоимений, притяжательных и личных, достигается единственность интерпретации: притяжательное местоимение имеет только субъектное значение, а личное (в генитиве) — только объектное; ср.:

(1) а) *посещение родственников* — то ли ‘кто-то посещает родственников’, то ли ‘родственники посещают кого-то’; б) *твое посещение*=‘ты посетил’, субъектное значение; в) *посещение тебя*= =‘тебя посетили’, объектное значение.

(2) а) *непонимание ребенка* — то ли ‘ребенок не понимает’, то ли ‘ребенка не понимают’; б) *твое непонимание*=‘ты не понимаешь’; в) *непонимание тебя*=‘тебя не понимают’.
(3) а) *покупка Бунина* — то ли ‘Бунин купил’, то ли ‘купили Бунина’; б) *моя покупка*=‘я купил’; в) *покупка чего?*=‘что купили’; *покупка кого?*=‘кого купили’.

Однозначность достигается за счет а) затрудненности понимания ПМ в объектном значении и б) невозможности понимания генитива местоимения в субъектном.

II. Известно, что для многих отглагольных имен производящий глагол устанавливается неоднозначно (см. Грамматика 1960, с. 241). Так, слова *объединение*, *укрепление*, *развитие* имеют разный смысл в зависимости от того, соотносятся ли они с переходными глаголами *объединять*, *укреплять*, *развивать*, или же с соответствующими возвратными — *объединяться*, *укрепляться*, *развиваться*. В результате интерпретация сочетаний этих отпредикатных имен с генитивом существительного (*объединение граждан*, *укрепление колхозов*, *развитие навыков*) неоднозначна — то ли генитив выражает объект переходного глагола, то ли субъект возвратного. Однако употребление местоимения может сделать предложение однозначным. Так, в примерах (4а)—(7а) отглагольные имена понимаются только как образованные от переходных глаголов, поскольку употребляемый при них генитив личного местоимения не может пониматься иначе как в объектном значении (субъектное понимание для генитива исключено). А в примерах (4б)—(7б) отглагольные имена почти однозначным образом понимаются как соотнесенные с возвратными глаголами, поскольку для ПМ субъектная функция гораздо более обычна, чем объектная:

(4) а) Он был против превращения *меня* в переводчика; б) Он не сочувствовал *моему* превращению в переводчика.
(5) а) После объединения *нас* в бригаду работа пошла лучше: б) После *нашего* объединения работа пошла лучше.
(6) а) Он принимал меры для приобщения *меня* к коллективу; б) по мере *моего* приобщения к коллективу.
(7) а) Очищение *его* от примесей; б) *Его* очищение начинается уже во время предварительного следствия.

III. Другой пример частой омонимии отпредикатных имен — омонимия нексусного имени с именем объекта. Противопоставление ПМ и генитива местоимения обеспечивает однозначность: в сочетании с ПМ отпредикатное имя понимается как имя объекта (само ПМ при этом выражает его субъект), а в сочетании с генитивом — как нексусное имя (само местоимение понимается как выражающее объект):

(8) а) *его приобретение*=‘то, что́ он приобрел’, объект; б) *приобретение его*=‘‹тот факт, что› его приобрели’.
(9) а) *мое* исследование; б) исследование *меня*.
10) а) *наше* завоевание; б) завоевание *нас*.

IV. Запрет объектного понимания ПМ в контексте соподчиненного генитива может быть источником однозначного понимания генитива как имеющего объектное значение. Так, в примере (11а) генитив допускает и объектное, и субъектное понимание, а добавление ПМ, пример (11б), делает генитив однозначно объектным:

(11) а. *в изображении Достоевского* =а) 'в том, как изображают Достоевского'; б) 'в том, как изображает Достоевский'.
б. *в вашем изображении Достоевского* ='в том, как вы изображаете Достоевского' (≠'в том, как Достоевский изображает вас').

§ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулируем теперь сходства и различия ПМ и генитивов в общем виде.

1. ПМ употребляется в субъектном значении во всех контекстах, допускающих употребление в этом значении генитива существительного, и, кроме того, в некоторых контекстах, где генитив в этом значении не употребляется — а) в контексте нексусных имен, допускающих генитив субъекта, при наличии соподчиненного генитива объекта (*его поддержка товарищей*); б) в контексте имен способа действия или имен неглавных актантов, при наличии соподчиненного объектного генитива (*его доказательство теоремы о полноте* при неадекватном *доказательство Геделем* и правильном *Геделево доказательство*); в) в контексте некоторых нексусных имен, не допускающих субъектного генитива (*его захват Казани*); г) в контексте соподчиненного генитива сравнения (*его убежденность прозелита*). Тем самым при выражении субъектного значения ПМ полностью вытесняет генитив личного местоимения, так что субъектное значение не может выражаться генитивом местоимения, иначе как при наличии у местоимения подчиненных слов (*компетентность вас как биографа*). Между тем, твор. падеж местоимения в субъектной функции не полностью вытесняется притяжательным местоимением: он является единственно возможным местоименным средством выражения субъекта в контексте имен фактов.

2. ПМ способно употребляться в объектном значении, но не во всех контекстах, где в этом значении может употребляться генитив существительного: а) употребление объектного ПМ затруднено при одушевленных денотатах (?*твое оскорбление*); б) при наличии соподчиненных слов (**его свержение с престола*). Тем самым ПМ не полностью вытесняет генитив местоимения в выражении объекта: генитив остается единственным местоименным средством выражения объекта в упомянутых контекстах.

3. ПМ в отличие от генитива не исключает употребления соподчиненного ему генитива при том же отглагольном имени (*его посещение музеев*).

4. ПМ в отличие от генитива не является достаточным условием для употребления при том же отпредикатном имени твор. падежа в значении субъекта.

5. ПМ, допускающее, вообще говоря, как субъектную, так и объектную интерпретацию, в контексте соподчиненного генитива может пониматься только в субъектном значении.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.

Арутюнова Н. Д. Сокровенная связка (к проблеме предикативного отношения). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, 1980, т. 39, № 4.

Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.; Л.: Учпедгиз, 1947.

Вольф Е. М. Грамматика и семантика местоимений. На материале иберо-романских языков. М.: Наука, 1974.

Грамматика современного русского литературного языка, т. 1, М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970.

Ермакова О. П. Некоторые замечания о синтаксически обусловленных и других несвободных значениях слов. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М.: Наука, 1976.

Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во ИЛ, 1958.

Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М.: Наука, 1974.

Падучева Е. В. О производных диатезах отпредикатных имен в русском языке. — В кн.: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. М.: Наука, 1977.

Падучева Е. В. Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении предложения. — Научно-техническая информация, сер. 2, 1979, № 9.

Падучева Е. В. Об атрибутивном стяжении подчиненной предикации в русском языке. — Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 20, 1980, с. 3—44.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М.: Учпедгиз, 1938.

Ревзин И. И. Трансформационное исследование конструкций с субъектными и объектным приименным дополнением. — В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М.: Наука, 1973.

Русская грамматика, Т. II. М.: Наука, 1980.

Холодович А. А. Залог: определение, исчисление. — В кн.: Категория залога. Материалы конференции. Л., 1970.

Tesnière L. Eléments de syntaxe structurale. Paris, 1959.

Veyrenc J. Existe-t-il un génitif de l'objet? — Bul. de la société linguistique de Paris, 1972, v. 67, t. 1, p. 215—238.

Veyrenc J. Valence verbale et nominalization. — Russian linguistics, v. I, N 1,1974.

П. А. СОБОЛЕВА

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ [1]

Сложные прилагательные делятся на две категории. Первая категория моделируется без помощи Т-поля при интерпретации ядерного комплекса $R_5X\ R_3X$. (Если соотнести этот комплекс с Т-полем, то он займет в нем место тождественного преобразования операнда той же структуры: $R_5R_5X\ R_3R_3X$). Так моделируются чистые сложения.

Вторая категория сложных прилагательных получается в результате преобразования Т-операндов в различного рода Т-полях. (При этом ни один из трансформов не является тождественным преобразованием операнда). Таким образом моделируются суффиксально-сложные прилагательные.

I. ЧИСТЫЕ СЛОЖЕНИЯ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ ЯДЕРНЫМ КОМПЛЕКСОМ $R_5X\ R_3X$

Прилагательные этого типа делятся на две категории в зависимости от их отношения к поверхностной структуре. Первые получают одну единственную интерпретацию в виде сложного слова и не допускают параллельных интерпретаций в виде словосочетаний. Вторые могут иметь более одной интерпретации. Помимо сложных слов они могут интерпретироваться словосочетаниями, соответствующими тому же ядерному комплексу $R_5X\ R_3X$. В этом случае обе интерпретации равноправны.

1. Сложные прилагательные, однозначно соответствующие ядерному комплексу $R_5X\ R_3X$.

Относительно данных прилагательных комплекс $R_5X\ R_3X$ реализуется в виде трех подкомплексов: $R_5R_3O\ \ R_3O$, $R_5R_3O\ \ R_3R_1O$ и R_5OR_3O.

Первый из них интерпретируется преимущественно прилагательными цветообозначения: *темно-зеленый*, *бледно-зеленый*, *светло-зеленый*; *ярко-зеленый*, *ярко-голубой*, *ярко-синий*, *ярко-красный*; *бледно-розовый*, *бледно-зеленый*, *бледно-голубой*, *бледно-желтый*; *светло-бежевый*, *светло-зеленый*, *светло-голубой*, *светло-синий*, *светло-коричневый* и под. Сюда же относятся прилагательные типа *вечнозеленый*, *вечно молодой*, *труднодоступный*, *полупрозрачный* и под.

Второй подкомплекс $R_5R_3O\ \ R_3R_1O$, где операндом служит отглагольное прилагательное, интерпретируется такими прилагательными, как *позднеспелый*, *полузрелый* и под.

[1] Настоящая работа является продолжением статьи «Аппликативная порождающая грамматика и моделирование сложных слов», опубликованной в предыдущем выпуске ПСЛ (Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983).

В третьем подкомплексе R_5O R_3O оператор интерпретируется всегда одним и тем же словом *все* в конструктивно связанном значении ‘очень, весьма’: *всевозможный*, *всесильный*, *всеславный*, *всемилостивый*.

Последний тип следует отличать от прилагательных типа *всероссийский*, *всеевропейский*, *всечеловеческий*, *всенародный*, *всемирный*, которые относятся к суффиксально-сложным прилагательным типа R_5R_3O R_3R_2O или, если вынести R_3 за скобки, то R_3 (R_3O R_2O). Они получаются в результате преобразования атрибутивных словосочетаний типа *вся Европа*, *вся Россия*, *весь мир*, *все человечество* и одновременно их соединения с суф. *-ск-* и *-н-*. Элемент *все-* выступает здесь в основном значении. Аналоги этих прилагательных получаются в двучленном Т-поле (рис. 1).

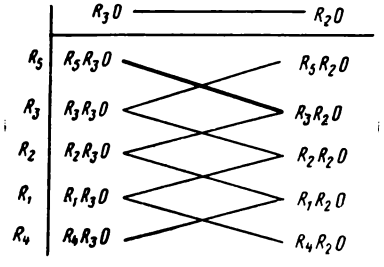


Рис. 1

Интересующий нас трансформ R_5R_3O R_3R_2O выделен жирной линией. Его можно преобразовать в комплекс R_3 (R_3O R_2O), вынеся крайний релятор операнда за скобку. R_3 — адъективатор, интерпретирующийся суф. *-ск-*, *-н-*.

Возможность соотнесения прилагательных типа *всенародный*, *всемирный*, *всесветный*, *всероссийский* с формулой R_3 (R_3O R_2O) говорит об их допустимой трактовке как аналогов трансформов, полученных в одночленном Т-поле от операнда R_3O R_2O. Подробнее см. ниже.

2. Сложные прилагательные, допускающие равноправную параллельную интерпретацию сложным словом и словосочетаниями.

Данные прилагательные моделируются подкомплексом R_5R_2O R_3O, где оператор интерпретируется либо именной основой, либо существительным в косвенном падеже с предлогом или союзом. Например, *снежно-белый* (ср. белый, как снег, или белый подобно снегу), *угольно-черный* (ср. черный, как уголь, или черный подобно углю), *кроваво-красный* (ср. красный, как кровь, или красный подобно крови), *лимонно-желтый* (ср. желтый, как лимон, или желтый подобно лимону). Приведенные выше примеры имеют значение сравнения, уподобления, что объективируется союзом *как* или предлогом *подобно* в перифрастической интерпретации. С аналогичным значением выступают композиты со вторым компонентом *подобный*, например: *мужеподобный* (ср. подобный мужчине), *звероподобный* (ср. подобный зверю), *обезьяноподобный* (ср. подобный обезьяне) и др. К этому же типу сложных слов следует отнести и синонимические композиты типа *человекообразный*, *воронкообразный*, *паукообразный*, *сигарообразный*, *шарообразный; яйцевидный*, *сердцевидный*, которые тоже выражают сравнение, уподобление. Параллельные словосочета-

ния строятся не на связанном втором компоненте *-обра́зный*, *-видный*, а на свободном синониме *подобный* (ср. подобный человеку, подобный сигаре, подобный шару, подобный или похожий на яйцо, подобный или похожий на сердце).

К этому же типу близки сложные прилагательные типа *разнообразный*, *многообразный*, *единообразный*, *старообразный*. Близость можно усмотреть в том случае, если понимать первый компонент-оператор как основу субстантивированного прилагательного. Ср. **подобный разному*, *подобный многому*, *подобный единому*, *подобный старому*. В этом случае можно говорить о соответствии комплексу $R_5R_2R_3OR_3O$.

Подкомплекс R_5R_2O R_3O моделируют также прилагательные типа *жароопасный* и *огнеупорный*, которые перифразируются как *опасный* (*безопасный*) *при жа́ре* (*высокой температуре*). Перифрастические интерпретации комплекса R_5R_2O R_3O допускают замену семантически связанных компонентов *-стойкий*, *-упорный* их свободным синонимом *устойчивый* (ср. свободные значения *стойкий*, например, в *стойкий характер* или *упорный* в *упорный в достижении цели*).

Приведем еще несколько примеров, интерпретирующих двоякое расщепление элементарного комплекса R_5X R_3X, в частности его подструктуры $R_5R_2OR_3X$: *громоподобный*, ср. *подобный грому*, *платежеспособный*, ср. *способный платить* ($R_3R_2R_1O$), *танкодоступный*, ср. *доступный танкам* и под.

II. СУФФИКСАЛЬНО-СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ В ТРЕХЧЛЕННОМ Т-ПОЛЕ

К таким композитам относятся прилагательные, соотносительные с глагольными словосочетаниями, независимо от того, встречаются ли отглагольные компоненты в свободном виде или нет. Ср. *засухоустойчивый* и *болезнетворный*, которые относятся к одному и тому же типу слов с точки зрения места их реляторных аналогов в Т-поле.

Ниже предлагается классификация таких композитов по принципу места, которые занимают их реляторные аналоги в трехчленном Т-поле.

1. Первый тип сложных прилагательных моделируется трансформом R_5R_2X R_3R_1X $R_2R_4R_2X$. См. жирную линию на рис. 2. Трансформация R_4R_2X R_1X $R_2X \rightarrow R_5R_2X$ R_3R_1X $R_2R_4R_2X$ моделирует превращение подлежащего операнда R_2X в приадъективный оператор R_5R_2X, превращение предиката операнда R_1X в отглагольный оператор подлежащего R_3R_1X и превращение приглагольного члена R_4R_2X (объекта или обстоятельства) в подлежащее $R_2R_4R_2X$ трансформа. Интересующие нас композиты моделируются подкомплексом R_5R_2X R_3R_1X.

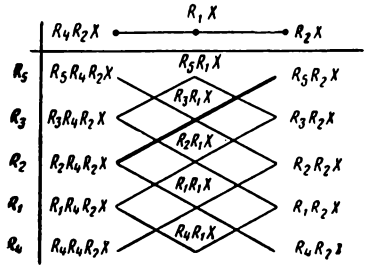


Рис. 2

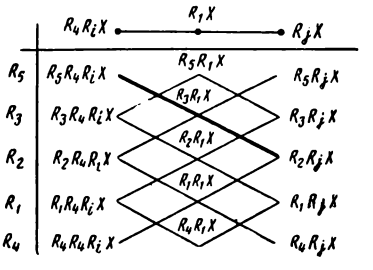


Рис. 3

Приведем примеры интерпретации данной трансформации: *Пыль не проникает сквозь ткань — пыленепроницаемая ткань*; *Влага не проникает сквозь материю — влагонепроницаемая материя*; *Все принимают (эти) факты — общепринятые факты*; *Все знают (эту) истину — общеизвестная истина*; *Все обязаны (сдать) экзамен — общеобязательный экзамен.*

В последних трех примерах функционально и семантически свободное местоимение *все*, служащее подлежащим операнда, заменяется связанной основой *обще-*, близкой ему по смыслу, однако не встречающейся в свободном виде.

Примечание. В связи с тем, что при интерпретации наших трансформаций допустимы синонимические замены, второй компонент тоже, правда в редких случаях, может быть представлен синонимом. Например: *знать — известный*, как в предпоследнем примере.

Прилагательные типа приведенных выше *общепринятый*, *общеизвестный*, *общеобязательный* следует различать и не смешивать с частично совпадающими в поверхностной структуре прилагательного типа *общеевропейский*, *общесоюзный*, *общепартийный*. Последние относятся нами к суффиксально-сложным прилагательным структуры $R_5R_3XR_3R_2X$ или, что то же самое, R_3 (R_3XR_2X), т. е. (*вся Европа*) + *-ск-ий*, (*весь Союз*) + *-ный*, (*вся партия*) + *-н-ый*. Основа этих прилагательных — атрибутивное словосочетание. Производящие форманты *-ск-*, *-н-*. Ср. аналогичную картину частичного совпадения поверхностной структуры, рассмотренные выше *всесильный*, *всеславный* и *всемирный*, *всесоюзный*. Соотнесение с реляторными комплексами в обоих случаях разрешает поверхностную омонимию сложных прилагательных.

Продолжим примеры интерпретации вышеуказанной трансформации: *По реке ходят суда — судоходная река*; *У X болит сердце* (например в контексте *при виде страданий*) — *сердобольный X*.

2. Второй тип сложных слов моделируется зеркально-симметричным (конверсным) преобразованием $R_4R_iXR_1XR_jX \rightarrow R_5R_4R_iX$ R_3R_1X R_2R_jX. См. жирную линию на рис. 3. Ср. рис. 2. Формула

R_jX принимает значение R_2O либо R_4R_2O. Формула R_4R_iX принимает значение R_4O, R_4R_3O, R_4R_2O.

Данное конверсное преобразование находит значительно более широкую интерпретацию в русском языке, если судить по материалам, собранным в АГ-70 и ГРЯ-80.

В зависимости от значения R_iX в R_5R_iX операнда трансформы, моделирующие композиты, делятся на три подструктуры: R_5R_4O R_3R_1O, $R_5R_4R_2$ R_3R_1O и $R_5R_4R_3O$ R_3R_1O.

Подструктура R_5R_4O R_3R_1O моделирует сложные слова с первым компонентом чисто отнаречной основой: *Вблизи лежит долина — близлежащая долина*;

?*Газик проходит везде* — **вездепроходящий газик* (окказ. Ср. вездеходный трактор); *Рулевой смотрит вперед — впередсмотрящий рулевой*;

X чувствует (*действует*, *мыслит*) *иначе — инакочувствующий* (*действующий*, *мыслящий*) *X*.

Подструктура $R_5R_4R_2O$ R_3R_1O находит в русском языке самую широкую интерпретацию. Первый компонент — отыменная основа, второй — основа причастия или отглагольного прилагательного.

Примечание. При интерпретации рассматриваемой трансформации допустимы, как и выше, синонимические замены.

В зависимости от присутствия формулы R_2O либо R_4R_2O в операндах последние делятся на две категории: а) операнд — личное предложение; б) операнд—неопределеннoличное предложение.

а) Операнд — личное предложение: *Растение устоит против засухи* (*мороза*) *— засухоустойчивое* (*морозоустойчивое*) *растение*; *Снаряд проходит* (*прорывает*) *гору — горнопроходческий снаряд*; *Танкер наливает нефть — нефтеналивной танкер*; *Растение выносит тень — теневыносливое растение*; *Комбайн убирает хлопок — хлопкоуборочный комбайн*; *Комбайн добывает уголь — угледобывающий комбайн*; *Крик раздирает душу — душераздирающий крик*; *Пласт насыщен водой — водонасыщенный пласт*; *Предприятие окупает* (*само*) *себя — самоокупаемое предприятие*; *Вагонетка движется сама — самодвижущаяся вагонетка*; *Машинка пишет сама — самопишущая машинка*; *Сиденье опрокидывается само — самоопрокидывающееся сиденье*.

Сложные прилагательные с первым компонентом *само-* типа *самодвижущаяся* (вагонетка), *самопишущая* (ручка, машинка), *самоопрокидывающийся* (ящик), *самотвердеющий* (состав) следует отличать от частично омонимичных им в поверхностной структуре прилагательных типа *самоновейший*, *самоважнейший*, *самомалейший*, которые моделируются трансформом R_5R_5O R_3R_3O, полученным от операнда R_5O R_3O — типа *самый новый*, *самый важный*. Трансформ в данном случае — тождественное преобразование операнда.

Эти же прилагательные могут быть отнесены к сложениям, получаемым вне Т-поля, а именно в результате интерпретации элементарного комплекса R_5XR_3X, где R_5X интерпретируется компонентом *само-*, а R_3X превосходной степенью *-новейший, -важнейший, -малейший*. Этот же комплекс может интерпретироваться словосочетаниями типа *самый новейший* (*важнейший, малейший*). Как сложные слова, так и словосочетания этого типа являются примером плеоназма, ибо *самый* (*само-*) эквивалентно по смыслу суффиксу превосходной степени *-ейш-ий*.

Другим омонимом двух представленных выше сложений с основой *само-* служат слова типа *самоценный, самоочевидный*, которые мы относим к сложениям, получаемым без обращения к Т-полю в процессе интерпретации элементарного комплекса R_5XR_3X (см. выше). Они относятся ко второй категории таких слов, а именно имеющих две параллельные равноправные интерпретации: *самоценный=ценный сам* (*по себе*), *самоочевидный = очевидный сам* (по себе). Сюда же можно отнести прилагательные *самовольный* и *самовластный*, отметив их лексикализацию.

Интуитивно отличающимися от всех перечисленных выше сложений с *само-* являются прилагательные с возвратным значением типа *самодовольный, самоуверенный, самонадеянный, самовлюбленный, самоуглубленный*. Однако средствами реляторной грамматики их невозможно отличить от прилагательных типа *самопишущий, самоопрокидывающийся, самотвердеющий*, которые соотносятся с одним и тем же реляторным комплексом — трансформом $R_5R_4R_2O$ R_3R_1O R_2R_2O. Ср. *состав твердеет сам — самотвердеющий состав* и *красавица влюблена* (*сама*) *в себя — самовлюбленная красавица*. Близость двух последних случаев подтверждается примерами с двоякой интерпретацией: ср. *Вагонетка движется сама — самодвижущаяся вагонетка* и **Вагонетка движет* (*сама*) *себя — самодвижущаяся вагонетка*. Рефлексивность операнда в первом случае выражается синтетически, а во втором — аналитически.

Продолжим примеры, интерпретирующие трансформы $R_5R_4R_2O$ R_3R_1O R_2R_2O: *Вещество содержит серу — серосодержащее вещество*; *Комбайн убирает хлопок — хлопкоуборочный комбайн*; *Механизм впускает пар — паровпускной механизм*; *X любит тепло — теплолюбивый X*; *Установка отсасывает воду — водоотсасывающая установка*.

Аналогичную трансформационную историю имеют сложные прилагательные *газоочистный, водоочистительный, нефтеналивной, медеплавильный, богобоязненный, словоохотливый, центробежный, тошнотворный, болезнетворный* [с лексической заменой: (*Загрязненный*) *воздух грозит болезнями* (*вызывает тошноту*) *— болезне*(*тошно*)*-творный воздух*), *газоходный, землечерпательный, берегоукрепительный, железоделательный, вагоностроительный, слезоточивый* (с лексической заменой: *Газ вызывает слезы — слезоточивый газ*), *огнестрельный, дружелюбный, теплопроводный, рыбо-*

разводный, *водоносный*, *нефтеносный* (с лексической заменой: *слой (земли) содержит воду (нефть)* — *водо(нефте-)носный слой*), *злорадный*, *азотнофиксирующие (бактерии)*, *фосфорсодержащая (руда)*, *мелосодержащее (вещество)* и под.

б) Операнд — неопределенноличное предложение: *Инструментом режут металл — металлорежущий инструмент*; *Молотом дробят камень — камнедробильный молот*; *В цехе отливают чугун — чугунолитейный цех*; *В цехе ткут шерсть — шерстоткацкий цех*; *Краном поднимают груз — грузоподъемный кран*; *В совхозе заготовляют хлеб — хлебозаготовительный совхоз*; *В цехе прядут шелк — шелкопрядильный цех*; *(Это) вещество растворяют жиром — жирорастворимое вещество*.

Первый компонент комплекса $R_5R_4R_3O$ R_3R_1O интерпретируется отадъективно-наречными основами. Например: *Жизнь течет быстро — быстротекущая (или быстротечная) жизнь*; *Взгляд обещает (значит) много — многообещающий (многозначительный) взгляд*; *(Эти) продукты стоят дорого — дорогостоящие продукты*; *Пластинка играет долго — долгоиграющая пластинка*; *(Эти) продукты скоро портятся — скоропортящиеся продукты*; *(Этот) труд оплачивается низко — низкооплачиваемый труд*; *Катер ходит быстро — быстроходный катер*.

С помощью этой же трансформации моделируются и другие сложные прилагательные с отадъективно-наречным первым компонентом, например: *глубокоуважаемый*, *быстроразвивающийся*, *быстрозамороженный*, *густонаселенный*, *постоянnодействующий*, *слаборазвитый*, *скороспелый*, *легкоплавкий*, *быстрорастворимый*, *вертикально-сверлильный (станок)*, *миловидный* (ср. *выглядит мило*), *плоско-вязальный*, *скоротечный*, *тиховейный*, *дальновидный*, *тихоходный*, *густотертый*, *мелкотолченый* и др.

В связи со сложными прилагательными, рассмотренными выше и отличающимися широким распространением в русском языке, необходимо остановиться на вопросе неоднозначного толкования некоторых из них, т. е. на явлении полиформии. Более чем одному толкованию, с нашей точки зрения, подлежат некоторые прилагательные, содержащие суф. *-н-*, *-тельн-*, и *-ск-* во втором компоненте:

а) *землесосный*, *камнерезный*, *рыболовный*;

б) *вагономоечный*, *поломоечный*, *краскотерочный*, *овощемоечный*, *углемоечный*;

в) *золотопромывательный*, *рудопромывательный*, *землепользовательный*;

г) *хлебопашеский*, *гробокопательский*.

Примеры (а) могут трактоваться как суффиксально-сложные, полученные в Т-поле трансформацией R_4R_2O R_1O R_4R_2O (R_2O) → $R_5R_4R_2O$ R_3R_1O $R_2R_4R_2O$ (R_2R_2O), т. е. *Агрегат* сосет (всасывает) землю — землесосный агрегат*; *Инструментом режут камень — камнерезный инструмент*; *Снастью (на крючок) ловят рыбу — рыболовная снасть (рыболовный крючок)*.

Одновременно их можно трактовать как производные с помощью суф. *-н-ый* от суффиксально-сложных существительных со вторым компонентом — отглагольным ноль-дериватом: **сосет (всасывает), землю → земле-сос-Ø → (землесос-Ø)-ный; режут камень → камне-рез-Ø → (камне-рез-Ø)-ный; ловит рыбу → рыбо-лов-Ø → (рыбо-лов-Ø)-ный* (см. о таких композитах выше).

В реляторной записи вторая трактовка имеет следующий вид: $R_3\,(R_3R_4R_2O\;\;R_2R_1O)$, т. е. как бы (*рыбо-лов-Ø*)-*ный*, (*земле-сос-Ø*)-*ный*, (*камне-рез-Ø*)-*ный*.

Группа (б), т. е. *вагономоечный* и под. имеет, по существу, те же две трактовки: $R_5R_4R_2O\;R_3R_1O$, т. е. *Установка моет вагоны — вагономоечная установка*; *Бригада моет пол — поломоечная бригада*; *В отделении моют овощи — овощемоечное отделение*; *На столах моют уголь — углемоечные столы* — суффиксально-сложные прилагательные и $R_3\,(R_3R_4R_2O\;\;R_2R_1O)$ — суффиксально-сложные с последующей суффиксацией. Отличие от группы (а) заключается в суффиксе отглагольного компонента сложной основы:

X моет вагоны (*пол, овощи, уголь*) → *вагоно-*(*поло-, овоще-угле-*)*мойка* + *-н-ый* (*моечный*) *X*: Присоединение суф. *-н-* вызывает мену финали *-ка* на финаль *-ечный*, т. е. (*вагономоеч*) + *-ный*.

Группа (в), т. е. слова типа *золотопромывательный* тоже могут рассматриваться двояко:

1) как одновременный результат словосложения и аффиксации:

$$R_4R_2O\;\;R_1O\left\{\begin{matrix}R_4R_2O\\R_2O\end{matrix}\right\}\longrightarrow R_5R_4R_2O\;\;R_3R_1O\left\{\begin{matrix}R_2R_2O\\R_2R_4R_2O\end{matrix}\right\}$$

Установка промывает золото / *(В бадейке) промывают золото* } — *золотопромывательная установка* (*бадейка*)

(*Обогатительное*) *предприятие промывает руду* / *На* (*обогатительном*) *предприятии промывают руду* } — *углепромывательное предприятие.*

По договору пользуются землей — землепользовательный договор.

2) как результат сложения и последующей аффиксации: комплекс $R_3R_4R_2O\;\;R_2R_1O$ интерпретируется, в частности, сложносуффиксальными именами деятеля: *рудопромыватель, золотопромыватель, землепользователь*.

Производные прилагательные означают ‘относящийся к агенсу’: $R_3(R_3R_4R_2OR_2R_1O)$: (*рудо-промыватель*) + *-ный*, (*золото-промыватель*) + *-ный*, (*земле-пользователь*) + *-ный*.

Точно так же прилагательные *хлебопашеский* (и лексикализированное *гробокопательский*) — группа (г) могут быть получены непосредственно от предложения: *Артель пашет хлеб — хлебопашеская артель*. Либо путем аффиксации сложной основы, полученной в свою очередь в результате трансформации: $R_4R_2O\;\;R_1O\;\;R_2O \rightarrow R_3R_4R_2O\;\;R_2R_1O\;\;R_1R_2O$: *Крестьянин пашет хлеб — Хлебопашец-крестьянин*. От суффиксально сложной основы *хлебопашец* путем мены суф. *-ец* на *-ский* получается производное прилагательное

www.ruslang.ru

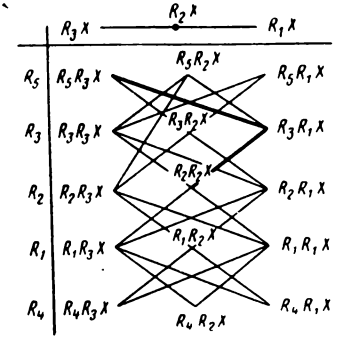


Рис. 4

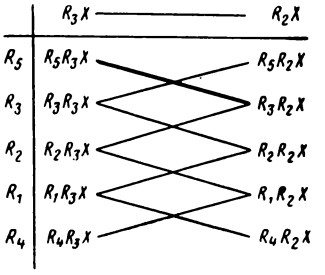


Рис. 5

(*хлебо-пашец*) + *-ский* со значением 'имеющий отношение к хлебопашцу (хлебопашцам)'.

Рассмотренная выше полиформия суффиксально-сложных и производных от сложных прилагательных типа $R_5R_4R_2O$ R_3R_1O $R_3(R_3R_4R_2O$ $R_2R_1O)$ затрагивает образования с орудийным либо агентивным значением. Именно в силу их отглагольного характера возникает возможность получать их а) непосредственно от глагола, б) опосредовано от глагола — через орудийные либо агентивные сложения.

3. Третий тип сложных прилагательных образуется также в трехчленном Т-поле в качестве одного из его трансформов. См. рис. 4.

В отличие от Т-полей, рассмотренных выше, где сохраняются только синтаксические связи операнда, в Т-поле на рис. 4 учитываются новые синтаксические связи, которые возникают между дериватами членов операнда в условиях Т-поля. Все они обозначены тонкими линиями. Жирной линией выделен интересующий нас трансформ: $R_5R_3R_2O$ R_3R_1X R_2R_2X. Операндом служит предложение, в котором подлежащее имеет определение: R_3X R_2X $R_1X \rightarrow$ R_5R_3X R_3R_1X R_2R_2X. Приводим интерпретацию этой трансформации: *Сырая колбаса коптится — сырокопченая колбаса*; *Родился мертвый ребенок — мертворожденный ребенок*; *Холодный металл вытягивается (тянется) — холоднотянутый металл*; *Цельное железо сваривается — цельносваренное железо*; *Горючие материалы смазывают — горючесмазочные материалы*, *Свежая клубника замораживается — свежезамороженная клубника*, *Свежие овощи замораживаются — свежезамороженные овощи* и под.

Многие операнды этой трансформации могут быть перефразированы неопределенно-личными предложениями: *Сырую колбасу коптят; Цельное железо сваривают*; *Горючими материалами смазывают*; *Свежую клубнику замораживают* и под. В последнем случае моделирующая трансформация имела бы следующую запись: $R_4(R_3XR_2X)$ $R_1X \rightarrow R_5R_3XR_3R_1XR_2R_2X$.

В связи со сложными прилагательными вышеописанного типа следует остановиться на частичной поверхностной омонимии структур, содержащих первый компонент *свеже-*. Это, с одной стороны, композиты типа *свежезамороженный*, а с другой — типа *свежевыбритый*, *свежевскопанный*, *свежевымытый*, *свежевыстиранный*, *свежеобструганный*, *свежепосаженный* и под.

Если первые моделируются трансформацией, показанной на рис. 4, то вторые получаются при интерпретации трансформации, показанной на рис. 3. Ср. *Свежая клубника замораживается — свежезамороженная клубника* и *Мужчина только что побрился* (*Мужчину только что побрили*) — *Свежевыбритый мужчина*; *Землю только что вскопали — свежевскопанная земля*; *Волосы только что вымыли — свежевымытые волосы*; *Белье только что выстирали — свежевыстиранное белье*; *Полено только что обстругали — свежеобструганное полено*; *Картофель только что посажен — свежепосаженный картофель* и под.

Первый компонент трансформа — сложного прилагательного *свеже-*, являющийся связанным, соответствует свободному синониму *только что* в составе операнда.

III. СУФФИКСАЛЬНО-СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ В ОДНОЧЛЕННОМ ИЛИ ДВУЧЛЕННОМ Т-ПОЛЯХ

Приведем полный список трансформов одночленного Т-поля, моделирующего интересующие нас суффиксально-сложные слова (табл. 1).

Интересующий нас комплекс $R_3(R_3X\ R_2X)$ делится на два подкомплекса: $R_3(R_3O\ R_2O)$ и $R_3(R_3R_2O\ R_2O)$.

Первый подкомплекс моделирует сложно-суффиксальные прилагательные с первым компонентом — основой непроизводного прилагательного: *низкокачественный* (от *низкое качество*), *круглогодовой* (*круглогодичный*) (от *круглый год*), *легкоатлетический* (от *легкая атлетика*), *трехстворчатый* (от *три створки*), *ежевечерний* (с синонимической меной от *каждый вечер*), *ранневесенний* (от *ранняя весна*), *разносторонний* (от *разные стороны*), *добрососедский* (от *добрые соседи* или *добрый сосед*), *средневозрастной* (от *средний возраст*), *тонкослоистый* (от *тонкий слой*).

По модели $R_3(R_3OR_2O)$ образуются также следующие сложные прилагательные: *мелкозубчатый*, *крупнозернистый*, *крупнопузырчатый*, *тонковолокнистый*, *мелкокомковатый*, *малокадровый*, *твердотопливный*, *многоканальный*, *всенародный*, *всесветный* (см. выше), *цельнометаллический*, *чистошерстяной*, *остродефицитный*, *верхневолжский*, *малоазиатский*, *южнородезийский* и под.

Ввиду того что данные прилагательные трактуются нами как производные от атрибутивных словосочетаний, для их морфемного состава несущественно совпадение либо несовпадение суффиксаль-

ного второго компонента со свободно функционирующими отыменными прилагательными. Ср. *годовой — круглогодовой* либо *круглогодичный* от одного и того же словосочетания *круглый год*. Тип словообразовательной структуры композита остается тем же независимо от совпадения или несовпадения поверхностной структуры второго компонента слова с однокоренным отыменным прилагательным. Последнее может быть тождественно второму компоненту композита либо нетождественно ему.

Таблица 1

	R_3X R_2X
R_5	1. $R_5(R_3X\ R_2X)$
R_3	2. $R_3(R_3X\ R_2X)$
R_2	3. $R_2(R_3X\ R_2X)$
R_3	4. $R_1(R_3X\ R_2X)$
R_4	5. $R_4(R_3X\ R_2X)$

Приведем некоторые примеры композитов из ГРЯ-80, характеризующиеся меной либо усечением аффикса второго компонента, или меной ударения: *береговой — левобережный, слоговой — односложный, языковой — многоязычный, смысловой — малосмысленный, годовой — прошлогодний (новогодний), городской — иногородний, душевный — криводушный, словесный — пустословный (многословный), кровяной — холоднокровный, сердечный — жестокосердный (милосердный), лепестковый — раздельнолепестный, языковой — англоязычный, земной — иноземный, стенной — тонкостенный, морской — черноморский, лесной — мелколесный, волновой — коротковолновый, грузовой — тяжелогруэный, земельный — новоземельский* (Новая Земля) и под.

Мена «положительного» суффикса на нулевой характерна для сложных прилагательных типа *белозубый* (от *белые зубы*), ср. *зубастый, зубной*; *широкоплечий* (от *широкие плечи*), ср. *плечистый, плечевой*; *чернокожий* (от *черная кожа*), ср. *кожистый, кожаный* и под.

Второй подкомплекс $R_3(R_3R_2OR_2O)$ моделирует суффиксально-сложные прилагательные с первым компонентом — основой отыменного прилагательного: *зубоврачебный* (от *зубной врач*), *горнопромышленный* (от *горная промышленность*), *травопольный* (от *травяное поле*), *гостиннодворский* (от *гостинный двор*, *каменноугольный* (от *каменный уголь*), *древесномассный* (от *древесная масса*), *газосветный* (от *газовый свет*), *козлоногий* (от *козлиные ноги*), *клинолистые* и под.

Суффиксально-сложные прилагательные как первого, так и второго типа, т. е. обладающие словообразовательными структурами $R_3(R_3OR_2O)$ и $R_3(R_3R_2OR_2O)$, содержащие в своем составе компонент, совпадающий со свободно функционирующим прилагательным, могут получить иную трактовку: они могут быть отнесены к чистым сложениям, моделируемым элементарным комплексом R_5XR_3X. Подробно такие сложения были описаны выше.

Если к перечисленным на с. 67 подкомплексам добавить подкомплексы $R_5R_3OR_3R_2O$ и $R_5R_3R_2OR_3R_2O$, то образования типа *круглогодовой, легкоатлетический, чистошерстяной, остродефицитный,*

мелкозубчатый, *крупнозернистый* и др. (см. выше), которые могут быть поставлены в соответствие прилагательным типа *годовой*, *атлетический*, *шерстяной*, *дефицитный*, *зубчатый*, *зернистый* и под., можно непосредственно соотнести с подкомплексом $R_5R_3OR_3R_2O$, где класс R_5R_3O может рассматриваться как моделирующий основы отадъективных наречий: *круглый — кругл-о-*, *легкий — легк-о-*, *чистый — чист-о-*, *острый — остр-о-*, *мелкий — мелк-о-*, *крупный — крупн-о-* и под., а класс R_3R_2O — основы отыменных прилагательных типа *-годовой*, *-атлетический*, *-шерстяной*, *-дефицитный*, *-зубчатый*, *-зернистый* и под. В таком случае подобные прилагательные можно трактовать как чистые сложения. Аналогично обстоит дело со сложными словами типа *зубоврачебный*, *горнопромышленный*, *каменноугольный* и под.

Первый компонент этих сложений можно понимать как основу деривата третьей степени: *гора — горный — горн-о-*, *камень — каменный — каменн-о-*, *зуб — зубной — зуб-о-*. А второй — как основы отыменных прилагательных: *-промышленный*, *-угольный*, *-зубной*. Тогда и прилагательные типа *каменноугольный* можно соотносить со словообразовательной структурой $R_5R_3R_2O$ R_3R_2O и считать чистыми сложениями.

Существует и третья возможность трактовки сложений типа *круглогодичный*, *остродефицитный* и *горнопромышленный*, *каменноугольный*. Следует оговориться, что эта возможность существует и для трактовки композитов, не соотносительных со свободно функционирующими отыменными прилагательными типа *левобережный*, ср. *береговой*; *прошлогодний*, ср. *годовой*; *тяжелогрузный*, ср. *грузовой*; *травопольный*, ср. *полевой*; *широкоплечий*, ср. *плечевой* и под.

Все эти и им подобные прилагательные могут быть соотнесены с одним из трансформов двучленного Т-поля, операндом которого служит комплекс R_3X R_2X, выступающий в двух разновидностях: R_3O R_2O и R_3R_2O R_2O. См. рис. 5.

Интересующий нас трансформ показан жирной линией. Трансформация записывается как R_3X $R_2X \rightarrow R_5R_3X$ R_3R_2X. Эта трансформация в зависимости от характера операнда существует в двух разновидностях: R_3O $R_2O \rightarrow R_5R_3O$ R_3R_2O и R_3R_2O $R_2O \rightarrow R_5R_3R_2O$ R_3R_2O.

Первое интерпретируется как: *низкое качество — низкокачественный*; *круглый год — круглогодичный* (*круглогодовой*); *легкая атлетика — легкоатлетический*; *ранняя весна — ранневесенний*; *добрый сосед — добрососедский*; *тонкие волокна — тонковолокнистый*; *мелкие комки — мелкокомковатый*.

А так же: *левый берег — левобережный*; *многие языки — многоязычный*; *толстые стены — толстостенный* и под. *белые зубы — белозубый*. Вторая трансформация интерпретируется как: *горная промышленность — горнопромышленный*; *каменный уголь — каменноугольный*; *древесная масса — древесномассовый* и под.

Приводя возможность второй и третьей трактовки сложных прилагательных, мы отдаем предпочтение первой, так как она объясняет большее количество случаев, в частности композиты, где второй компонент не встречается в свободном виде. Малоубедительным также кажется соотнесение композитов типа *зубоврачебный*, *газосветный*, *иногородний*, *травопольный* и под. с комплексом R_5XR_3X — как элементарным, так и результатом трансформации из-за натянутости деривации *зуб — зубной — зуб-о-*, *газ — газовый — газ-о-*, *трава — травяной — трав-о-* и под. Тем не менее нам представлялась заслуживающей внимания возможность усмотреть полиформию в сложениях типа *остродефицит-ный/остро-дефицитный*, *чистошерстя-ной/чисто-шерстяной*, *горнопромышл-енный/горно-промышленный*, *каменноуголь-ный/каменноугольный*. Вариант членения слева соответствует суффиксально-сложным словам со словообразовательной структурой $R_3(R_3X\ R_2X)$, являющейся одним из трансформов, полученных в одночленном Т-поле, или $R_5R_3X\ R_3R_2X$ — трансформом двучленного Т-поля. Вариант членения справа соответствует словообразовательной структуре $R_5X\ R_3X$, которая может рассматриваться вне Т-поля и интерпретироваться как чистое сложение.

IV. СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СОЧИНИТЕЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ

Если обозначить сочинительную связь через коннектор С, то глубинно-словообразовательная структура сочинительных прилагательных принимает вид $CR_3X\ R_3X$, где С — оператор при первом комплексе R_3X, который, воздействуя на него, делает класс CR_3X оператором по отношению ко второму R_3X, тем самым уподобляясь комплексу R_5R_3X.

С помощью сочинительной связи между компонентами могут объединяться более чем две адъективных основы, например *слепоглухонемой* или *глухо-пепельно-оранжевая* (*туча*). Такого рода сочинительные цепочки моделируются комплексом $C(CR_3X\ R_3X)\ R_3X$.

Теоретически возможно представить себе сочинительное нанизывание более чем трех компонентов. Тогда наиболее общая запись глубинной словообразовательной структуры сочинительных прилагательных примет следующий вид: С(. . .С($CR_3X\ R_3X$) R_3X. . .) R_3X.

Полагаю, что реально встречаются только сложные слова, соответствующие комплексам CR_3XR_3X и $C(CR_3X\ R_3X)\ R_3X$, а из них большая часть композитов двусоставна.

Обобщенный комплекс $CR_3X\ R_3X$ состоит из ряда реляторных подкомплексов: $CR_3O\ R_3O$, $CR_3R_2O\ R_3R_2O$, $CR_3R_1O\ R_3R_1O$, $CR_3R_1O\ R_3R_2O$, $CR_3R_2O\ R_3R_1O$; $CR_3R_2R_1O\ R_3R_1O$ и $CR_3O\ R_3R_2R_1O$ и т. д. Приведем интерпретацию этих подкомплексов.

Так, к сложным прилагательным, в которых сочинены основы непроизводных прилагательных, т. е. моделируемые комплексом $CR_3O\ R_3O$ относятся такие, как *белорозовый* (*белый и розовый*), *пестрокоричневый* (*пестрый и коричневый*), *глухонемой* (*глухой и немой*), *желтозеленый* (*желтый и зеленый*) и под.

От этих прилагательных следует отличать похожие по поверхностной структуре сложные прилагательные цветообозначения, где первый компонент выражает не самостоятельное качество, а степень или длительность качества второго компонента. В этом случае первый компонент выражен основами типа *бледно-*, *светло-*, *ярко-*, *темно-*, *полу-*, *вечно-* и др. Например, *бледно-желтый*, *светло-коричневый*, *ярко-красный*, *темно-синий*, *полу-прозрачный*, *вечно-зеленый*, *вечно-молодой* и под. Глубинно-словообразовательная структура таких сложных прилагательных рассматривалась нами выше. Она моделируется элементарным комплексом $R_5X\ R_3X$, точнее его разновидностью $R_5R_3O\ R_3O$. Соотнесение первого компонента с классом R_5R_3O говорит о понимании компонентов типа *бледно-*, *светло-*, *ярко-*, *темно-*, *вечно-* и под. как основ отадъективных наречий: *бледный — бледно*, *светлый — *свéтло*, *яркий — ярко*, *темный — *тéмно*, *вечный — вечно*. К прилагательным этого же типа весьма близки сложения типа *огненно-красный* и *пепельно-серый*. Моделируются они подкомплексом $R_5R_3R_2O\ R_3O$. В отличие от прилагательных, соотнесенных выше с комплексом $R_5R_3O\ R_3O$, комплекс $R_5R_3R_2O\ R_3O$ может иметь параллельные интерпретации в виде словосочетаний и сложных слов: *красный, как огонь*, или *красный подобно огню*, наряду с *огненно-красный*; *серый, как пепел*, или *серый подобно пеплу* наряду с *пепельно-серый*.

К сложениям с сочиненными компонентами — основами отыменных прилагательных $CR_3R_2O\ R_3R_2O$ относятся такие как *плодово-ягодный* (*плодовый и ягодный*), *советско-монгольский* (*советский и монгольский*), *товаро-пассажирский* (*товарный и пассажирский*), *синтетико-аналитический* (*синтез и анализ*), *греко-латинский* (*греческий и латинский*), *автотракторный* (*автомобильный и тракторный*), *агропромышленный* (*агрономический и промышленный*), *тактико-технический* (*тактический и технический*) и под.

К сложениям с сочиненными компонентами—основами отглагольных прилагательных, моделируемых комплексом $CR_3R_1OR_3\ R_1O$, относятся следующие: *счетно-решающий*, *мяльно-трепальный*, *сверлильно-долбежный*, *моечно-сушильный* и под.

К сложениям, включающим основы неоднородного характера, т. е. глагольно-именные и именно-глагольные, моделируемых комплексами $CR_3R_1OR_3R_2O$ и $CR_3R_2OR_3R_1O$, относятся следующие прилагательные: *торгово-промышленный* (*торговый и промышленный*), *агитационно-массовый* (*агитационный и массовый*), *вопросительно-растерянный* (*вопросительный и растерянный*).

К сложениям сочинительного характера с основами третьей степени производности $CR_3R_2R_1O\ R_3R_1O$ и $CR_3O\ R_3R_2R_1O$ относятся

слова *поисково-спасательный* (*искать — поиск — поисковый* и *спасать — спасательный*), *пуско-наладочный* (*пускать — пуск — пусковой* и *налаживать — наладочный*) и *широкошумный* (*широкий* и *шуметь — шум — шумный*).

Таковы основные словообразовательные типы сложных прилагательных с сочинительными отношениями между компонентами.

Т. С. МОРОЗОВА

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛА И ЕГО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Анализ конкретного языкового материала, представленный в ряде работ последних лет, подтверждает гипотезу: от глагола возможно образование лишь таких производных, словообразовательное значение которых предопределено его валентностью [1].

Изучение словообразовательного потенциала глаголов в связи с их валентностью осуществлялось на материале глаголов с п р е д м е т н ы м и актантами (в предложении такие актанты выражаются словами, обозначающими конкретный физический предмет), см.: Buzássyová 1974 Гинзбург 1979, Яруллина 1980. Словообразовательная реализация валентностей глагола рассматривалась преимущественно на материале отглагольных с у щ е с т в и т е л ь н ы х.

Задачи настоящей работы: 1) выявить, является ли релевантным для словообразования семантико-синтаксическое противопоставление предметно-актантных и пропозитивно-актантных глаголов; 2) проследить, как словообразовательная парадигма [2] глагола отражает субстанциональность / несубстанциональность его семантических компонентов.

Некоторые предварительные замечания. В своей работе мы исходим из расширенного понимания валентности [3]: синтаксическая

---

[1] Эта гипотеза была высказана в работах: Апресян 1972, Гинзбург 1972, Buzássyová 1974.

[2] Словообразовательная парадигма (СП) слова — набор всех производных от этого слова, находящихся на одной и той же ступени деривации. Типовая СП(ТСП) — комплекс словообразовательных значений, присущий той или иной СП, в отвлечении от конкретных средств выражения. См.: Земская 1978.

[3] Для современной лингвистики характерна тенденция к расширению содержания понятия валентности, о чем свидетельствует следующее: 1) теория валентности в настоящее время включает не только обязательные, но и факультативные связи глагола; 2) если первоначально валентность трактовалась только как сочетаемость глагола с подлежащим и субстантивными дополнениями (Л. Теньер, как известно, различает лишь три актанта: производитель действия; предмет, претерпевающий действие; лицо, в пользу или в ущерб которому производится действие. — См. Tesnière 1959, с. 108, 238—244), то

валентность понимается как свойство глагола «определенным образом реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами» (Кацнельсон 1948, с. 133), т. е. как сочетаемость глагола не только со словами, обозначающими «участников действия», но и со словами, обозначающими признаки действия, — с наречиями.

В проводимом нами исследовании использовался набор валентностей, предложенный Ю. Д. Апресяном, как наиболее полный (25 семантических валентностей, см.: Апресян 1974, 125—126. Ср. наборы «участников» действия, представленные, например, в работах: Гак 1969; Холодович 1970). Кроме этого, нами были введены понятия: векторная валентность — компонент семантики глагола (признак действия — 'может быть разнонаправленным'), который объективируется как сочетаемость глагола с пространственными наречиями (типа *вниз*, *вверх*, *внутрь*, *снизу*, *сверху*, *вокруг*), валентность степени интесивности — семантический компонент, который объективизируется как сочетаемость с наречиями степени (типа *сильно*, *слабо*, *слегка*); валентность меры выполнения действия — семантический компонент, который объективируется как сочетаемость с наречиями меры (типа *много*, *мало*, *недостаточно*, *чересчур*).

Обращение к рассмотрению этих валентностей объясняется тем, что, по нашим наблюдениям, существует связь между возможностью/невозможностью сочетаемости глагола с наречиями определенной семантики и структурой его СП.

Пропозитивный актант — в отличие от предметного — предполагает событие и выражается зависимым предложением, существительным со значением процесса или состояния, инфинитивом (*хотел* → *чтобы дети поехали в деревню*, *мечтаю* → *о поездке на север*, *прошу* → *подождать*) [4]. Способностью иметь пропозитивные актанты обладают только некоторые смысловые группы глаголов: модальные, фазовые глаголы, глаголы речи, мысли, памяти, чувства, волеизъявления [5]. Это, по терминологии Н. Д. Арутюновой, интенсиональные глаголы, которые противопоставлены по семантико-синтаксическим свойствам глаголам конкретного физического действия, имеющим только предметные актанты. Обозначения физических действий соотносятся с предметными понятиями (с обозначением предметов и веществ, имеющих реальное существование) и с отношениями про-

---

позднее круг «участников» действия значительно расширился за счет включения обстоятельств (времени, места) и пропозитивных дополнений. Ср. введение И. М. Богуславским понятия «синтаксическая сфера действия лексемы», являющегося обобщением понятия «синтаксический актант», см.: Богуславский 1979, с. 5.

[4] См.: Арутюнова 1976. Для обозначения этого понятия используется также термин «предикатный актант», см.: Типологические методы. . . 1981.

[5] Подробнее о семантических группах глаголов с пропозитивными актантами: Типологические методы. . . 1981, с. 77—103.

странственного плана. Обозначения же интенсиональных актов соотносятся с пропозитивными понятиями (с обозначениями событий, качеств, действий, состояний, имеющих ментальное существование) и с отношениями логико-темпорального плана. Глаголы конкретного физического действия управляют существительными с пространственными предлогами; интенсиональные глаголы управляют именами или предложениями с логическими и темпоральными предлогами или союзами [6]. Так, глаголы мысли — *думать*, *мыслить*, *понимать*, *соображать*, *решать* (что делать), *судить* (о ком-чем-либо), *полагать*, *считать* (что он не прав), *знать* — имеют валентности субъекта действия и содержания действия. Валентность содержания предполагает пропозицию (целостное событие), синтаксически выражается как придаточное изъяснительное предложение или его номинализация. Например: *Думаю, почему он отказался от этой поездки. Думаю о его отказе.* Семантическая валентность содержания у глаголов мысли расщепляется на семантическую валентность объекта («предмет мысли», соответствует теме предложения) и семантическую валентность аспекта (точка зрения, с которой объект рассматривается; соответствует реме предложения [7]. Объектная валентность у этих глаголов предполагает не субстанцию, а событие, состояние или свойство субстанции например: *Думаю над твоим предложением, гадаю о его намерениях*, т. е. осмыслению подвергается не субстанция как таковая (как материальная сущность), а действия состояния, с ней связанные, или ее свойства. Высказывания типа *думаю о дочери, думаю о доме* — позиция объекта замещена словами субстанциональной семантики — эллиптичны, поскольку в них не назван истинный предмет мысли. Для адресата сообщения они информативно не достаточны. Подобные высказывания предполагают прочтение с конкретизированным объектом, типа: *думаю о здоровье, о поведении, о каком-либо поступке, об учебе, о характере дочери.* (Для полной информативной достаточности такого высказывания должна быть также выражена валентность аспекта: *думать о здоровье дочери* — что именно: *что оно окрепло, ухудшилось* и т. п.). Н. Д. Арутюнова, имея в виду интенсиональные глаголы и, в частности, глаголы мысли, пишет: «Попадая в поле подобных глаголов, любая лексическая единица должна получить событийное прочтение. Конкретное дополнение при таком глаголе представляет пропозицию, для восстановления которой иногда бывает необходимо заполнить семантическую лакуну, создаваемую привычным эллипсисом» (Арутюнова 1976, с. 128).

Валентности глагола деривационно реализуются образуемыми от него существительными, прилагательными и глаголами. По нашим наблюдениям, возможность реализации той или иной валентности

[6] См. об этом: Арутюнова 1976, с. 52.

[7] Расщепление валентности содержания отмечено Ю. Д. Апресяном (1974, с. 154).

производными определенной части речи зависит от того, как эта валентность у производящего глагола выражается в предложении: 1) словом, обозначающим конкретный физический предмет (предметная — субстанциональная — валентность), 2) предложением или его номинализацией (пропозитивная валентность), 3) наречием.

Отглагольные существительные, содержащиеся в словарях современного русского языка [8], мы рассмотрели с точки зрения того, каким глагольным актантам они соответствуют: предметным или пропозитивным. Обнаружилось следующее. Существительные, образованные по моделям лексической деривации, соответствуют, как правило, только предметным актантам. Это слова со значениями: ‘субъект действия или состояния’ (*бегун*, *регулировщик*, *житель*); ‘объект действия’ (*изгнанник*, *курево*); ‘результат действия’ (то, что возникло в результате действия: *отпечаток*, *царапина*); ‘побочный результат действия, остаток’ (*опилки*, *огрызок*); ‘орудие действия’ (*колун*, *выключатель*); ‘место действия’ (*читальня*, *купальня*). По моделям лексической деривации не образуется названий объекта от глаголов, предполагающих пропозитивный объект (*хлопочу → об отставке*, *приказываю → наступать*, *обещал → приехать*), названий орудия — от глаголов с пропозитивной орудийной валентностью (*убеждать → фактами*, *грозить → войной*, *оскорблять → двусмысленными намеками*).

Всегда пропозитивна валентность ‘мотивировка действия’: *хвалить за сообразительность*, *ругать за медлительность*, *награждать за храбрость*; аналогично глаголы: *осуждать*, *упрекать*, *уважать*, *любить* (*за что*). Среди отглагольных существительных нет слов со значением ‘мотивировка действия, названного производящим глаголом’. Таким образом, возможность образования существительного по модели лексической деривации зависит не только от наличия у глагола соответствующей валентности, но и от того, какими лексическими категориями она выражается в предложении: словами с предметным или пропозитивным значением.

От интенсиональных глаголов не образуются существительные, соответствующие валентности объекта — компоненту расщепления валентности содержания (на объект и аспект). В роли словообразовательного запрета в этом случае выступает не сам факт несамостоятельности валентности, а семантическая природа расщепляемой валентности. Валентности — компоненты расщепления субстанциональной валентности могут быть словообразовательно выра-

[8] Были обследованы следующие словари: Словарь современного русского литературного языка, т. I—XVII. М.; Л., 1948—1964; Словарь русского языка, т. I—IV. М., 1957—1961; *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1981; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова, т. I—IV. М., 1935—1940; *Тихонов А. Н.* Школьный словообразовательный словарь. М., 1980; Грамматика словообразовательных гнезд / Под ред. П. А. Соболевой и Е. Л. Гинзбурга (рукопись). Раздел «Отглагольные гнезда». Автор И. В. Альтман.

жены как имя существительное. Так, имеются существительные, реализующие компонент расщепления объектной валентности (на общее обозначение объекта и обозначение места приложения действия в пределах этого объекта): *Собака укусила мальчика за ногу*; *котенок оцарапал ребенку руку*; слова типа *укус*, *царапина* соответствуют второму компоненту расщепления объектной валентности. У глаголов типа *клевать*, *кусать*, *жалить* семантическая валентность субъекта расщепляется на общее обозначение субъекта (синтаксическая валентность субъекта) и на обозначение органа субъекта, непосредственно участвующего в действии (синтаксическая валентность орудия): *Не могу кусать этим зубом.* Такие слова, как *клюв*, *жало* соответствуют второму компоненту расщепления субъектной валентности. Возможно и дифференцированное наименование обоих компонентов расщепления: *клевака — клюв.*

Примечание. Интересно в связи с этим отметить, что в кодифицированном литературном языке редки (глотка, резцы, пищевод) наименования частей тела человека по функции. Просторечные вульгарные названия: *дыхало* 'горло', *нюхало* 'нос', *хлебало*, *хапало* 'рот', *гляделки* 'глаза' — являются вторичными экспрессивными номинациями. В то же время наименования по функции определенных органов животных, насекомых представляют собой полноправное и часто единственное обозначение. См.: *жало*, *клюв*, *рыло*, *бивни*, *плавник*, *щупальца* 'орган осязания и хватания у насекомых и некоторых животных' . . . *дыхало* — 'отверстие для дыхания у кита и сродных с ним морских животных'; *жвалы* (*жевать*) 'верхние, передние челюсти у членистоногих животных (насекомых и ракообразных)' [9].

Пропозитивные валентности транспонируются в существительные, образованные по моделям синтаксической деривации: названия отвлеченного действия, субстантиваты прилагательных и причастий. Поскольку имя существительное — часть речи, для которой первична субстанциональная семантика, пропозитивная валентность может быть транспонирована в имя существительное только через посредство значения (и соответствующей формы) действия или признака [10]. Валентность содержания транспонируется в существительные, образованные по моделям названия отвлеченного действия: *замысел*, *вымысел*, *догадка*, *загадка.* Значительная часть существительных, соответствующих валентности содержания представляет собой вторичное значение названия отвлеченного действия: *решение проблемы — объявил свое*

---

[9] Толкования даются по словарям С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова.

[10] Наши наблюдения согласуются с результатами исследования И. Б. Шатуновского в области отсубстантивного словообразования: смысл (сигнификат) предикатных существительных регулярно транспонируется в чистый предикат — глагол, тогда как значение идентифицирующего существительного не может быть непосредственно транспонировано в признаковое слово. См.: Шатуновский 1983, 11.

решение. Аналогично: *приказ*, *желание*, *пожелание*, *просьба*, *обещание*, *клятва*. Валентность объекта — компонент расщепления валентности содержания (на объект и аспект) транспонируется в субстантиваты прилагательных и причастий: *непонятное*, *запретное*, *требуемое*, *обещанное*, *желаемое*. Известно, что и субстанциональная валентность (например, объектная валентность глаголов конкретного физического действия) регулярно выражается как вторичное значение названия отвлеченного действия (*укус*, *разрез*, *еда*) [11] или как субстантиват прилагательного *жареное*, *варёное*, *солёное*. Однако это лишь частные случаи выражения субстанциональной валентности. Для пропозитивной валентности характерны только названные способы выражения именем существительным.

На фоне общей тенденции составляют исключение слова *раздражитель*, *возбудитель*, *вдохновитель*, *мучитель*, *помощник*: они образованы от глаголов, субъектная валентность которых может быть пропозитивной (*ее советы помогли мне*, *хлопанье дверей раздражает*, *мучают головные боли*). Существование таких производных имеет объяснение. В позиции субъекта у этих глаголов наряду с пропозитивной лексикой регулярно употребляются названия лица. А для названий лица-антропонимов характерна семантическая двойственность: они могут входить в оба класса существительных: с предметным значением и с событийным значением; в тексте названия лица идентифицируются то с конкретной, то с событийной лексикой. «Зона слабого различения двух наиболее ясно и определенно противопоставленных категорий возникает благодаря тому, что человек воспринимается одновременно и как «предметная» (физическая, субстанциональная) и как действующая сущность, фигурируя то в статическом, то в динамическом аспекте» (Арутюнова 1976, 148).

Эта семантическая двойственность субъектной валентности (у глаголов определенной семантики) получает отражение в словообразовании. С одной стороны, транспонирование этой валентности в существительные, образованные по модели лексической деривации, возможно: имеются слова *раздражитель*, *возбудитель*, *вдохновитель*, *мучитель*, *помощник*, и это обусловлено (и «разрешено») субстанциональной сущностью валентности. С другой стороны, такие производные в русском языке очень малочисленны (при этом событийное значение имеют только *возбудитель*, *раздражитель*, потенциальное *успокоитель*, в остальных — реализовано значение лица). Большинство глаголов с аналогичной валентностью таких существительных не образует; нет например, названий субъекта от глаголов *волновать*, *беспокоить*, *удивлять*, *радовать*, *расстраивать*, *трогать*, *умилять*, *изумлять*, *восхищать*, *мешать* (прилагательные, характеризующие субъект действия, от этих глаголов

[11] Об актантных значениях у nomina actionis см.: Апресян 1974, с. 193—200; Ермакова 1977, с. 25—26.

образуются, см. ниже). В этом факте проявляется п р о п о з и т и в н а я сущность рассматриваемой валентности.

П р и л а г а т е л ь н ы е отражают валентности производящего глагола более свободно, чем существительные [12]. Они реализуют как субстанциональные валентности, так и пропозитивные. При этом прилагательные посредством своей собственной валентности отражают семантическую природу — субстанциональную или пропозитивную — реализуемой валентности производящего глагола. Прилагательные, реализующие пропозитивную валентность, сочетаются со словами абстрактной семантики. Прилагательные же, реализующие субстанциональную валентность, сочетаются со словами конкретной семантики [13]. Ср., например, прилагательные, соответствующие субъектной валентности глагола: *сообразительный ребенок*, *скрытный*, *бережливый человек*, *пахучий цветок*, но: *возмутительный поступок*, *поразительное невежество*; *обидный*, *оскорбительный намек*, *унизительное положение*, *потрясающее известие*, *волнующее событие*. Прилагательные, соответствующие объектной валентности: *колотый сахар*, *заварной крем*, *отрывной календарь*, но: *нежелательный результат*, *позволительная вольность*, *непростительный поступок*, *продуманный ответ*.

П р и м е ч а н и е. Если та или иная валентность глагола имеет неодинаковую интерпретацию на семантическом и синтаксическом уровнях, то прилагательное, реализующее эту валентность, образуется по модели, которая соответствует семантической интерпретации. Так, например, прилагательные *несгораемый*, *неувядаемый*, *непромокаемый*, хотя и соответствуют синтаксической субъектной валентности производящих глаголов ('такой, который не сгорает, не увядает, не промокает'), образованы по модели, свойственной прилагательным, отражающим объектную валентность (суф. *-ом/-им*), поскольку в данном случае синтаксический субъект соответствует семантическому пациенсу [14] — реалии, которая подвергается, действию (а не производит действие) — *гореть*, *промокать*, *увядать*. От безличных глаголов, обозначающих состояния человека, могут быть образованы прилагательные, характеризующие субъект состояния (при отсутствии синтаксической валентности субъекта); например: *ему везет* → *он везучий*. Тип прилагательных, образуемых от глаголов состояния,

---

[12] Однако п о ф о р м е существительные выражают валентности производящего глагола более дифференцированно, чем прилагательные. Как у существительных, так и у прилагательных имеются словообразовательные типы, специализированные на дифференцированном выражении субъекта и объекта, у существительных также — орудия и места действия. У прилагательных же разграничение орудийной и локальной валентностей отсутствует, обе они выражаются прилагательными со значением 'такой, который предназначен для действия' ср., например: *вязальный*, *плавательный*.

[13] Эта особенность сочетаемости прилагательных была отмечена Н. Д. Арутюновой (1976, с. 157—159).

[14] О случаях, когда формальное подлежащее соответствует фактическому пациенсу, с которым что-то случается, происходит, см., например: Апресян 1974, с. 23.

зависит от одушевленности/неодушевленности, субъекта: если это состояние человека, то прилагательное образуется по типу, характерному для субъектных прилагательных; если же это состояние предмета, то прилагательное образуется по типу объектных.

Если у глаголов с пропозитивными валентностями возможности образования существительных значительно ограничены, то возможности образования прилагательных у глаголов с предметными и пропозитивными валентностями в принципе одинаковы. Однако представлены прилагательные у глаголов с пропозитивными валентностями гораздо шире, чем у глаголов с предметными валентностями [15], причем на всех ступенях деривации. Перед нами интересная особенность словообразовательной системы: действует принцип компенсации, обеспечивающий относительное равенство общего объема производных в СП и шире — в гнездах у глаголов с пропозитивными и предметными валентностями.

Отглагольные глаголы деривационно реализуют валентности субстанциональные, пропозитивные и валентности, выражающиеся в предложении наречиями. Например, глаголы со значением дистрибутивности могут отражать как субстанциональную валентность производящего глагола, так и пропозитивную: *перепробовал все угощения* (субстанциональный объект), *передумал обо всем* (пропозитивный объект). Валентность объекта — как субстанциональная, так и пропозитивная — словообразовательно выражается также возвратными глаголами с отобъектным значением (субъектом действия возвратного глагола становится объект действия исходного глагола, см.: Н. А. Янко-Триницкая 1962); при этом возвратные глаголы с активным значением ‘качаться, шататься’ возможны только в соответствии с субстанциональным объектом; пропозитивный объект — словообразовательно реализуется возвратными глаголами с пассивным, страдательным значением: *На собрании решается вопрос о. .*; *Это мыслится как исходное положение*; *Эта теорема понимается учениками с трудом.*

Только глаголами словообразовательно выражается валентность аспекта (компонент расщепления валентности содержания, соответствует реме предложения, реализующего валентность содержания, т. е. логическому предикату): *думать* → *над названием для статьи* (объект — «название для статьи», аспект — «создать объект») → *придумать название для статьи*; *Гадаю, что она про меня думает* (объект действия *гадать* — «мысли определенного лица», аспект — «определить конкретное содержание объекта, т. е. какие именно мысли») → *угадать чью-нибудь мысль*. Аналогично:

[15] Количественное преобладание прилагательных у интенсиональных глаголов по сравнению с глаголами конкретного физического действия обусловлено также следующим. У интенсиональных глаголов блок прилагательных в значительной степени пополняется адъективированными причастиями (*обдуманный*, *продуманный*, *недодуманный ответ*). Для глаголов же конкретного физического действия это не характерно. См.: Калакуцкая 1971, с. 43—53.

Гадать, чтобы он хотел получить в подарок → *угадать желание.* Аспектная валентность глаголов мысли словообразовательно реализуется также глаголами со значением 'повторно, заново, иначе совершить действие': *думать* (*намереваться*) → *передумать*, *решать* (*что делать*) → *перерешить*. При этом содержание аспектной валентности меняется на противоположное, тогда как содержание объектной валентности не изменяется. *Думаю поехать за город*: объект — «(потенциальная) поездка (за город)», аспект — «совершить (поездку)» → *передумал ехать за город*; объект — тот же самый. Содержание аспектной валентности изменилось: «не совершать (поездки)».

Валентности производящего глагола, предполагающие признак действия, выражающиеся в предложении наречиями, словообразовательно реализуются только глаголами.

Векторная валентность (сочетаемость глагола с пространственными наречиями типа *вверх*, *внутрь*, *вокруг*, *снизу*) деривационно реализуется глаголами, обозначающими пространственные модификации действия, названного производящим глаголом (это слова типа *вбежать*, *вложить*, *выбежать*, *вытрясти что-либо откуда-либо*, *объехать вокруг чего-либо*). Ряд пространственных модификаций отражает одновременно и векторную и объектную валентности производящего глагола. Это, например, глаголы со значением 'посредством действия, названного производящим глаголом отделить от объекта часть с краю, с конца' (*отрезать*, *откусить*), или глаголы со значением 'посредством действия, направленного вглубь предмета, преодолеть какой-либо пространственный предел' (*проклевать*, *прокусить*). Такие производные не могут быть образованы от глаголов, не имеющих объектной валентности.

Интенсиональные глаголы, в частности глаголы мысли, не имеют векторной валентности — с пространственными приставками в прямом значении они не сочетаются. В глаголах *обдумать*, *обсудить*, *разгадать*, *разрешить* (проблему), *присудить*, *примыслить* пространственные значения представлены в преображенном виде, как бы метафорично [16]. Глаголы *обдумать* и *обсудить* могут быть сопоставлены с производными типа *обкусать*, *обклевать*, *обмазать*, *объехать*, которые имеют словообразовательное значение 'направить действие вокруг или на все стороны объекта'. Однако *обдумать* и *обсудить* имеют не пространственное значение, а значение полноты действия, пространственное же значение как бы просвечивает сквозь его семантику, предстает в метафорическом виде. Подобно тому как появление абстрактного существительного в роли дополнения глагола с конкретно-физическим значением способно «дематериализовать» глагол (например: *проглотить обиду*) [17], сочетание интенсиональ-

[16] Ср. варьирование пространственных и логических значений у предлогов. См.: Никитина 1979.

[17] См.: Арутюнова 1976, с. 57.

ного глагола с приставкой, обладающей пространственным значением, «дематериализует» приставку (точнее — словообразовательное значение производного). Это характерно и для других интенсиональных глаголов, созданных с помощью пространственных приставок. Глаголы *разгадать* (тайну, причину чего-л.), *разрешить* (проблему) сопоставимы с производными типа *раскусить*, *разрезать*, *раскрыть*, которые имеют словообразовательное значение 'разъединить объект посредством действия'. Однако в отличие от последних *разгадать*, *разрешить* обозначают ситуацию, в которой не происходит реального разъединения объекта. Эти глаголы предполагают абстрактный (несубстанциональный) объект, имеющий ментальное существование и не способный подвергаться какому-либо механическому воздействию, в частности разъединению. Значение разъединения представлено в их семантике метафорично, как образ разъединения предмета с целью установления его содержимого.

Отсутствие пространственных модификаций у отдельных глаголов конкретного физического действия, с одной стороны, и у интенсиональных глаголов, с другой, — принципиально разные явления. Для первых — это исключение, тогда как для последних — закономерность. Если от отдельных глаголов конкретного физического действия не образуются те или иные пространственные модификации, то это объясняется имеющимся у них ограничением зоны воздействия на объект [18], слабой интенсивностью действия, физической природой объекта или же узуальными запретами. Отсутствие пространственных модификаций у интенсиональных глаголов объясняется тем, что ни само действие, обозначаемое ими, ни объект, не характеризуются пространственным параметром. Абстрактный объект (в отличие от субстанционального у глаголов конкретного физического действия) не может подвергаться перемещению, разъединению или созданию посредством соединения двух или более субстанций, не может быть локализован в пространстве относительно какого-либо ориентира (*под чем-либо*, *над чем-либо*).

Валентности степени интенсивности действия и меры выполнения действия словообразовательно реализуются производными глаголами, обозначающими количественные или, как их еще называют, квантитативные модификации действия. Это производные со значениями типа 'интенсивно, тщательно совершить действие' (*прогладить*, *продумать*), 'совершить действие не в должной мере' (*недоварить*, *недодумать*). Для иллюстрации сравним глагол *думать* (в процессуальном значении) с глаголами *полагать*, *считать* (*считаю, что он прав*). Глагол *думать* сочетается с наречиями меры: *много думал над этим*, *мало думал*, *недостаточно думал*. От него образуются количественные модификации: *продумать* (*ответ*), *недодумать*, *подумывать*. Глаголы же *полагать*, *считать* не сче-

[18] Подробнее см. об этом: Морозова 1981.

таются с наречиями меры. Невозможно: **много считаешь, что он неправ*; **мало полагаешь*, **недостаточно полагаешь*. От этих глаголов не образуются количественные модификации действия.

Темпоральные модификации действия — глаголы со значением начала, окончания, протекания действия в течение определенного времени соответствуют сочетаемости производящего глагола с наречиями *долго*, *быстро* и с фазисными глаголами *начать*, *кончить*. Так, глагол *мыслить* не допускает темпоральной конкретизации действия, от него не образуются темпоральные модификации действия.

Итак, словообразовательная реализация той или иной валентности глагола производным определенной части речи предопределяется семантической природой — субстанциональной/несубстанциональной — этой валентности. В существительные, образованные по моделям лексической деривации, транспонируются только субстанциональные валентности (исключения единичны). Такие валентности транспонируются также в существительные, образованные по моделям синтаксической деривации, в прилагательные и глаголы. Пропозитивные валентности транспонируются в существительные, образованные по моделям синтаксической деривации, в прилагательные и глаголы. Только в глаголы транспонируются валентности, предполагающие признак действия, синтаксически выраженные как наречия. Таким образом, словообразовательные средства, предназначенные для предикатной семантики, используются и для выражения субстанциональной семантики. Обратное же для языка не характерно. Словообразовательные средства, предназначенные для субстанциональной семантики, как правило, не используются для выражения предикатной семантики.

Разный тип валентностей у глаголов конкретного физического действия, с одной стороны, и интенсиональных глаголов, с другой, обусловливает значительные различия в структуре СП глаголов этих классов.

У интенсиональных глаголов блок существительных СП развит гораздо менее, чем у глаголов конкретного физического действия. В СП интенсиональных глаголов нет существительных, соответствующих объектной валентности, нет существительных со значением места, орудия, средства.

Адъективный блок, напротив, наиболее широко представлен в ТСП интенсиональных глаголов.

Очень существенно различие в структуре глагольных блоков сравниваемых слов. У интенсиональных глаголов нет пространственных модификаций действия, тогда как у глаголов конкретного физического действия это самые многочисленные производные. От интенсиональных глаголов не образуются также возвратные глаголы с отобъектным активным значением (*качаю дочку на качелях* → *дочка качается на качелях*), взаимно-возвратные глаголы, модификации действия по кратности: многократные и однократные гла-

голы. Вместе с тем у интенсиональных глаголов имеются производные, которые невозможны для глаголов конкретного физического действия — глаголы, словообразовательно реализующие аспектную валентность. Например: *Думать над названием для статьи → придумать название для статьи.*

Характерной особенностью СП пропозитивно-актантных глаголов является наличие производных глаголов, имеющих нестандартное соотношение с производящими глаголами. Такие производные не могут быть отнесены к определенному словообразовательному типу: *гадать — догадаться, думать — одуматься, мыслить — размышлять.* Глаголу *догадаться* по словообразовательному значению наиболее близки слова типа *додуматься, дождаться, дозваться.* Однако глаголу *догадаться* нельзя приписать значения, свойственного этим глаголам: 'достигнуть определенной цели в результате интенсивного или длительного совершения действия, названного производящим глаголом'. *Догадаться* не предполагает ни длительного, ни интенсивного совершения действия *гадать.* Ср., можно: *думал-думал и додумался; ждал-ждал и дождался,* но странно: *гадал-гадал и догадался.* Производное *одуматься* соотносимо с производными типа *оговориться, ослышаться, оступиться,* однако оно не может быть истолковано в соответствии со словообразовательным значением этих глаголов 'неверно, ошибочно, неудачно совершить действие, названное производящим глаголом'. Лексическое значение глагола *одуматься* обратное: 'признав действие, названное производящим глаголом неудачным, ошибочным, не совершать его'. Производные *размышлять, размыслить* по семантике могут быть соотнесены с производными, имеющими значение 'выполнить действие тщательно, во всех подробностях' (типа *рассмотреть, разглядеть, разгладить*). Однако в отличие от последних, о глаголах *размышлять, размыслить* нельзя сказать, что они обозначают действия большей тщательности, большей полноты, чем действие, названное производящим глаголом. Семантика рассмотренных производных в высшей степени фразеологична вследствие нестандартности, уникальности их семантического соотношения со своими производящими. Для глаголов конкретного физического действия это не характерно.

Предметность или пропозитивность валентностей глагола влияет не только на структуру его ТСП, но и на структуру его словообразовательного гнезда. Так, глубина гнезда (количество ступеней деривации) у глаголов конкретного физического действия и интенсиональных глаголов определяется разными факторами. У глаголов конкретного физического действия наибольшая глубина гнезда определяется тем, имеются ли в этом гнезде пространственные модификации действия, возвратные глаголы с отобъектным активным значением и однократные глаголы. Глаголы этих словообразовательных категорий обладают наибольшей словообразовательной активностью на всех ступенях деривации. При этом от глаголов с про-

странственными значениями продуктивно образуются имена, а от возвратных и однократных глаголов — глаголы. По данным словарей, основная масса актантных существительных и прилагательных, образованных от производных глаголов, восходит к пространственным модификациям действия [19]. Среди производных глаголов только пространственные модификации способны деривационно выражать валентность материала (см., например: *обложка*, *обертка*, *обмотка*, *замазка*). От пространственных модификаций, кроме того, образуются: 1) возвратные модификации, 2) дистрибутивные модификации, 3) модификации по кратности, 4) количественные модификации, 5) темпоральные модификации действий. Отметим, что ни от количественных, ни от темпоральных модификаций действия образование пространственных модификаций невозможно. От возвратных глаголов с отобъектным активным значением можно образовать глаголы шести словообразовательных макрокатегорий: 1) пространственные модификации действия; 2) модификации по кратности — однократные глаголы; 3) дистрибутивные модификации (предполагающие множество субъектов, типа *качаться* → *все дети перекачались на качелях*); 4) количественные модификации; 5) темпорально-количественные модификации — глаголы со значениями: 'совершать действие, названное производящим глаголом, время от времени с небольшой интенсивностью', типа *качать* → *качаться* → *покачиваться*, аналогично: *потряхиваться*, *пошатываться*, 'совершить действие в достаточной степени или в избытке, дойти до состояния удовлетво-

---

[19] Объясняется это следующим: деривационные возможности производных глаголов так же, как и непроизводных, предопределяются составом их семантических и синтаксических валентностей. Однако реализуемость этих возможностей у производных глаголов зависит от большего количества условий, чем у непроизводных глаголов. У последних словообразовательная невыразимость определенной валентности наблюдается главным образом в трех случаях: 1) в существительные не транспонируется пропозитивная валентность; 2) информация о содержании данной валентности является компонентом лексического значения глагола (выражается им самим); 3) данная валентность в русском языке вообще деривационно не выражается (это, например, параметрические валентности: *срока*, *размера*). У производного же глагола определенная валентность не выражается еще и в том случае, если ее содержание совпадает (т. е. предполагает тот же класс реалий) с содержанием этой валентности у производящего глагола. Так, ни один из глаголов, образованных от *клевать*, не дает названий орудия действия, поскольку содержание орудийной валентности (*клюв*) у них не отличается от содержания этой валентности у исходного глагола.

Изменение содержания валентностей субъекта, объекта, орудия наиболее характерно для пространственных модификаций действия. При этом бóльшая часть существительных со значением объекта восходит к глаголам, предполагающим разъединение объекта. Это связано с тем, что для таких глаголов обязательно изменение содержания объектной валентности производящих глаголов: в результате данных действий появляется новая реалия или реалия, обладающая специфическим отличительным признаком.

Темпоральным, количественным модификациям действия изменение содержания валентностей производящего глагола не свойственно.

рения или перенасыщения в результате длительного или интенсивного совершения действия' (*накачаться на качелях*); 'не спеша, длительно совершать действие, направляя его то в одну сторону, то в другую' (*раскачиваться*); 6) темпоральные модификации. От однократных глаголов можно образовать глаголы трех словообразовательных макрокатегорий: пространственные, возвратные и количественные модификации действия. Таким образом глаголы с пространственными значениями, возвратные и однократные глаголы, сами обладая высоким деривационным потенциалом, порождают слова, которые в свою очередь также отличаются высокой порождающей способностью, благодаря чему и обеспечивается большая глубина гнезда. В гнездах глаголов с пропозитивными валентностями названные словообразовательные категории отсутствуют. Однако прилагательные у них на всех ступенях деривации, как это уже отмечалось выше, представлены гораздо шире, чем у глаголов с субстанциональными валентностями (и в частности, это касается прилагательных со значением 'такой, который склонен к действию', обладающих наибольшим деривационным потенциалом). Вместе с тем словообразовательный потенциал прилагательных, по нашим наблюдениям, подвергается ограничению со стороны ступени деривации (уменьшение деривационного потенциала по мере удаления от вершины гнезда) в наименьшей степени по сравнению с существительными и, особенно, глаголами. Именно этим и объясняется, что глаголы с пропозитивными валентностями не уступают глаголам с субстанциональными валентностями по глубине гнезда. В этом можно видеть тот же принцип компенсации, на который мы уже указывали.

Наблюдения, приведенные выше, подтверждают реальность семантико-синтаксических различий между глаголами конкретного физического действия и интенсиональными глаголами [20] и показывают, что эти различия релевантны для словообразования: для структуры словообразовательных парадигм глаголов и для структуры их однообразовательных гнезд.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю. Д. Современная лексическая семантика. II. Синонимические средства языка и правила перефразирования. — Русский язык в национальной школе, 1972 № 3.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974.

[20] Ср.: Одна из задач, поставленных на конференции «Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. Типологические методы в синтаксисе разносистемных языков» — установить, достаточно ли оснований для выделения конструкций с предикатными актантами в качестве «естественного» объекта семантико-синтаксического исследования, см. об этом: Материалы конференции (Л., 1981), с. 11. Думается, что материал, рассмотренный в настоящей статье, может служить одним из аргументов в пользу положительного ответа на этот вопрос.

Арутюнова Н. Д. Положение имен лица в русском синтаксисе. — Изв. АН СССР, 1975, т. 34, № 4.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976.
Богуславский И. М. О соотношении семантических и синтаксических свойств некоторых ограничительных частиц в русском языке. — Автореф. канд. дис. М., 1979.
Гак В. Г. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпретация глубинных и поверхностных структур). — В кн.: Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М.: Наука, 1969.
Гинзбург Е. Л. Синтаксическая и лексическая деривация. — Актуальные проблемы русского словообразования. Самарканд, 1972.
Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М.: Наука, 1979.
Земская Е. А. О парадигматических отношениях в словообразовании. — Русский язык: вопросы его истории и современного состояния. М.: Наука, 1978.
Ермакова О. П. Проблемы лексической семантики производных и членимых слов. — Изв. АН СССР, 1981, т. 40, № 2.
Калакуцкая Л. П. Адъективизация причастий в современном русском литературном языке. М.: Наука, 1971.
Кацнельсон С. Д. О грамматической категории. — Вестник ЛГУ, 1948, № 2.
Моровова Т. С. Структура словообразовательных парадигм глагола и ступенчатый характер русского словообразования. — Проблемы структурной лингвистики 1978, М.: Наука, 1981.
Никитина С. Е. О семантическом варьировании русских предлогов. — В кн.: Семантическое и формальное варьирование. М.: Наука, 1979.
Соболева П. А. Словообразовательная полисемия и омонимия. М.: Наука, 1980.
Типологические методы в синтаксисе разносистемных языков. Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. Материалы конференции. Л., 1981.
Шатуновский И. Б. Проблемы словообразовательной транспозиции. — Автореф. канд. дис. М., 1982.
Холодович А. А. Залог. — В кн.: Категория залога. (Материалы конференции). Л.: Наука, 1970.
Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.
Яруллина Т. С. Словообразовательные возможности русских непроизводных глаголов (К проблеме взаимодействия грамматики и словообразования). — Канд. дис. М., 1980.

Buzássyová K. Semantická štruktura slovenských deverbativ. Bratislava, 1974.
Tesnière L. Eléments de syntaxe strukturale. Paris, 1959.

Е. Л. ГИНЗБУРГ

КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД РУССКОГО ЯЗЫКА С ПЕРВООБРАЗНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ. I.

Кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть рассматривает и наблюдает минимумы и максимумы противоречий и противоположностей.

Дж. Бруно

То условие, которое соблюдается в самых крайних явлениях одного ряда и без которых это явление переходит в другой ряд, есть условие необходимое и достаточное для конструктивного принципа данного ряда. . . Конструктивный принцип познается не в максимуме условий, задающих его, а в минимуме.

Ю. Н. Тынянов

1.1. Необходимость в классификации словообразовательных гнезд, далее С-гнезд *, возникает, как только мы задаемся вопросом о словообразовательных мотивах распределения лексических единиц по С-гнездам и о роли связей между С-гнездами в изменениях гнезд, в частности в усложнении или, наоборот, в упрощении состава и организации, в распаде ранее целостных комплексов слов или, наоборот, в их объединении.

Классификация С-гнезд предполагает, что они обладают специфическими свойствами. Их обнаружение приписывает С-гнездам статус единиц, несводимых к необходимым составляющим, словообразовательным парам и принципам их упорядоченности. В том, что это так, убеждают факты полимотивированности. Если С-гнездо — единица языка, то определена она не только внутренней структурой, но также, и это может быть важнее, связями с другими С-гнездами, отражающими внутреннюю структуру и одновременно ее задающими, связями, которые обнаруживаются в индивидуальной и групповой различимости С-гнезд.

1.2. Для описания словообразовательных связей между однокоренными в составе Л-гнезда обычно считают необходимым знать: 1) однокоренные слова, принадлежащие сфере действия словообразовательных связей, или границы С-гнезда; 2) деление этих слов на первообразные и производные; 3) деление этих слов на производные и производящие; 4) распределение слов по словообразовательным па-

* С-гнездо — это совокупность словообразовательных связей между единицами из одного и того же лексического гнезда, Л-гнезда, состоящего из однокоренных слов или лексико-семантических вариантов слов, связанных живыми лексическими отношениями.

рам «производное, производящее» и особенно направление производности в этих парах; 5) упорядоченность словообразовательных пар, которая позволила бы для любого слова из гнезда связать его с первообразным с помощью минимального числа посредников. Все ли эти сведения всегда необходимы при характеристике устройства С-гнезда и его связей с другими С-гнездами, т. е. его внутренней и его внешней структур? Допустим, исследователь не располагает сведениями последних двух типов. Что он мог бы сказать о продуктивности/непродуктивности С-гнезд, о их банальности или экзотичности, о принадлежности центру или периферии их организации, о классах эквивалентных С-гнезд и сопряженных с ними преобразований, о единственности или неединственности класса, которому принадлежит каждое гнездо, и описания этого класса, о представленности объектами анализируемой совокупности всех мыслимых классов или наличии в классификации лакун, о естественности классификации, в частности о равномерности или неравномерности распределения объектов по классам и т. п.?

Классификация С-гнезд в силу их принадлежности словообразовательной системе предполагает фундаментальными — при экстенсиональном подходе — представление об упорядоченной словообразовательной паре «производное, производящее», а при интенсиональном подходе — представление о способах задания отношений производности, которым отвечают исследуемые пары. Если это верно, то систематизировать гнезда можно, ориентируясь на свойства либо членов пар, производных или производящих, либо пар в целом, при этом на отправном этапе описания разнообразие свойств целесообразно ограничить частеречными свойствами. Иначе говоря, разумно начать с ответов на вопросы: 1) каким частям речи принадлежат производные? 2) каким частям речи принадлежат производящие? 3) какие деривационные шаги, или частеречные типы отношений производности, представлены в С-гнезде? 4) какие последовательности деривационных шагов, или деривационные структуры, представлены в С-гнездах?

Типология языковых явлений и самих языков может быть основана на общности языкового материала (такова генеалогическая классификация) или на общности строя (такова морфологическая классификация). Ответы на первые два вопроса определяют типологию С-гнезд первого типа, ответы на последние два вопроса — типологию С-гнезд второго типа. Легко видеть, что первые являются необходимой предпосылкой для последних.

Оправдано ли ограничение анализируемых свойств частеречными свойствами? Да, так как они являются минимальной и общезначимой формой существования производных, производящих и отношений производности. Только к ним сводимы отличия результатов транспозиции от производящих, а такие пары составляют значительную часть словообразовательной системы.

1.3. Ответы на каждый из поставленных вопросов легко обобщить

в виде таблиц. Каждая строка в них — словообразовательная характеристика Л-гнезд некоторого класса. Первообразное приписывается строке в качестве одного из ее имен. Каждый столбец может быть интерпретирован как бинарный дифференциальный признак, в зависимости от вопроса, ответы на который описывает таблица, ими могут быть части речи производных и производящих, деривационные шаги или, наконец, деривационные структуры членов гнезд, если учитывается способ их соотнесения с первообразными.

1.4. Ниже представлены и анализируются описания С-гнезд, обобщающие ответы на первые два вопроса. В других частях статьи будут изучены ответы на третий и четвертый вопросы. Материал всюду тот же самый — Л-гнезда с первообразными прилагательными из первой тысячи слов современного русского литературного языка, упорядоченных по убыванию частоты (данные заимствованы из «Частотного словаря русского языка», изданного под ред. Л. Н. Засориной). Нетрудно убедиться, что этому списку принадлежат качественные и относительные, порядковые и местоименные прилагательные: *большой*, *социальный*, *первый*, *который*, во всех случаях слова, первичная синтаксическая функция которых — быть зависимым членом атрибутивных синтагм. Есть здесь слова со связанными: *огромный*, *громадный* и свободными основами: *большой*, *новый*; слова, первообразность которых бесспорна: *великий*, *молодой* и слова, для которых этот статус не столь или совсем неочевиден: *особый*, *теплый*, *близкий*, *необходимый*. Есть гнезда, границы которых четко очерчены, и гнезда, у которых они размыты, ср. *молодой*, *младой* и *младенец*, с одной стороны, *молодой* и *молодец*, с другой. Среди производных бывают слова как с повторяющимися аффиксами, так и с унификсами, ср. *беленький* и *белесый*, слова, бесспорно связанные отношениями производности: *готовый* и *готовенький*, и слова, для которых это не столь очевидно: *готово* и *наготове* или *изготовка* и *наизготове*, слова реальные и слова потенциальные: *готовность* и *готовое*, слова, принадлежащие к одному: *подготовленность* или к нескольким отношениям производности: *неподготовленность*. Короче говоря, есть все основания думать, что этот способ отбора материала обеспечивает достаточную представительность выборки первообразных. Подобный, в известном смысле слова формальный подход делает соизмеримыми как описания систем С-гнезд от первообразных разных частей речи в одном языке, так и описания систем С-гнезд от первообразных одной и той же части речи в разных языках. Он позволяет, наконец, рассмотреть, как меняется состав С-гнезд, их классов и связей между ними с изменением частоты и ранга первообразных.

2.1. Классификация С-гнезд по частям речи производных (T_1) описана в табл. 1. Строки соответствуют классам С-гнезд. Члены одного и того же класса объединяет идентичность набора частей речи, которым принадлежат производные. Столбцы соответствуют частям речи производных: глаголу (Г),

существительному (С), прилагательному (П) или наречию (Н). Знак «+» на пересечении *к*-той строки и *р*-того столбца фиксирует наличие производных *р*-той части речи в гнездах *k*-того класса, знак «—» — отсутствие там таких производных.

Таблица 1

Классы С-гнезд с производными	Г	С	П	Н	Пример С-гнезда [1]
А	—	—	—	—	*каждый*
Б	—	—	+	—	*который*
В	—	—	—	+	*другой*
Г	—	—	+	+	*прекрасный*
Д	—	+	—	—	*знаменитый*
Е	—	+	+	—	*способный*
Ж	—	+	—	+	*
З	—	+	+	+	*всякий*
И	+	—	—	—	* [2]
К	+	—	+	—	*
Л	+	—	—	+	*иной*
М	+	—	+	+	*
Н	+	+	—	—	* [3]
П	+	+	+	—	*нужный*
Р	+	+	—	—	*подобный*
С	+	+	+	+	*близкий*

Таблица 2

Классы С-гнезд с производными	Г′	С′	П′	Н′	Пример С-гнезда [1]
А°	—	—	—	—	*каждый*
Б°	—	—	+	—	*другой*
В°	—	—	+	+	*
Г°	—	+	+	—	*разный*
Д°	—	+	+	+	*похожий*
Е°	+	—	+	—	*подобный*
Ж°	+	—	+	+	*иной*
З°	+	+	+	—	*общий*
И°	+	+	+	+	*близкий*

[1] Указываются только первообразные. Не рассматривались гнезда с притяжательными местоимениями *мой, твой, его, ее, наш, ваш, их* — первообразными для них являются указательные *се, то, это*; с местоимениями *такой* и *какой*, производными от полифункциональных *так* и *как*, гнездо со словами *свой* и *собственный*, мотивированными возвратным местоимением *себя*.

[2] По нашим материалам к классу **И** могло бы быть отнесено только одно и притом нерегулярное С-гнездо, организующее непопавшие в «Частотный словарь» Л. Н. Засориной *соловый, соловеть, осоловеть, посоловеть, осоловелый, посоловелый*. Если допустить, что первообразное в этом лексическом гнезде не *соловый*, а *соловеть*, С-гнездо было бы регулярным по структуре, ср. *никнуть — никлый — поникнуть/поникать, приникнуть/приникать, сникнуть/сникать — пониклый/поникший, сникший*.

[3] Все С-гнезда этого класса отличает низкочастотность первообразных, каждому из С-гнезд соответствует одно и только одно Л-гнездо. Нерегулярных структур среди них нет. Речь идет о гнездах с прилагательными *беременная* (*беременность, беременеть, забеременеть*), *постылый* (*постылость, постыть, постылеть, опостылеть*), *скоромный* (*скоромное, скоромник, скоромница, скоромниться, скоромничать, скоромить, оскоромиться, оскоромить*), *шелудивый* (*шелудивость, шелудиветь, ошелудиветь, зашелудиветь*), *яровой* (*яровые, яровое, ярь, яровина, яровище, яровинка, яровизатор, яровизация, яровизировать, яровизироваться*).

2.2. Распределение Л-гнезд по классам С-гнезд таково: **А** содержит С-гнезда с первообразными *каждый, любой*; **Б** — *который*; **В** — *другой, прочий*; **Г** — *прекрасный*; **Д** — *знаменитый*; **Е** — *известный, огромный, способный*; **З** — *большой, всякий, настоящий, необходимый, последний, социальный*; **Л** — *иной*; **П** — *нужный, голубой*; **Р** — *подобный, правый*; **С** — *белый, близкий, богатый, быстрый, важный, великий, веселый, второй, высокий, глубокий, горячий, готовый, добрый, долгий, дорогой, зеленый, красный, крупный,*

легкий, *лучший*, *малый*, *мелкий*, *милый*, *молодой*, *новый*, *общий*, *один*, *особый*, *первый*, *полный*, *похожий*, *простой*, *прямой*, *равный*, *разный*, *серьезный*, *синий*, *сложный*, *специальный*, *старый*, *темный*, *теплый*, *тонкий*, *тяжелый*, *хороший*, *целый*, *черный*, *чистый*, *чуждый*, *широкий*, *ясный*. Отметим, что Л-гнезда с *другой* (*другой*, *по-другому*) и с *прочий* (*впрочем*, *непрочь*) относятся к одному классу С-гнезд, а Л-гнезда с *другой* и с *иной* (*инакий*, *переиначивать*, *переиначиваться*, *по-иному*, *иначе*, *не иначе*) относятся к разным классам С-гнезд.

2.3. Обращает на себя внимание следующее.

1) Л-гнезда распределены по классам С-гнезд крайне неравномерно: с увеличением объема класса С-гнезд число равнообъемных классов падает по экспоненциальному закону; С-гнезда, в которых есть производные всех четырех частей речи четко противопоставлены С-гнездам, в которых нет производных хотя бы одной части речи. В 4-х классах из 11-ти представлено по одному Л-гнезду (**Г** — *прекрасный*, **Д** — *знаменитый*, **Л** — *иной*, **Б** — *который*).

2) Среди мыслимых классов С-гнезд число ненаблюдавшихся составляет меньше трети от общего их числа. Для трех из них логически дополнительные классы С-гнезд находим среди наблюдавшихся (логически дополнительными являются те классы С-гнезд X и Y, частеречная характеристика которых такова, что наличие в гнездах класса X слов части речи К влечет отсутствие производных этой части речи в С-гнездах класса Y, а отсутствие производных части речи Р в X, влечет наличие их в Y). Среди ненаблюдавшихся отмечена только одна пара дополнительных классов С-гнезд, ***Ж** и ***К**. Части речи производных относительно этих классов распределены так, что в одну группу входят прилагательное и глагол, а в другую — существительное и наречие. Эти классы частей речи связаны дизъюнктивно: П, Г $\vee$ С, Н. Можно предполагать, что отсутствие этих классов С-гнезд не является делом случая, что вызвано оно нарушением закономерностей взаимодействия частей речи производных в С-гнездах от первообразных прилагательных русского языка. Об этом говорят и факты типологии. Если сравнить описанное с аналогичными данными для английского языка, как они представлены Э. Жуковой, то окажется, что для английского специфично отсутствие С-гнезд без С, но с тождественным распределением Г и Н и дополнительным распределением П и Г, П и Н (классы ***Б** и ***Л**), а для русского — отсутствие С-гнезд с С, без П и дополнительным распределением Г и Н (классы ***Ж** и ***Н**). Общим для двух языков оказывается отсутствие С-гнезд без С, на совокупности которых определена система импликаций Н $\rightarrow$ П $\rightarrow$ Г (X $\rightarrow$ Y читается «Там, где X, там и Y, но не обратно»). Если же это не случайно, то искомые закономерности присущи прежде всего базисным классам С-гнезд, прямо противоположным нереализованным классам, поскольку все реализованные небазисные классы вычислимы по базисным, см. стр. 107.

3.1. Классификация С-гнезд по составу частей речи производящих ($Т_2$) представлена в табл. 2. Ее устройство аналогично устройству табл. 1.

3.2. Распределение Л-гнезд по классам таково: классу А° принадлежат гнезда с первообразными *каждый*, *любой*; классу Б° — *большой*, *другой*, *знаменитый*, *который*, *настоящий*, *необходимый*, *последний*, *прекрасный*, *прочий*, *социальный*; классу Г° — *известный*, *огромный*, *разный*, *способный*, *целый*; классу Д° — *всякий*, *похожий*; классу Е° — *голубой*, *красный*, *крупный*, *лучший*, *нужный*, *особый*, *подобный*, *правый*; классу Ж° — *быстрый*, *важный*, *веселый*, *дорогой*, *иной*, *легкий*, *мелкий*, *прямой*, *тонкий*, *хороший*, *широкий*; классу З° — *второй*, *горячий*, *готовый*, *зеленый*, *молодой*, *новый*, *общий*, *один*, *русский*, *синий*, *специальный*, *черный*, *чужой*; классу И° — *белый*, *близкий*, *богатый*, *великий*, *высокий*, *глубокий*, *добрый*, *долгий*, *красивый*, *малый*, *первый*, *полный*, *простой*, *равный*, *серьезный*, *сложный*, *старый*, *темный*, *теплый*, *тяжелый*, *чистый*, *ясный*. Как и в предыдущей классификации, гнезда с близкими по смыслу первообразными могут оказаться в разных классах. Так, гнезда с *другой* и с *прочий* принадлежат одному, а с *другой* и *иной* — разным классам С-гнезд. Взаимонеобходимость $Т_1$ и $Т_2$ при дифференциации гнезд видна хотя бы из того, что гнезда с *известный* и *разный*, в $Т_1$ принадлежащие разным классам, в $Т_2$ одного и того же класса.

3.3. Сравнивая эту классификацию с предыдущей, нетрудно убедиться, что обе они вместе воспроизводят оппозицию членов отношения производности, производного и производящего, оппозицию, где определяющим является производное.

1) Распределение Л-гнезд по классам характеризуется несравненно большей равномерностью. Классов, каждому из которых соответствовало бы одно-единственное Л-гнездо, нет.

2) В $Т_2$, в отличие от $Т_1$, почти полностью исчерпано мыслимое разнообразие классов С-гнезд. Единственное исключение — это класс *В° С-гнезд, где производящими являются только прилагательные и наречия. Таких гнезд нет. Логически дополнительный класс С-гнезд, где производящие — это только глаголы и существительные, для совокупности гнезд с первообразными прилагательными, естественно немыслим. Частеречные характеристики класса *В° таковы, что: 1) $П'=Н'$, 2) $Г'=С'$ и 3) $П', Н' \vee Г', С'$, так как отсутствие тех или иных теоретически мыслимых объектов можно связывать с тем, что некоторые свойства таких объектов вступают в противоречие с закономерностями строения совокупности наблюдаемых объектов и прежде всего тех, с которыми ассоциирована целостность системы, которой они принадлежат, ср. перечисленные свойства класса *В° со свойствами базиса $Т_2$, см. выше. Показательно, что, как и в предыдущем случае, число нереализованных возможностей системы существенно меньше числа реализованных. Важно, что их количественное соотношение может быть полезным для опре-

деления времени существования системы, если считать, что на начальных этапах ее существования число реализованных возможностей не больше числа нереализованных.

4.1. В системе всегда есть объекты, свойства которых таковы, что каждый можно рассматривать как значение определенной функции от некоторых других объектов в качестве ее аргументов. Мы будем говорить о множестве таких объектов — аргументов фиксированной совокупности функций — как о базисе системы, если оно 1) достаточно для попарной различимости всех характеристик всех изучаемых объектов и 2) является минимальным по числу компонентов. Поскольку относительно фиксированной совокупности функций небазисные объекты сводимы к базисным, свойства, присущие совокупности базисных объектов, должны быть признаны фундаментальными для системы в целом. Выделение базисов позволяет говорить о сложности системы, измеримой числом возможных для нее базисов. Со сложностью связана динамичность системы, способность к преобразованиям. Динамичность пропорциональна сложности, поэтому система с одним-единственным базисом может рассматриваться как нединамичная, т. е. по существу говоря, как квазисистема. Пример другой, более интересной, на наш взгляд, задачи. Каково минимальное разнообразие небазисных объектов, предполагаемое существованием базиса, каково минимальное состояние изучаемой системы?

Таблица 3

Классы С-гнезд	Части речи производящих			
	Г′	С′	П′	Н′
Г°	—	+	+	—
Е°	+	—	+	—

Рассмотрим анализируемые классификации С-гнезд относительно функций алгебры логики, таких, как конъюнкция, дизъюнкция, импликация и т. д.

4.2. Классификация С-гнезд по частям речи производящих T_2, получает статус системы благодаря возможности считать базисными классы **Г°** и **Е°** (табл. 3).

Классу **Г°** принадлежат С-гнезда с первообразными *огромный* (3-я сотня слов по убыванию частот), *известный*, *равный* (4-я), *целый* (5-я), *способный* (9-я), классу Е° — *нужный* (3-я), *красный*, *крупный*, *лучший* (4-я), *особый*, *подобный* (6-я), *правый* (7-я), *голубой* (10-я сотня).

Для базисных классов связи частей речи производящих таковы: П′ и Н′, Г′ и С′ связаны дизъюнктными оппозициями, а С′ и П′, Г′ и П′ — привативными оппозициями С′ → П′ и Г′ → П′, так что имеет место характеризующая этот базис, а вместе с ним и всю систему пропорция $Б^2$: Г′ : П′=С′ : П′ с опорным, естественно, П′.

О чем говорят эти результаты? О том, что за единственностью базиса — единство обсуждаемой совокупности С-гнезд, ориентированной производящими в их составе на семантические осно-

вания целостности и расчлененности фундаментальной для предложения предикативной синтагмы. Действительно, если обратиться к выражающим содержание базиса приватив ным оппозициям С′ → П′ и Г′ → П′, то нетрудно заметить, что конституирующими, маркированными членами в них являются существительное С′ и глагол Г′, первичные синтаксические функции которых — быть соответственно подлежащим и сказуемым предложения, субъектом и предикатом высказывания. Дизъюнкция С′ и Г′ выявляет расчлененность предикативной синтагмы. А каков смысл дизъюнкции П′ и Н′? Как и любая другая, предикативная синтагма предполагает семантическое согласование ее составляющих. Именно это, на наш взгляд, и фиксирует объединение в составе дизъюнкции П′ и Н′ морфологических категорий, первичная синтаксическая функция которых — быть идентификаторами соответственно подлежащего и сказуемого предложения, субъекта и предиката высказывания.

4.3. Классификация С-гнезд по частям речи производных $Т_1$, получает статус системы благодаря возможности рассматривать в качестве базисных классы **Г** и **Е** (табл. 4) или **Г** и **Л** (табл. 5).

Таблица 4

Классы С-гнезд	Части речи производных			
	Г	С	П	Н
Г	—	—	+	+
Е	—	+	+	—

Таблица 5

Классы С-гнезд	Части речи производных			
	Г	С	П	Н
Г	—	—	+	+
Л	+	—	—	+

Класс **Г** исчерпывается С-гнездом с первообразным *прекрасный* (из 10-й сотни слов), класс **Л** — С-гнездом с первообразным *иной* (5-я сотня), классу **Е** принадлежат С-гнезда с первообразными *огромный* (3-я сотня), *известный* (4-я), *способный* (9-я). Система является двубазисной. Первый базис, ведущий, характеризуется дизъюнктными оппозициями Г и П, С и Н и привативными оппозициями С → П, Н → П, так что имеет место пропорция $Б_1^1$: Н : П=С : П, где опорным является П. Второй базис определен теми же дизъюнктными оппозициями С и Н, Г и П (их поэтому можно рассматривать как залог и выражение единства обсуждаемой системы) и привативными оппозициями Г → Н и П → Н, так что имеет место пропорция $Б_2^1$: П : Н=Г : Н, где опорным является Н.

Самостоятельность базисов естественно связывать с привативными оппозициями С → П, специфичной для первого базиса, и Г → Н, специфичной для второго. Это значит, что характеристической для первого базиса следует признать импликативную связь между

морфологическими образами составляющих группы подлежащего, самим подлежащим и его идентификатором, при этом конституирующей является категория существительного, первичная синтаксическая функция которого — быть подлежащим. Это значит, что характеристической для второго базиса является импликативная связь между морфологическими образами составляющих группы сказуемого, глаголом, первичная синтаксическая функция которого — быть ядром этой группы, и наречием, первичная синтаксическая функция которого — быть идентификатором глагола в личной форме. Это значит, что двуосновность системы в ее непрерывности и дискретности является отражением основной для синтаксиса оппозиции двух составов предложения, группы подлежащего и группы сказуемого. Расчлененность опирается на противопоставление существительного и глагола, в конечном счете на противопоставление имен и предикатов. Что же касается непрерывности, то ее базой являются связи немаркированных членов П и Н оппозиций Н → П для первого базиса и П → Н для второго. Непрерывность, себетожественность системы обнаруживается в двух ее преобразованиях. Они состоят — экстенсионально — в замене одного из базисных классов на дополнительный класс, Е на Л или Л на Е, а интенсионально — в обращении приативной оппозиции Н → П в приативную же оппозицию П → Н при переходе от именного базиса $Б_1$ к глагольному $Б_2$ и в обратном преобразовании при переходе от $Б_2$ к $Б_1$.

В чем смысл этих результатов? В том, что за двуосновностью обсуждаемой системы и способностью быть сферой преобразований, вызванных выдвижением на передний план то одного, то другого базиса и одновременно всякий раз подчинением ему дополнительного базиса, т. е. за динамической ее формой — двусоставность предложения, его расчленимость на группу подлежащего и группу сказуемого на том этапе построения предложения, когда ориентация на лексику и семантику, как в $Т_2$, см. с. 103, сменяется ориентацией на морфологию и синтаксис, в частности на линеаризующие его структуру морфологическое согласование и ритмикоинтонационное членение.

5.1. Производящие включаются в систему производными. Для первообразных, главным образом заимствований, это было показано не раз. Обнаруживается ли эта функция производных в соотношениях $Т_1$ и $Т_2$?

5.1.1. Поучителен в этой связи изоморфизм связей частей речи производящих, определенных на $Т_2$ и притом на $Т_2$ в целом (С′ → → П′, Н′ → П′), и тех связей частей речи производных, которые определены на одном из базисов $Т_1$. Нужно подчеркнуть два обстоятельства. Первое — связи определены не на $Т_1$ в целом, а только на ее базисной части: $Т_1$ богаче связями по сравнению с $Т_2$, по крайней мере такими, которые ограничивают область действия импликаций

С → П и Н → П только базисной частью. Второе — связи эти определены только на одном из двух базисов, и это также говорит о бóльшей реляционной сложности T_1. Базису {Г, Е}, выделенному этим соотношением T_1 и T_2, можно приписать статус основного, если считать, что обеспечиваемое этим базисом выражение связи T_1 и T_2 является отражением единства фундаментальной для словообразовательной системы пары «производное, производящее» (экстенсионально), или отношения производности (интенсионально). Но тогда и из двух взаимообратных преобразований T_1 ведущим хотелось бы считать то, в результате которого акцент делается на основном базисе, иначе говоря, переход, содержанием которого было бы изменение системы привативных оппозиций

$$\left\{\begin{matrix}\Г \to \text{Н}\\ \text{П} \to \text{Н}\end{matrix}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{matrix}\text{С} \to \text{П}\\ \text{Н} \to \text{П}\end{matrix}\right\}$$

при инварианте, исчерпываемом двумя дизъюнктными оппозициями

$$\left\{\begin{matrix}\Г \vee \text{П}\\ \text{Н} \vee \text{С}\end{matrix}\right\}$$

Что значит признать это преобразование ведущим?

5.2. Начнем с инварианта — воплощения целостности двуосновной T_1. Что могло бы объединять Г и П? Способность идентифицировать С и идентифицироваться с помощью Н; семантическая модель этой дизъюнкции морфологических категорий — оппозиция двух разновидностей предикатов первого порядка, динамических и нединамических. Дизъюнкция С и Н, а вместе с тем и однородность ее членов с тех же позиций может быть истолкована только отрицательно, по контрасту с дизъюнкцией Г и П. Иными словами, инвариант изучаемого преобразования позволяет предполагать, что целостность T_1 является семантически мотивированной, во-первых, семантически мотивированной оппозицией «предикаты первого порядка — не-предикаты первого порядка», во-вторых.

Как раскрываются эти связи категорий в строении гнезда и системы гнезд? Вот некоторые, на наш взгляд, поучительные факты.

Появление или исчезновение производного глагола в гнезде оставляет систему классов неизменной, T_1 симметрична относительно производных глаголов. Об особой роли глагола в системе С-гнезда с первообразными П говорит и то, что если там нет глаголов, то наличие С и/или Н определяет представительную часть T_1, а отсутствие С′ и/или Н′ — представительную часть T_2. Производные С и Н входят в гнездо как основа его непрерывности, а Г и П — как основа его членимости. Этим объясняется то, что Г и П отделяются от гнезда легче, чем С и Н. В гнезде с *общий*, например, отделение *общаться*, *сообщать* и *сообщаться* влияет на словообразовательную организацию однокоренных существенно меньше, а потому и осуществляется, по свидетельству словарей, решительнее, чем отделение *об-*

щина и *общество*. Тот же тезис иллюстрируют *милый* и *миловать*, *миловаться* или *нужный* и *вынудить/вынуждать*, *принудить/принуждать* или *ясный* и *изъяснять*, *изъясняться*. Девальвация отношений производности приводит к бифуркации гнезд с *белый* и *беловой*, *легкий* и *легковой*, *чистый* и *чистовой*, *черный* и *черновой*, *старый* и *старший*, *старшой*. Дивергенцию гнезд по обеим этим линиям находим в случаях *равный* и *сравнить* или *ровный*, ср. *ровня* из гнезда с *равный*, *добрый* и *добротный*, *одобрить/одобрять*, *удобрить/удобрять* или *добреть*$_2$, *важный* и *неважный*$_2$ или *уважать* и т. п. Есть, конечно, и иные ситуации типа *белый* и *белье*, *синий* и *синица* или *целый* и *целина*, но в рассматриваемом материале их несравненно меньше, чем приведенных выше. В этой связи как закономерный можно оценивать тот факт, что деривационный потенциал Г и П значительнее, чем у С и Н, причем и по сложности, и по структуре соответствующих подгнезд

Г : П$\simeq$С : Н

5.3. Обратимся к характеристикам, отличным от инвариантных. Их можно свести к двум составляющим, каждая из которых — это также преобразование:

1. (П $\rightarrow$ Н) $\Rightarrow$ (Н $\rightarrow$ П),
2. (Г $\rightarrow$ Н) $\Rightarrow$ (С $\rightarrow$ П)

Что их объединяет? В обоих случаях немаркированный член оппозиции, прообраз преобразования, — это Н, а немаркированный член оппозиции, образ преобразования, — это П. В обоих случаях воспроизводится связь членов предикативной синтагмы, явно в случае 2., в снятом виде, на основе связи идентификаторов членов предикативной синтагмы, в случае 1. Различия составляющих сводимы к качеству маркированных членов оппозиций. В 1. в таком качестве в прообразе участвует П, а в образе — Н, в 2. — Г и С соответственно. Однопозиционны Г и П, Н и С, т. е. члены дизъюнктных оппозиций, составляющих инвариант изучаемого преобразования. Оппозиции, входящие в первую из составляющих, объединяют одни и те же морфологические категории П и Н. Различия образа и прообраза сводимы лишь к маркировке этих категорий — то, что в образе маркировано, в прообразе является немаркированным, а то, что в образе является немаркированным, в прообразе маркированно. Суть преобразования — в смене марки. Обсуждаемую составляющую поэтому можно рассматривать как выражение себетождественности, непрерывности T_1 при переходе от одного базиса к другому. Иной аспект тожества T_1, дополняющий первый, — вариативность T_1. Его делает явным вторая составляющая. Оба варианта T_1 автономны не в меньшей степени, чем группа сказуемого (чья синтактико-семантическая структура моделируется оппозицией-прообразом) и группа подлежащего (синтактико-семантическая структура которой описывается оппозицией-образом). Анализ инвариантной составляю-

щей преобразования позволил выявить семантические основания T_1; анализ составляющих, отличных от инварианта, позволяет говорить о синтаксических основаниях частеречной организации С-гнезд, во-первых, позволяет видеть их в противопоставлении группы сказуемого группе подлежащего, во-вторых.

6.1. Каждый небазисный класс С-гнезд в T_1 и T_2 можно рассматривать как значение некоторой простой или сложной функции алгебры логики, аргументами которой являются базисные классы С-гнезд. Ограничим круг таких функций функциями 0, 1, импликация и отрицание.

6.2. Небазисные классы из T_2 в силу единственности базиса получают одно-единственное описание: $А^\circ = 0(Г^\circ, Е^\circ)$, $И^\circ = 1(Г^\circ, Е^\circ)$, $Ж^\circ = Г^\circ \to Е^\circ$, $Д^\circ = \neg Г^\circ \to \neg Е^\circ$, $З^\circ = \neg Г^\circ \to Е^\circ$, $Б^\circ = \neg(Г^\circ \to \neg Е^\circ)$.

6.3. Каждый небазисный класс из T_1 может быть описан двумя способами, с ориентацией на базис {Г, Е} или на базис {Г, Л}. То обстоятельство, что классы Е и Л дополнительны, $Е = \neg Л$ и $Л = \neg Е$, позволяет упростить некоторые из этих описаний — для этого достаточно заменить $\neg X$, $X = Е$ или Л, на Y, $Y = Л$ или Е, дополнительный к X. Тогда обнаружится, что все небазисные классы из T_1 делятся на три группы в зависимости от того, 1) существенен ли выбор базиса для получения наиболее простого описания при данном фиксированном классе функций; 2) предпочтителен ли с этой точки зрения базис {Г, Е} или {Г, Л}.

Безразличны к выбору базиса А и С: $А = 0$ (Г, Е) $= 0$ (Г, Л); $С = 1$ (Г, Е) $= 1$ (Г, Л). Этой группе классов противопоставлены группа из Б, Д, Р и группа из В, П, З. При избранном классе функций алгебры логики первая ориентирована на базис {Г, Л}, а вторая — на базис {Г, Е}. При выборе иного класса функций, например, состоящего из 0, 1, отрицания и конъюнкции, а не импликации, ориентация может измениться на противоположную, однако состав групп останется тем же самым. Учитывая сказанное, небазисные классы гнезд из T_1 могли бы быть описаны на основе базисных классов так:

$$\begin{array}{ll} П = Г \to Е & Г \to Л = Р \\ В = \neg(Г \to Е) & \neg(Г \to Л) = Б \\ * & \neg(\neg Г \to Л) = Д \\ З = \neg Г \to Е & * \end{array}$$

Каждой группе классов С-гнезд может быть сопоставлена своя часть табл. 1 и соответствующая ей совокупность функциональных связей между частями речи производных. Распределение этих связей относительно групп классов С-гнезд изображено в табл. 6.

Среди этих связей особо следует отметить объединяющую классы С-гнезд импликацию $Г \to С$ «Наличие производных глаголов предполагает наличие производных существительных, но не обратно» и

три последних группы связей, одно-однозначно сопоставленных группам классов С-гнезд, их маркеры.

Любая оставшаяся пара связей членит группы классов С-гнезд на две неравные части. Обе пары — это сдублированные дифференциалы. Их можно интерпретировать как модели 1) возможного разнообразия структур группы сказуемого, Г=Н «Там, где есть производный глагол, есть и производное прилагательное, и обратно», и группы подлежащего, С=П, а также 2) путей их взаимодействия, Г → П и Н → С, причем конституирующими в этих оппозициях объявляются морфологические образы членов группы сказуемого. С морфологическими образами членов группы подлежащего они сопряжены так, что ядро группы сказуемого объединено расширением ядра группы подлежащего, а расширение ядра группы сказуемого — с ядром группы подлежащего. Обе пары, таким образом, моделируют пути совместного участия грамматики составляющих и грамматики зависимостей при построении простого предложения, а значит утверждают обусловленность архитектоники этой части системы С-гнезд связями синтаксиса одновременно с лексикой и морфологией.

Таблица 6

	А, С	Б, Д, Р	В, З, П
Г → С	+	+	+
Г → П, С=П	+		+
Н → С, Г=Н	+	+	
С → Г, П → Г,	+		
С → Н, П=Н			
С= ¬П		+	
Г= ¬Н			+

Описанные выше связи частей речи производных, определенные на внебазисных классах С-гнезд, могут дополнять аналогичные соотношения для базисных классов С-гнезд, напомним их: $Б_1^1$ — Г $\vee$ П, С $\vee$ Н, С → П ← Н, $Б_1^2$ — Г $\vee$ П, С $\vee$ Н, Г → Н ← П. Но подчас, как в случае Г → П или Н → С, они являются их альтернативами, а тем самым должны рассматриваться как дополнительные факторы динамики всей системы С-гнезд. Важно при этом то, что если бы не классы С-гнезд Г, Е и Л, все остальные, кроме А и С, необходимо было бы считать базисными, а это потребовало бы квалифицировать комбинативную классификацию $Т_1$ как одновременно и иерархическую.

Что же можно теперь сказать о той дуальной организации С-гнезд, которая задана двучленностью фундаментального для них отношения производности, своим существованием в свою очередь обязанного преобразованиям предложений?

У системы классов С-гнезд по частям речи производящих, в $Т_2$, один базис, у системы классов С-гнезд по частям речи производных, в $Т_1$, — их два. Бóльшей конструктивной сложности $Т_1$, с которой коррелирует большее разнообразие классов, реализованных и нереализованных, сопутствует и бóльшая функциональная сложность — на $Т_1$ определены преобразования базисов, автоматически вызывающие изменения функционального облика небазисных объектов, а на

T_2 никакие преобразования подобного типа не заданы. Диффузная и однoплановая организация гнезд по производящим — залог устойчивости дуальной системы гнезд, компактная и двуплановая организация гнезд по производным — гарантия ее способности к изменениям. Две эти ипостаси организации С-гнезд отражают различия в задачах и средствах построения предложения на разных этапах этого процесса, ориентацию на семантику и лексику на одном из них, ориентацию на морфологию и фонетику — на другом. А это значит, что не только лексические единицы, организуемые С-гнездами и двойной их системой, но и она сама представляет собою знаковое образование с характерной для него асимметрией.

Приложение.

Надежны ли полученные результаты? В какой мере можно распространить их на всю совокупность С-гнезд с первообразными прилагательными? Иначе говоря, раскрывают ли они и в какой мере раскрывают они ее конструктивный принцип? Конструктивный принцип системы будем связывать с наличием у нее базиса или базисов, если это динамическая система. Если видеть цель филологических занятий в «обнажении динамической формы» ἕν (единого, единичного), целого (πᾶν) и помнить при этом, что определяющий эту форму принцип «познается не в максимуме условий. . ., а в минимуме», то ответ будет очевиден, если окажется, что анализируемая совокупность объектов не меньше той, при которой она сохраняет статус системы, вырожденной или истинной, динамической, а значит, обладает по крайней мере — соответственно — одним или двумя из тех базисов, что и предельное ее расширение. Рассмотрим каждую из систем изучаемой дуальной организации С-гнезд.

Классификация С-гнезд по составу частей речи производящих. Один-единственный ее базис исчерпывают классы С-гнезд с производящими существительными и прилагательными (класс Г°) или с производящими глаголами и прилагательными (класс Е°). Актуальность этих классов С-гнезд как системообразующих становится очевидной, если ограничить анализируемый материал гнездами с первообразными прилагательными с частотой не меньшей, чем наибольшая из частот первообразных в каждом базисном классе, в нашем случае с первообразными уже из первых 4-х сотен самых частых слов русского языка: и *огромный* с частотой 404 из Г°, и *нужный* (386) из Е° принадлежат четырем сотням самых частых слов. По составу классов С-гнезд это минимальное состояние системы не отличается от того, редукцией, которого она является. Расширение выборки приводит к появлению новых гнезд из этих классов и к появлению новых классов, но не к появлению какого-либо нового базиса, а значит, не внесет существенных изменений в характеристику конструктивного принципа дуальной организации С-гнезд.

Классификация С-гнезд по составу частей речи производных. Общим для двух ее базисов является класс С-гнезд с производными прилагательными и наречиями (класс Г). Для рассматриваемой совокупности С-гнезд он исчерпывается гнездом с первообразным *прекрасный* (10 сотня в списке слов по убыванию их частот). Тем самым выявить минимальное состояние T_1, а значит, минимальное состояние и дуальной организации С-гнезд

можно лишь при условии, что сфере наблюдения принадлежат гнезда с первообразными прилагательными из первой тысячи наиболее частотных слов. Качественные изменения в характеристике дуальной организации С-гнезд с первообразными прилагательными возможны, если выборку расширить до гнезд класса Н. (Среди первообразных из этих гнезд наибольшей частотой обладает *яровой* (8), лежащее за пределами первых 9 тыс. слов по частоте). Дополнительность классов Г и Н приведет лишь к появлению дополнительных базисов {Н, Е} и {Н, Л}, а значит, десяти новых преобразований дуальной организации С-гнезд. Тем не менее инвариант относительно этих преобразований останется тем же:

Г$\vee$П, С$\vee$Н.

Л. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

МЕТОНИМИЯ В СОБСТВЕННЫХ ИМЕНАХ

Метонимический перенос в сфере собственных имен обычно относится к типу контекстно-обусловленной метонимии, т. к. имена собственные при этом не приобретают новых значений [1], а лишь расширяют возможности своего употребления. Метонимические употребления у собственных имен строго определены условиями контекста, характером связей между словами в составе словосочетания, предложения или более широких фрагментов текста. При этом антропонимическое или топонимическое наименование в результате ассоциации по смежности может переноситься на другой предмет или явление, и перенос этот представляет собой достаточно устойчивое семантическое преобразование, фактически некоторую семантическую «модель» [2].

А. Могут быть выделены следующие виды метонимических переносов у имен собственных:

I. АНТРОПОНИМЫ

1. Имя автора может использоваться для обозначения его произведений: *читать, издавать, иллюстрировать, комментировать. . . Достоевского, Толстого, Чехова*; *смотреть, реставрировать, изучать, любить. . . Серова, Репина, Рембранта. . .*; *слушать, исполнять,*

[1] Имена собственные в результате метонимического осмысления могут выступать в качестве источника пополнения словарного состава языка. Ср. *Дизель* — имя изобретателя и *дизель* — тип двигателя, *Бостон* — название города и *бостон* — вид ткани и др. Собственные имена при этом преобразуются в нарицательные. Явления подобного типа в настоящей работе не рассматриваются.

[2] *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 64.

интерпретировать. . . Чайковского, Бетховена, Моцарта. Во всех приведенных случаях имеются в виду произведения литературы, изобразительного искусства, музыки тех авторов, именем которых они обозначены.

2. Имя автора может использоваться также при обозначении всего творчества художника: *У Льва Толстого* это особенно часто и сильно (В. Вересаев); Если бы удалось написать то, что *думаю о Гоголе* (Л. Толстой); За границей большой интерес к советской литературе. Хорошо *знают Шолохова, Ильина* (А. Н. Толстой); Хотелось бы *побеседовать* с Вами *о Толстом* и о целом ряде литературных явлений последнего времени. . . (Горький); В. И. Немирович-Данченко разжег в нас если не *увлечение Ибсеном*, то интерес к нему . . . (Станиславский) и др.

3. Имя собственное может обозначать особенности стиля, метода, творческого почерка того или иного известного деятеля. Например: В его языке *слышится* (*чувствуется*) *Гоголь*; Очерк *напоминает Горбунова*; Вы *впадаете в тон Леонида Андреева*; В его поэзии *много от Александра Блока*; Он *пишет* чуточку *под Ремизова*; Его проза — *нечто от В. Гюго*. Ср.: У Ромадина есть *много общего с Есениным*. . . (К. Паустовский).

4. Имя собственное автора используется для обозначения его теории, концепции, учения, системы взглядов: Целое поколение училось *жить по Белинскому и Писареву*; *По Шопенгауэру*, сострадание и любовь есть одно и то же; Его работа направлена *против Гарда*; *В Станиславском* [системе Станиславского] нужно ощущать прежде всего его самого; *Аристотель* равно далек от идеализма Платона и от материализма Эпикура; *Односторонность Сократа* не восполнилась его первыми последователями. В публицистике А. И. Герцена встречается: Недоставало только учения, прямо *противоположного Бэкону*, чтоб старый вопрос дуализма переродился в новую борьбу . . . Раз овладев системой Гегеля, он первый среди московских его приверженцев *восстал* если не *против* самого *Гегеля*, то хотя бы против способа толковать его.

5. Имя автора в отдельных случаях служит для передачи его мнения, суждения, высказывания: *По Льву Толстому*, Г. Успенский писал на «тульском» языке; Поневоле *вспомнишь Писемского*, что пьющий народ надежнее (Салтыков-Щедрин); — Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших, — выкрикнул Колесников. — *Это Антисфен*, — засмеялся Мятлев. — Вы его знаете? (Б. Окуджава).

6. Имя собственное литературного персонажа используется при обозначении его сценического образа: Шаляпин *в Борисе*; Сальвини *в Отелло*; Мордвинов получил *приглашение на Курбского*; Темяков *переведен на Потапова* в «Московском характере». Ср.: . . .или случай, как, например, *в Сотанвиле*, и тогда я шел к нему от позы, от костюма, грима, манеры, жеста (Станиславский); *В Миран-*

долине нужна неопытность, неуверенность. ., а отсюда — импровизировать, отсюда стиль отношений (Н. Мордвинов); Не забуду ее *в Людмиле*, как с лукавым смехом в голосе она обращается к Фарлафу-Стравинскому (В. Вересаев); И вот наконец, *Кармен* [в роли Кармен] Сесиль Кеттен (А. Куприн).

7. Имя литературного персонажа в ряде случаев обозначает наиболее характерную его черту, его существенные особенности, суть образа; такое значение появляется преимущественно в контекстах, где речь идет об интерпретации того или иного литературного образа [3]. Подобное метонимическое осмысление может происходить в конструкциях с глаголами, обозначающими ментальные действия лица: *постигнуть*, *открыть*, *обнаружить*, *понять*, *уяснить*, *искать*, *найти* и др.

Мне предстояло через это новое препятствие *подойти к моему собственному Сотанвилю* и войти в него (Станиславский); Иванова будет играть Давыдов, который, к великому моему удовольствию, в восторге от пьесы, принялся за нее горячо и *понял моего Иванова* так, как именно я хочу (Чехов); . . . Василий Шуйский угадал какие-то вещи. Он должен пропагандировать . . . Здесь надо *искать Полония*. Надо искать какие-то моменты Яго . . . (Мейерхольд); *Арбенина* Мордвинов *открыл* (И. Андроников); Читая Толстого, мы вслед за ним идем к созданию все более и более полной картины или портрета, последовательно суммируя детали, и вот достигаем общего и целого, *достигаем Пьера Безухова* или *Анны Карениной*, ради которых писатель писал . . . (С. Залыгин).

Это значение может появляться в безглагольных предложениях: *Арбенин* — фигура величественная и трагическая; *Отелло* — проекция на Гамлета. Возможность связи с Гамлетом . . . Сдержанность, не опирающаяся на большое внутреннее содержание, — *не Арбенин* (Н. Мордвинов).

8. Имя лица может обозначать его деятельность, в частности, достаточно устойчивым является метонимический перенос имени актера на его сценическую деятельность: *смотреть Гарольда Ллойда* и *Чаплина*, *слушать Андроникова* (в такие сочетания может добавляться компонент, обозначающий произведение или роль, в исполнении которых принимает участие актер — *смотреть Уланову* в «Бахчисарае», *слушать Шаляпина* в Борисе), *Флиер* [игра Флиера] меня взволновал; *Смоктуновский* [исполнение Смоктуновского] меня растрогал и др.

---

[3] Ср. с возможностью метафорического употребления рассматриваемого класса антропонимов: В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника. . . и *Отелло* (Чехов); . . .этот водевиль явился результатом его глубокого возмущения таким вот директором банка, таким *своеобразным Хлестаковым*, таким своеобразным жуликом, негодяем и вором (Мейерхольд). В частности — в позиции предиката: Мой муж ревнив, это *Отелло*. . . (Чехов); . . .он все еще вполне реальный человек, у нас нет на этот счет никаких сомнений. Это отнюдь *не Гамлет* и *не Фауст* (С. Залыгин).

. . . Летом поеду *смотреть Грассо* — это . . .артист хороший (Горький); Но странно, когда я *смотрел Сальвини*, я вспомнил о Росси, о великих русских актерах, которых я видел тогда? (Станиславский); Если *у Старковского* многое не доходит, так, может быть, таковы дикционные и декламационные свойства данного актера (Мейерхольд); У нас зима, *Патти* и граф Сальяс (Лесков).

9. Имя лица может отсылать ко времени его жизни, деятельности, периоду его творчества: *при Иване Грозном*, *до Мольера*, *от Пушкина до наших дней*, *от Пифагора до Эйнштейна*, *после Льва Толстого*, и др.

Он уехал на Псковщину, в родовое гнездо, когда-то, еще *при Иване III*, подаренное его предку за отвагу и испытанную верность московским великим князем (Б. Васильев); Это делали бродячие артисты *до Мольера* (Горький); *С Петра* церковнославянский язык умирает, так как им нельзя было выразить все то новое, что пришло с новой эпохой . . . (А. Н. Толстой); Последняя волна поэтическая была *при Пушкине*, потом Лермонтов, Гоголь (Л. Толстой); История Германии от Вестфальского мира *до Наполеона* имеет одну страницу, именно ту, на которой написаны деяния Фридриха П . . . чаще он увлекает пламенем, струящимся через всю поэму; такого сочувствия с жизнию *от Лукреция до Гете* вы не встретите (Герцен).

10. Имя лица может быть перенесено на возглавляемое им предприятие: «Азбука» печатается *у Риса* [в типографии Риса] (Л. Толстой); Это касается моих изданий *у Сытина* [в типографии Сытина] (Мамин-Сибиряк); Лопнул *Фелейзен* [банкирский дом Фелейзена]. Вчера — наш банкир, *Стефаниц* [банкирская контора Стефаница]. . . *у Буца* [в магазине Буца] эти вещи продаются (Салтыков-Щедрин); Л. Н. Толстой опять взял роман *от Каткова* [журнала, руководимого Катковым] (Лесков); У вас есть прекрасное черное пиво *Калинкина* [фирмы Калинкина] (Горький).

II. ТОПОНИМЫ

1. Название населенного пункта часто используется для обозначения совокупности его жителей [4]: В Николин день, в именины князя, *вся Москва* была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье... (Л. Толстой); *Город Марсель* празднует годовщину разрушения Бастилии . . . *Чуткий и памятливый Париж* по-своему чтит эти живые обломки старины (А. Куприн); *Ницца* живет и процветает туристами . . . *Рим* расхохотался от одного конца до другого, прочитав в официальной газете эту малость будирующего наместника св. Петра . . . Сегодня заходил ко мне редактор «Эпохи» с вестью, что

[4] Подробное описание этого типа метонимического переноса см. у Д. Н. Шмелева в кн.: Способы номинации в современном русском языке. М.: Наука, 1982, с. 17—20.

Париж вспомнил, что он Париж, что строят баррикады и дерутся (Герцен).

2. Название населенного пункта может использоваться для обозначения связанного с ним события. Например, *Бородино*, *Аустерлиц*, *Браунау* — населенные пункты и одновременно известные военные события.

Недаром помнит вся Россия Про *день Бородина*! (Лермонтов); Помните, *в Браунау* он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления . . . После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной *при Бородине*, раны (Л. Толстой); *Ватерлоо* решило на первый случай, кому владеть полем: Наполеону-классику или романтикам — Веллингтону и Блюхеру (Герцен).

В этом значении топонимы часто встречаются с временными предлогами: Пожалел, тебя, дурака и молокососа! *После Праги*, *после Праги* [битвы за Прагу] отсидишь! Ясно? . . . Указано на карте лесничество? — не без брезгливости перебил Княжко и вынул из планшетки новенькую, выданную *перед Берлином* [сражением за Берлин] карту (Ю. Бондарев); К тому же люди правительства слишком презирали работников *после Лиона* и *Транснациональной улицы* [боях в этих местах], они были уверены, что армия задавит их — и ошиблись (Герцен).

Приведенное описание семантических типов метонимических переносов у собственных имен, никоим образом не претендующее на охват всех возможных метонимических осмыслений собственного имени, позволяет сконцентрировать внимание на основных его семантических разновидностях в области антропонимической и топонимической лексики. Представленное описание и используемые иллюстративные материалы, как представляется, со всей очевидностью подтверждают то обстоятельство, что возникновение (и следовательно, выявление) метонимического значения у антропонима или топонима оказывается возможным только в определенном контексте. В некоторых случаях достаточен контекст словосочетания или предложения, в других — появляется необходимость обращения к более значительным по объему фрагментам текста. Возникает задача систематизации контекстных ограничений на употребление имен собственных в метонимических значениях различных типов [5]. Изучение синтаксических механизмов метонимического переноса у рассматриваемого класса имен и одновременный учет их категориального своеобразия позволяет, как представляется, в некоторых моментах уточнить су-

[5] Результаты такой систематизации для некоторых групп антропонимов приведены в работе: *Л. И. Василевская*. Синтаксические возможности имени собственного (метонимический перенос у антропонимов). — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1981. М.: Наука, 1983, с. 156—166.

ществующие представления о характере метонимического замещения в области собственных имен.

Б. Одна из важных особенностей имен собственных, для которых возможно метонимическое употребление, заключается в том, что по сравнению с нарицательными именами существительными они обладают гораздо большим количеством всевозможных коннотаций [6]. В связи с этим в процессе употребления собственных имен у них может появляться не только предметное значение, но также признаковое или событийное. Возможны синкретичные употребления, при которых указанные типы значений оказываются совмещенными воедино. Подобный синкретизм в значительной степени сохраняется и при метонимическом употреблении собственных имен. Вычленяется прежде всего обширная область употреблений как бы переходного характера, при которых у собственных имен может наблюдаться двойная или более, чем двойная, референциальная отнесенность. В таких случаях бывает достаточно трудно определить, что перед нами: имя собственное в прямом значении или метонимически замещенном, характеризуется личность или результаты ее деятельности, продукты ее творчества, а точнее сказать, то и другое одновременно? Нерасчлененные употребления собственных имен не позволяют в ряде случаев также с достаточной определенностью установить референциальный смысл метонимического переноса, однозначно квалифицировать его семантические разновидности. Оба типа синкретизма имеют место как в области антропонимической, так и топонимической лексики.

Семантический синкретизм первого типа возникает, например, у антропонимов при сочетании с полузнаменательными, в частности фазисными глаголами и образованными от них именами существительными: *быть*, *явиться*, *появиться*, *возникнуть*, *появление*, *возникновение* и др. [7] Например: Это сочинение показало бы рубеж, далее которого знание природы не шло в римском мире, если б следом за ним не *явился Гален* . . (Герцен); Но *Конан-Дойл*, заполнивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки *умещается* вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляр, в небольшое гениальное произведение Э. По — «Преступление в улице Морг» (А. Куприн). В приведенных употреблениях имя собственное ученого или литератора воспринимается как обозначение некоторого яв-

---

[6] О тенденции к интеллектуализации собственных имен и трудностях, связанных с разграничением у них коннотативных сфер см., например: *А. В. Суперанская.* Апеллятив-онома. — В кн.: Имя нарицательное и собственное. М.: Наука, 1978, с. 8.

[7] Фазисные значения могут быть осложнены модальными: *возможность появления*, *необходимость возникновения* и т. п. Так, например, у А. И. Герцена встречаем: Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб *сделать возможным* [появление] *Гете*. Опущенность компонента с фазисным значением свидетельствует, по-видимому, о разговорном характере всей конструкции.

ления истории и культуры человеческой в единстве личности и всего ей созданного.

Источником нерасчлененных употреблений в области антропонимической лексики служат разнообразные компаративные модели: *сравнение Пушкина с Лермонтовым*, *быть выше* (*превосходить*) *Конан-Дойля*, *уступать Толстому* и т. д.

Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем *сравнение Пушкина с Лермонтовым . . . Выше всех* стоит *Окен . . .* (Герцен); Этот американец гораздо *выше Брет-Гарда*; он стоит на одном уровне с Киплингом — этим удивительным бытописателем знойной Индии (А. Куприн).

Примером такого рода синкретизма в сложном предложении являются употребления типа: *Карамзин* был первым русским литератором, *которого* читали дамы (Герцен). Здесь семантический синкретизм поддерживается конструктивным: в главной части предложения автор характеризуется как личность, в придаточной — речь идет о его сочинениях.

Трудности, связанные с разграничением различных метонимических употреблений у антропонимов, могут появляться в конструкциях с акциональными глаголами, обозначающими ментальные, эмоциональные, рече-мыслительные действия лица и др. При этом часто возникает, например, синкретизм значений ‘произведения автора’ и ‘творчество автора’ [8].

У топонимов в сочетаниях с глаголами, обозначающими действия лица, происходит, как правило, метонимическое осмысление; обозначается не сам населенный пункт, а его жители: *Москва радуется. . .*, *Марсель празднует . . .*, *Рим расхохотался. . .*, *Париж вспомнил. . .* и т. д. (см. выше тип II.1). В процессе таких употреблений происходит семантическое согласование предикативного компонента предложения и топонима в метонимически замещенном значении ‘жители города’. Для подобного применения топонимов показательна также сочетаемость с прилагательными «личностной» семантики: *зоркий Париж*; *добропорядочный Берлин*; *степенная*, *глубоко чувствующая Германия* и т. д. Ср.: *Зоркий Париж* давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование (А. Куприн); *Степенная*, *глубоко чувствующая и созерцающая Германия* определила себе человека как мышление (Герцен).

Синкретичные употребления могут возникать у топонимов в сочетаниях с неакциональными глаголами. Метонимическое осмысление при этом не поддерживается столь явственно фактором семантического согласования. Такого рода семантическая нерасчлененность у собственных имен может возникать, например, в том случае, когда в предложении выражаются таксономические отношения: *Пушкин принадлежит России* (является гордостью) и др. Как известно,

[8] Более подробно об этом см.: *Л. И. Василевская*. Указ. соч., с. 159—160.

родо-видовые и другие таксономические отношения устанавливаются между семантически сопоставимыми именами [9]. Нарушение этого условия делает возможным появление в предложении лексем с синкретичным значением. В данном случае для топонимов *Россия* и *Германия* становится возможным метонимическое осмысление как обозначений, соответственно, русской и немецкой культуры, русского и немецкого народов.

Более сложный метонимический перенос в конструкциях такого типа возможен при использовании в сходной функции топонима, представляющего название города, столицы государства: *Левассар так же принадлежит, так же необходим П а р и ж у, как Шеллинг или Гегель Б е р л и н у* (Герцен). В данном случае имеет место синкретизм значений 'город', 'страна', 'культура', 'народ'.

Перечень подобных семантически нерасчлененных употреблений имен собственных можно было бы продолжить. Их анализ, как представляется, позволяет отчетливее увидеть особенность метонимического переноса в области антропонимической и топонимической лексики. В сфере собственных имен возможность метонимического замещения в значительной степени предопределена их синтактико-категориальным своеобразием. Благодаря многоплановости собственного имени, сосуществованию в его семантической сфере разнообразных предметных, признаковых, событийных компонентов в процессе метонимического переноса происходит одновременно как изменение объекта (класса объектов), на который переносится топонимическое или антропонимическое наименование, так и варьирование семантического объема самого имени собственного [10]. Метонимическое употребление у данного класса имен, таким образом, это не только возможность применения антропонима или топонима в составе метонимической модели, следования определенной метонимической формуле [11], но и естественное проявление свойств, заложенных в самом слове.

В. Метонимическое замещение в сфере собственного имени связано с компрессией текста, эллипсисом словосочетания: *читать произведения Пушкина → читать Пушкина, слушать музыку Бетховена → слушать Бетховена, побеседовать о творчестве Толстого → побеседовать о Толстом, Сальвини в роли Отелло → Сальвини в Отелло, по мнению Толстого → по Толстому, игра Флиера взволновала — Флиер взволновал, в царствование Ивана Грозного → при Иване Грозном, печататься в типографии Риса → печататься у Риса,*

[9] Ср.: *Кедр относится к хвойным деревьям; Золото принадлежит к благородным металлам* (*Г. А. Золотова.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982, с. 161).

[10] Об изменении семантического объема слова как характерной черте метонимического переноса см.: *Е. А. Некрасова.* Метонимический перенос в связи с некоторыми проблемами лингвистической поэтики. — В кн.: Слово в русской советской поэзии. М.: Наука, 1975, с. 114.

[11] *Д. Н. Шмелев.* Способы номинации в современном русском языке, с. 18 и далее.

сражение при Бородино → *Бородино* и т. д. Эллиптические сокращения такого типа регулярны при метонимическом замещении у собственных имен и не «подрывают» коммуникативной полноценности предложения, в составе которого подобные сочетания функционируют. Привлечение более широкого контекста для восстановления опущенного семантического звена оказывается не обязательным. Возможность такого сокращения при метонимическом употреблении антропонимической и топонимической лексики, как представляется, в значительной степени обусловлена ее категориальным своеобразием. Семантическое согласование глагольного и именного компонента словосочетаний или же отглагольного существительного и имени собственного при этом не нарушается.

В том случае, когда при метонимическом употреблении антропонимов или топонимов происходит компрессия компонентов смысла, немотивированных с точки зрения категориальных особенностей имени собственного, эллиптические сокращения могут выступать как ситуативно или контекстно обусловленные. В некоторых контекстах, в сочетании с соответствующими предлогами у антропонимов с предметным значением может появиться, например, временное, причинное, целевое значение, они начинают участвовать в выражении отношений направленности, приобретая директивное значение, значения промежуточного или конечного пункта движения и т. д. Участие в выражении такого рода логических отношений не может, естественно, рассматриваться как проявление семантики самих существительных. Возникновение подобных контекстных значений у имен собственных свидетельствует, как правило, о компрессии текста, о нарушении семантического согласования между его отдельными звеньями. Смысл таких сочетаний с антропонимами оказывается контекстно обусловленным.

Таковы, например, приведенные ниже употребления антропонимов с временными предлогами: *До Тамары* он говорил с Борисом; *Вслед за Гоголем* писатели натуральной школы подвергли сатирическому осмеянию чиновничество (В. Кулешов); *После Комарихи* они остались дома вдвоем (В. Распутин; пример Д. Н. Шмелева) и т. п. Значения антропонимов в сочетаниях *до Тамары* 'до разговора с Тамарой', *вслед за Гоголем* 'после творений Гоголя', *после Комарихи* 'после ухода Комарихи' являются контекстно обусловленными [12].

[12] При употреблении антропонимов в сочетаниях с временными предлогами в ряде случаев подобной контекстной или ситуативной обусловленности не возникает (см. выше тип I.9 метонимического переноса). Это происходит, по-видимому, потому, что участие в выражении временных отношений у антропонимов в какой-то степени мотивировано: жизнь и деятельность человека ограничена определенными временными рамками. Ср. с нарицательными именами существительными: *После лыж* [после прогулки на лыжах] он чувствует себя бодро. В сочетаниях с временными предлогами имена нарицательные конкретной семантики, как правило, получают событийное значение и представляют собой способ семантической конденсации текста (*Н. Д. Арутюнова*. Метонимия. — Энциклопедия «Русский язык». М., 1979, с. 143).

Именно в результате анализа контекстных связей возможна правильная интерпретация отношений направленности в приведенных ниже отрывках из сочинений А. И. Герцена: Для нашей цели мы, ничего не теряя, могли бы *перешагнуть от Аристотеля к Бэкону* . . . Нельзя себе представить страннее ощущения, когда, перечитывая средневековых схоластиков . . . вдруг *доходишь до Бэкона* . . . я попрошу позволения окончить сперва повествование о бекоповской школе, довести ее до Юма, т. е. до Канта, а потом снова *возвратиться к Декарту*. . .. Здесь имена собственные получают различные событийные осмысления: 'изучение и рассмотрение взглядов названных авторов' — в первых двух случаях и 'изложение системы Декарта' — в третьем примере. От примера к примеру меняется не только характер метонимического замещения у антропонимов, но и сам тип текста.

Контекстно обусловленными являются также метонимические употребления антропонимов в сочетаниях с причинными и целевыми предлогами: Журнал закроют *из-за Демметра* [помещения статьи Демметра] (Салтыков-Щедрин); Конечно, многие ходят *для Фредерика Леметра* [чтобы посмотреть игру Фредерика Леметра], но в пошлой пьесе Фредерик не мог бы так играть (Герцен).

Г. Вопрос о характере эллиптических сокращений при метонимическом употреблении имен собственных в известной степени связан с вопросом о функциональных сферах использования метонимии в русском языке. Выразительность метонимического переноса у имен собственных, его образность являются причиной его широкого применения как в повседневной, так и в художественной и профессиональной речи. Метонимические конструкции с собственными именами встречаются в публицистике, мемуарной, научно-популярной литературе. Метонимические замещения, сопровождаемые появлением контекстно обусловленных высказываний, свидетельствуют, как правило, о проникновении разговорных форм речи в ту или иную сферу языкового употребления.

Метонимические сокращения такого типа широко представлены: в мемуарной литературе: Вы *Писаревым* [чтением произведений Писарева], конечно, *упиваетесь*? (В. Вересаев. Воспоминания); Просит вернуться в театр. Обещает создать все условия. *Настаивает на Дундиче* [постановке спектакля и исполнении роли Дундича]. Хочет возобновить «Укрощение строптивой» и «Отелло» (Н. Мордвинов. Дневники); в произведениях эпистолярного жанра: . . . мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, *начиная* с нашего любезного *Гомера* [изучения сочинений Гомера] (Гоголь, Из письма В. А. Жуковскому); *Мадам Бичер-Стоу* [чтение произведений Бичер-Стоу] выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение. . . (Чехов. Из письма М. П. Чехову); в публицистических произведениях: Надо

сказать, что *дон Хозе был плох и сладок*, а *Эскамильо посредственен* [исполнение ролей Хозе и Эскамилио] (А. Куприн. Статьи); Эксцентрикам не решались *дать Хлестакова*. Тому же актеру мы решились *дать Чацкого* [поручить актерам исполнение ролей Хлестакова и Чацкого] (В. Мейерхольд) и др. [13]

Д. Таким образом, приведенные в работе материалы еще раз убеждают в том, что метонимический перенос в области антропонимической и топонимической лексики является контекстно-обусловленным явлением, регулируется прежде всего процессами семантико-синтаксического характера. Практически любое антропонимическое или топонимическое наименование подвержено действию метонимической модели по крайней мере в одной из выделенных разновидностей. Возможность метонимического употребления для рассматриваемого класса слов в значительной степени определена их синтактико-категориальным своеобразием.

[13] О конситуативных высказываниях в сфере разговорной речи см., например: *Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев.* Русская разговорная речь (Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис). М.: Наука, 1981, с. 191—227.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СТИХОВЕДЕНИЕ

Т. М. НИКОЛАЕВА

ОППОЗИЦИИ «ТУГА—ВЕСЕЛИЕ» И «ТЬМА—СВЕТ» В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(анализ фрагмента имманентной смысловой структуры памятника)

I

Исследовательская литература о «Слове о полку Игореве» огромна, направления анализа разнообразны. И все же, обращается ли внимание к историческим реалиям, стоящим за текстом, к поиску языковых и поэтических параллелей, к открытию мифопоэтического субстрата или к увеличению найденного пласта лексических заимствований, одна традиция остается неизменной: произведение старой литературы изучается принципиально иначе, чем тексты новой литературы. Можно предположить и некоторую предвзятость по отношению к древним текстам: критерий оценки начинает исчезать. Явление это уже отмечалось историками искусства: чем старше найденное, тем оно кажется а приори художественнее, и тем интереснее поставить вопрос о том, какими покажутся через сотни лет окружающие нас предметы культуры — прекрасными или обывательски-безвкусными.

Феномен этот, искусствоведчески несомненно значимый, имеет и обратную сторону — когда исследовательское внимание обращается к настоящим поэтическим шедеврам старого времени. Обычно ведущими являются три направления: 1) поиск параллельных соответствий, перекличек, литературных, лингвистических, этнолингвистических, кросс- и внутрижанровых и т. д.; 2) поиск генетических истоков, восстановление более ранних образцов, корреляция с ними данного текста; 3) установление соответствий на уровне реалий: исторических, географических, биологических. Таким образом, собственно поэтике текста, вскрытию его глубинных смысловых отношений отводится в общем комплексе исследований не столь уж большое место. Происходит «искусное расчленение текста „Слова о полку Игореве“ на многочисленные малые фрагменты (называемые «элементами») и обставленное широкой эрудицией стремление найти для них столь же мелкие аналоги, почерпнутые из многих разнотипных источников» (Робинсон 1978, с. 39). Иногда такой подход сознательно объявляется программным: «В средневековой литературе специфические для поэтического языка вторичные значения. . . возникают скорее в силу ассоциаций с общим фоном современной культуры, нежели на основании внутренней организации текста.

Из-за этого анализ средневекового текста в гораздо большей мере нуждается в привлечении внетекстового материала, чем, например, романтического стихотворения, содержание которого зависит прежде всего от его имманентных связей» (Клейн 1976, с. 64).

Справедливость и важность удельного веса всех трех указанных направлений в общем изучении старого текста не оспоривается ни в какой степени. Однако некоторые возникающие сомнения — в том, есть ли идентичность генетическая или идентичность параллельной оси для некоторого феномена одновременно и идентичность функциональная, могут быть устранены (или подтверждены) именно анализом имманентных связей, отношениями глубоких и внешних смыслов, аллюзивных внутритекстовых перекличек, сложной системой формально-содержательных корреляций именно этого текста. Поэтикой «Слова о полку Игореве» занимались многие, начиная с начала прошлого века. В последние десятилетия мы имеем детальный анализ смысла текста — в целом или в разных его фрагментах — прежде всего в работах Д. С. Лихачева (Лихачев 1978а, б, в, 1979), А. Н. Робинсона (Робинсон 1978, 1980), Ю. М. Лотмана (Лотман 1962, 1967), Р. О. Якобсона (Jakobson 1949, 1966) и др. [1]. Но, может быть, какой-то вклад может внести и применение метода лингвистики текста — в том ее современном аспекте, когда лингвистический анализ текстовых средств памятника состоит в интерпретации (расшифровке) следующей функциональной оси: отбор — задача, т. е. в том подходе, при котором одно только описание употребления или одно только смысловое прочтение оказывается недостаточным. Значимой оказывается вся система языковых средств, не только принятие, но и отрицание, значима и дистрибуция выбора — невыбора, т. е. распределение языковых явлений по определяющим смысл точкам, например, «в поле врага» — «в своем поле» и т. д. Это направление лингвистики текста сближается с герменевтикой, всегда понимаемой как декодирование смысла текста [2]. Герменевтика раскрывает глубинное содержание текста — и через лингвистические феномены. При этом возможно разделение двух пониманий: понимание текста и понимание автора. Задача герменевтики «выявить авторское в созданном им тексте, реконструировать его «авторскую интенцию», установить целостность его произведения, постулировать и эксплицировать его «смысл» как нечто, выражаемое и воспринимаемое через язык» (Nassen 1979, p. 10—11). Таким образом текст представляет нам партитуру, воспроизводить ее должен не автор, а читатель (Frank 1979). Сходные идеи высказываются в последние годы в отечественных работах по анализу структуры текста (Топоров 1973, 1977, 1980, 1981; Иванов 1981а, б,

[1] Учитывая огромное количество всей литературы, посвященной анализу текста «Слова», мы в дальнейшем будем приводить сведения и ссылки на работы, непосредственно связанные только с нашей темой.

[2] Вопросам связи лингвистики текста и герменевтики посвящены многие статьи специального сборника (Texthermeneutik 1979).

Цивьян 1979). Сближаясь с герменевтикой, лингвистика текста сближается и с риторикой как наукой об убеждающем воздействии (Junker 1976; Lachman 1981), и с контент-анализом, когда исследованию подлежит не единственный текст, а ряд текстов одного жанра или многие повторения одного текста.

«Слово о полку Игореве» — произведение необыкновенно сложной смысловой структуры. Можно с уверенностью сказать, и далее постараемся продемонстрировать это на указанном фрагменте, что ни один компонент памятника: от явлений чисто фонических до композиционно-тектонических не является в тексте изолированным — текст скрепляется повторами, антитезами и повторами-антитезами. Эту изощренную виртуозность стиля «Слова» подчеркивал Р. О. Якобсон, убежденный в знакомстве автора с византийской литературой с ее «сцеплением цепочки символов и многоуровневыми семантическими структурами». Р. О. Якобсон пишет о «пространственной, временной и тематической множественности и конденсированности», что обеспечивается «изощренной комбинацией различных и даже контрастирующих стилей, книжных и устных, и различных и контрастирующих точек зрения — светской и церковной, народа и феодала, христианской и полуязыческой» (Jakobson 1966, p. 383).

В основном поэтика «Слова» характеризуется двумя свойствами средневековой русской литературы, проанализированными Д. С. Лихачевым. Это — стремление к абстрагированности, к дуальному противопоставлению, с одной стороны (Лихачев 1979), и стремление и умение создавать «сверхсмыслы» из наложений и перекличек фонического, грамматического и лексического характера. Эти сверхсмыслы не противоречат смыслу, но углубляют его (Лихачев 1979, с. 118). Общепоэтический метод автора характеризовался нами как метод «антитез-скреп» (Николаева 1981), т. е. контрастов, объединенных в то же время общими пересекающимися компонентами; представляется, что эта, достаточно сложная и мозаичная по структуре, контрастивная объединенность имеет форму кольца. Оставив пока в стороне чисто формальные аспекты построения самой формы текста «Слова», представим внутреннюю систему оппозиций памятника на рис. 1. Цифровая индексация расшифровывается следующим образом:

I. Творческий метод автора — остальные творческие методы.
II. Человек — природа.
III. Русские — половцы.
IV. Свет — тьма.
V. Веселие — туга (печаль).
VI. Настоящее — прошлое [3].

Как видно из схемы, каждая оппозиция смыкается с двумя соседними. Это объединение каждый раз проходит через некоторые

[3] Эти оппозиции мы считаем основными. Вполне возможны и добавления к этому списку. Некоторые дополнительные оппозиции уже описаны ранее (Лотман 1967, Лихачев 1978б).

общие смысловые зоны. Оппозиции I—III, VI разбираются в других наших работах, однако, необходимо сказать несколько слов о них и их смысловых пересечениях.

Оппозиция I (творческий метод автора — остальные) связана с оппозицией VI (настоящее — прошлое) через сферу Бояна, которому автор противопоставляет себя и который относится к пласту прошлого. Оппозиция I соотносится и с оппозицией II (человек — природа) по линии противопоставления индивидуальности, обученной

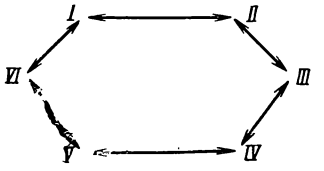


Рис. 1

личности, враждебной хаотичной стихии. Враг, половцы включены в эту ситуацию, они как бы часть враждебной стихии, поэтому оппозиция II смыкается с оппозицией III (русские — половцы), которая в свою очередь соотносится с оппозицией IV (свет — тьма), поскольку половцы—это тьма, бесчисленное нерасчлененное множество, поправшая свет. Тема тьмы и света, как мы постараемся показать далее, тесно переплетается в тексте памятника с темой туги—веселия (оппозиция V). Но пласт туги—веселия входит как тема и в слой основного сюжета, настоящего, и в слой исторических экскурсов, и потому оппозиция V (туга—веселие) пересекается с оппозицией VI (настоящее—прошлое). Кольцо таким образом замыкается.

Необходимо, предваряя конкретный анализ, сказать и о том, что в основной ткани текста «Слова» — повествовании о настоящем — есть, как мы считаем, поворотный кульминационный пункт: обращения Ярославны к трем обожествленным стихиям, после чего меняется, иногда зеркально, вся система текстовой грамматики (и поведение героев) в смысловом поле русских и половцев. Меняется тип глаголов движения: Поле русских — *въступи въ златъ стремень* [4]; *поѣха по чистому полю*; *вои ведетъ* и т. п.; поле половцев — *побѣгоша къ Дону великому*; *бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ* и т. д. После обращения Ярославны — *Игорь поскочи горностаемъ. . . скочи бусымъ влъкомъ. . полетѣ соколомъ подъ мьглами*, а половцы — *по слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ*, до обращения Ярославны русские говорят много и развернуто называют друг друга, половцы не характеризуются вербально никак, разве *кликомъ поля прегородиша*, после обращения — половцы обретают речь. Игорь, противопоставляющий себя ранее всему — знамению, природе, врагу, ставящий вместе с Всеволодом на первое место свою индивидуаль-

[4] Текст «Слова о полку Игореве» приводится в статье по изданию в серии «Литературные памятники» 1950 г. («Слово о полку Игореве» 1950).

ность и профессиональную обученность (именно такова подготовка курян и таково функционально в тексте описание их разносторонней подготовки), сливается в конце с природой, объединяется с ней. Однако эта общая идея противопоставления личности неиндивидуализированному, почти звериному врагу, сливающемуся вначале с враждебной героям природой, с бóльшей силой выявляется в решении оппозиций I, II, III (см. выше). В разбираемых в настоящей статье оппозициях IV (свет—тьма) и V (веселие—туга) она представлена методом контактного компенсирования, о чем будет сказано ниже.

II

Шесть названных оппозиций как бы распределяют весь внутренний и внешний мир «Слова». Оппозиция I — мир творческого начала, авторский; II — отношение человека к внешнему миру; III — борьба двух враждебных человеческих станов; VI — временнóе существование человека. Разбираемые здесь противопоставления относятся к сфере эмоциональной (туга—веселие) и морально-ментально-оценочной (свет—тьма).

Число контекстов с лексическим планом «веселие—туга» невелико, 15, но их функциональная нагрузка значительна.

Во-первых, именно они составляют массив высказываний особого рода — эмоциональных концовок, итогов, наличие которых отличает текст «Слова»:

Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилось.
Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче.
А мы уже, дружина, жадни веселия!
Туга и тоска сыну Глѣбову!
Унылы голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии.
Страни ради, гради весели.

Эти высказывания являются каждый раз как бы констатирующим итогом, открывающим или закрывающим куски сюжета. Всего из 15 отрывков с этой темой 2 относятся к пласту прошлого: один до кульминации (обращение Ярославны), другой — после него.

Во-вторых, рассмотренные последовательно, эти отрывки представляют собой картину постепенного разворачивания некоторой содержательной идеи [5]. А именно — сами лексемы вводятся с определенным окружением. До обращения Ярославны *веселие* [6] всегда

---

[5] При анализе семантики лексем основных и побочных противопоставлений во многом использовался для подтверждения анализа материал пяти выпусков Словаря — справочника «Слова о полку Игореве» (Виноградова 1965, 1967, 1969, 1973, 1978).

[6] В. Л. Виноградова (Виноградова 1965) различает *веселие* как 'ликование', 'торжество' и *веселие* как 'радость'. Оба значения кажутся нам очень близкими и в данном случае не различаются.

выражено в контексте, его отрицающем, это «минус»-*веселие*, отрицание веселия выражается автором по-разному, с варьированием лексического сопровождения и грамматического оформления. Напротив, *туга* вводится как категорически утверждаемый факт, при этом лексему нередко сопровождают близкие к ней синонимы. Если обозначить тугу, как Т, а веселие как $\bar{В}$, поскольку в первой части оно отсутствует, то первую часть текста можно, по отношению к рассматриваемой оппозиции, представить как цепочку:

Т/Т/$\bar{В}$/Т/$\bar{В}$/Т/$\bar{В}$/Т/$\bar{В}$.

Приведем эти отрывки:

1. Чрьна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: т у г о ю взыдоша по Руской земли.
2. Ничить трава жалощами, а древо с т у г о ю къ земли преклонилось.
3. Уже бо, братие, н е в е с е л а я година въстала, уже пустыни силу прикрыла.
4. А въстона бо, братие, Киевъ т у г о ю, а Черниговъ н а п а с т ь м и; т о с к а разлияся по Руской земли; п е ч а л ь жирна тече средь земли Руской.
5. Уныша бо градомъ забралы, а в е с е л и е п о н и ч е.
6. И ркоша бояре князю: уже, княже, т у г а умь полонила
7. А мы уже, дружина, ж а д н и в е с е л и я!
8. Се у Римовъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. Т у г а и т о с к а сыну Глѣбову!
9. Уныли голоси, п о н и ч е в е с е л и е, трубы трубятъ городеньскии (текст относится к прошлому).

После обращения Ярославны наступает перелом: тема веселия становится позитивной, «минус»-*веселие* встречается только один раз, в ее обращении: $\bar{В}$/Т/В/Т/В/В. Таким образом, если выписать цепочку полностью, то она приобретает вид: Т/Т/$\bar{В}$/Т/$\bar{В}$/Т/$\bar{В}$/Т/-$\bar{В}$/$\bar{В}$/Т/В/Т/В/В — т. е. оформление конца и начала симметрично: двойными показателями Т/Т—В/В, нагнетание негативного эмоционального начала в первой части и позитивного — в конце. Двойное «минус»-*веселие* появляется на переломе.

Приводим 6 последних отрывков:

10. Чему, господине, мое в е с е л и е по ковылию р а з в ѣ я?
11. Чему, господине . . . въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи съпряже, т у г о ю имъ тули затче?
    Княже Игорю!
12. не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли в е с е л и я.
13. У н ы ш а цвѣты жалобою, и древо съ т у г о ю к земли прѣклонилось (текст относится к прошлому).
14. Соловии в е с е л ы м и пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ.
15. Страны ради, гради в е с е л и.

Здесь в целом обращают на себя внимание следующие текстовые показатели.

1. Именно в этих отрывках много частиц пресуппозитивного общего знания — *бо* (3, 4, 5), констатирующее *уже* (3, 6, 7), хотя вообще частиц в «Слове» очень немного. Значительное число в этих отрывках и обращений: *братие* (3, 4), *княже* (6), *господине* (10, 11), *княже Игорю* (12). Объяснение этому, как представляется лежит в эмоциональности именно этого противопоставления. Поэтому ее текстовая манифестация богата элементами с коммуникативно-воздействующим содержанием.

2. Отрывки эти несомненно перекликаются друг с другом. Ср. *Ничитъ трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось — Уныша цвѣты жалобою, и древо съ тугою къ земли прѣкло-*

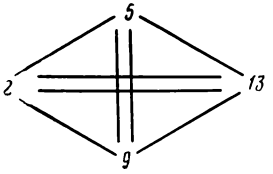


Рис. 2

нилось. Первый текст относится к настоящему, второй к прошлому (о смерти юного князя Ростислава). Ср. далее: *Ничить трава жалощами* (отр. 2) — *веселие пониче* (отр. 5) — *пониче веселие* (отр. 9); *Уныша бо градомъ забралы* (отр. 5) — *уныли голоси* (отр. 9) — *уныша цвѣты жалобою* (отр. 13). Таким образом, если сопоставить полученные совпадения, то можно отношения указанных отрывков представить в виде схемы (рис. 2 — цифра показывает номер отрывка), где 5 и 9 соотносятся друг с другом дважды: по ‘унылый’ и по ‘никнуть’, а 22 и 13 по корню *жал-* и по фразе *древо*.

3. Приведенные куски коррелируют также с другими элементами текста «Слова».

См.: *Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна — Немизѣ кровави бразѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ* (о прошлом). Здесь три совпадения: *кровь, кости, посеян*.

Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии — Трубы трубятъ въ Новѣградѣ (абсолютное авторское начало рассказа — об этом ниже — повествующее о готовности к походу Игоря).

Соловии веселыми пѣсьми свѣтъ повѣдаютъ — Щекотъ славий успе (в начале похода).

4. В тексте, возникающем из сложения всех 15 отрывков, отчетливо обнаруживаются две побочных темы — тема Земли и тема Города. Обозначив их соответственно через З и Г, получим следующий вид цепочки из 15 элементов:

/З/З/—/Г, З/Г/—/—/ Г/Г/—/—/З/З/—/З, Г/.

Очевидно, что темы Земли и Города действительно являются сопутствующими. Контексты с темой Земли объединяют разные значения этого слова: 'страна' и 'почва'.

1. *Чрѣна земля подъ* копыты. . . тугою взыдоша по Руской земли.
2. Ничить трава. . . с тугою къ земли преклонилось.
4. . . .тоска разлияся по Руской земли; печаль жирна тече средь земли Руской.
12. . . .а Руской земли веселия.
13. . . . и древо съ тугою к земли прѣклонилось.
15. Страни ради, гради весели [7].

Интерпретация этого сопутствующего смысла, как представляется, может быть одна: связь печали, тоски и радости с землей как основой, исходом и с Землей Русской прежде всего.

Тема Города интерпретируется несколько сложнее и, как мы считаем, занимает в смысловой ткани памятника очень большое и принципиальное место. Посмотрим соответствующие контексты:

4. А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми.
5. Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче.
8. Се у Римовъ кричатъ подъ саблями половецкыми.
9. Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городенъскии.
10. Страни ради, гради весели.

Последняя фраза представляет собой некий абсолютный позитивный синтез — и Земля, и Город в веселье (ср. *Уныша бо градомъ забралы*).

Тема Города, на наш взгляд, соединяет анализируемую оппозицию с другими, а именно — с темой профессионала, обученной личности, противостоящей стихии. Тема эта представлена и в обсуждении творческого метода автора, в его состязании с Бояном (только профессионал может обсуждать современность своего стиля). В начале похода очевидна враждебность стихии, она усиливается: против воинов-профессионалов выступает и враг, и силы природы, и языческие божества: «Силы славянского языческого бога становятся покровителями половцев» (Робинсон 1980, с. 298). Тема Города как творения человеческих рук становится существенной; если пользоваться распространенным понятием, он становится частью космоса в борьбе с хаосом, включающем в себя половцев. Ярославна обращается с мольбой на городской стене, на забороле. Самый позитивный князь — Святослав Всеволодич (кстати, активный строитель Киева) противопоставляется Игорю и Всеволоду как победитель Кобяка: и пал Кобяк — в Городе. Только победив природу, Святослав побеждает включенного в нее врага: *Притопта хлъми*

[7] Последний отрывок причислен к теме Земли, так как *страни* имеет значение 'земля' и наоборот (Виноградова 1967, с. 125 и Виноградова 1978, с. 229).

и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши потокы и болота. А поганого Кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ, яко вихрь, выторже: и падесе Кобякъ въ градѣ Киевѣ, въ гридницѣ Святъславли. Как отмечает по этому поводу А. Н. Робинсон, считая подобное гиперболизированное разрушение чертой именно эпоса: «Только из текста, следующего за этой картиной почти космической катастрофы, становится ясным, что речь идет о конкретном походе» (Робинсон 1980, с. 273).

С Города начинается повествование о походе Игоря: *Трубы трубять въ Новѣградѣ, стоять стязи въ Путивлѣ.* Городом это повествование и кончается: *Страни ради, гради весели.*

Таким образом, в принятое противопоставление русских и половцев включается еще дополнительная антитеза: «Город — Поле».

III

Дуальное противопоставление «свет — тьма» в «Слове о полку Игореве» уже анализировалось (Клейн 1976, Робинсон 1978), но в основном с позиций мифопоэтической «истории». Противопоставление это более очевидно, чем предыдущее, и более многослойно содержательно, но, на наш взгляд, может быть рассмотрено параллельно предыдущему и в связи с ним.

Рассмотрение этой оппозиции нецелесообразно без сообщения некоторой точки зрения на абсолютное начало в манере автора. Дело в том, что в тексте памятника отмечалось противоречие: Игорь выступает в поход, начинается затмение, затем он ждет Всеволода с воинами и тут — *Солнце ему тъмою путь заступаше.* Получается как бы два затмения с небольшим интервалом. Это противоречие полностью снимается концепцией В. Ржиги (Ржига, 1925), высказавшего замечательную мысль о том, что в «Слове» имеется не два зачина, как полагали, а три: зачин в духе воинских повестей того времени (*старыми словесы трудныхъ повѣстий*) — от слов *Почнемъ же, братие, повѣсть сию* до слов *О Бояне!*, зачин в духе Бояна — от слов *Не буря соколы занесе* до слов *Звенить слава въ Кыевѣ* включительно. Собственно авторское начало идет от слов *Трубы трубять въ Новѣградѣ.* Концепция В. Ржиги объясняет противоречие с затмениями: оно дважды представлено в тексте и один раз — в жизни. Она подтверждается и наблюдениями собственно поэтического характера в свете названных выше шести основных противопоставлений. А именно, по нашей концепции, в тексте памятника представлены две индивидуальности, бросающие вызов окружению и вооруженные своим профессиональным мастерством — автор поэмы и Игорь. Не останавливаясь на этом подробно, считаем нужным отметить сложное отношение автора к Бояну, тексты которого проходят через всю ткань «Слова» [8]. Автор полемизирует

[8] В данном случае относящимися к Бояну считаются лишь те компоненты текста, в которых упоминается Боян. Между тем высказывается ряд предполо-

с ними, используя метод «подхватов»: продолжает текст Бояна, но в более совершенной и продуманной фонике. «Сам автор «Слова» дает нам руководство к отличию его слов от бояновых. В одном месте он сам приводит припевку Бояна, и тотчас же, не отличая своих слов от бояновых, к чужой припевке прилагает свою собственную мысль о князе Игоре» (Буслаев 1938). См.: *Комони ржуть за Сулою, звенить слава въ Кыевѣ* — (подхват): *Трубы трубять въ Новѣградѣ, стоять стязи въ Путивлѣ* [тр-тр-р; ст-ст-т], о фонических перекличках текста «Слова» писал специально Л. А. Булаховский (Булаховский 1978, с. 486).

Тема затмения есть в двух зачинах, но в них обращает на себя внимание различие в отношении к Солнцу и его активности. В «воинском» зачине *Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тъмою вся своя воя прикрыты.* В авторском зачине *Солнце ему тъмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою . . .* Несомненно, что во втором отрывке солнце более активно и враждебно, оно сливается со всем комплексом стихий, противостоящих Игорю, возглавляя его.

А. Н. Робинсон, считая дуальное описание затмения сознательной волей автора: Игорь как бы дважды пренебрег знамением (т. е. неразделяя концепцию В. Ржиги, с которой мы выше солидаризировались, отмечает несомненность бóльшей активности солнца во втором случае, обращая внимание и на употребление падежа образа действия, т. е. творительного орудийного при активном субъекте (*тъмою*). Солнце «представляется действующим произвольно» (Робинсон 1978, с. 41).

«Свет — тьма» есть оппозиция многозначная, более сложная по своей семантике, чем «туга — веселие». В 11 отрывках с этими лексемами чередование такое. До обращения Ярославны — /С, Т/ С, С/ Т/С̄/С̄/С̄/Т, Т, Т, С̄/С̄; после обращения Ярославны — /С, С/ С/С. Обращает на себя внимание: 1) полный поворот к свету после обращения Ярославны, 2) бóльшая насыщенность коротких отрывков интересующими нас лексемами, чем у выше разобранной оппозиции. Также, и это существенно, они не перекликаются друг с другом лексически и фразеологически. По нашему мнению, это объясняется тем, что они не выполняют функции статально-итоговых, констатирующих концовок, отделяющих один эпизод или фрагмент текста от другого (ср. *Туга и тоска сыну Глѣбову*!; *А мы уже, дружина, жадни веселия*! и т. д.). Все контексты, относящиеся к теме тьмы и света,

---

жений, что Бояну можно приписать и другие фрагменты «Слова». В частности это — сон Святослава, возможно, предсмертный, «вещий» сон князя Святослава Ярославича, умершего от операции в 1076 г. Тогда упоминание двух солнц в ответе ему бояр — его погибшие сыновья, Глеб и Роман, а два багряных столпа — Изяслав Ярославич и Борис Вячеславич. К Бояну относят и тему моря, функционально в «Слове» не совсем определенную, и гидроним *Каяла*, и др. (Никитин 1978). Точки зрения о бóльшей, чем принято считать, включенности текстов Бояна в ткань «Слова» придерживается и Б. А. Рыбаков (Рыбаков 1972, с. 417—483).

связаны с основным развивающимся сюжетом и относятся к настоящему времени. Приводим эти 11 отрывков:

1. Тогда Игорь възрѣ на с в ѣ т л о е солнце и видѣ отъ него т ь м о ю вся своя воя прикрыты.
2. Одинъ братъ, одинъ с в ѣ т ъ с в ѣ т л ы й ты Игорю!
3. Солнце ему т ъ м о ю путь заступаше.
4. Длъго ночь мркнетъ, заря с в ѣ т ъ запала, мъгла поля покрыла; щекотъ славий успе, говоръ галичь убуди.
5. Другаго дни велми рано кровавыя зори с в ѣ т ъ повѣдаютъ, чрьныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти $\tilde{Д}$ солнца.
6. Съ зарании до вечера, съ вечера до с в ѣ т а летятъ стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы.
7. Т е м н о бо бѣ во $\tilde{Г}$ день: два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ, т ъ м о ю ся поволокоста . . . На рѣцѣ на Каялѣ т ь м а с в ѣ т ъ покрыла: по Руской земли простроша половци, аки пардуже гнѣздо.
8. Нъ уже, княже Игорю утрънѣ солнцю с в ѣ т ъ.
9. С в ѣ т л о е и т р е с в ѣ т л о е Слънце!
10. Соловии веселыми пѣсньми с в ѣ т ъ повѣдаютъ.
11. Солнце с в ѣ т и т с я на небесѣ, Игорь князь въ Руской земли.

Анализируя тексты этих отрывков, можно сказать следующее:

1) внутренняя их перекличка отсутствует, внешняя перекличка невелика: *Щекотъ славий успе — Соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ*;

2) лексемы, формирующие оппозицию, многозначны (В. Л. Виноградова выделяет 7 значений для древнерусского слова *свѣтъ*, из них 3 приводятся ею по тексту «Слова»: ‘сияние’, ‘рассвет, утро’, ‘в обращении к близкому человеку’ (Виноградова 1978, с. 91—96). Многозначность эта создает несколько вовлекаемых сфер: морально-оценочная, цветовая, относящаяся к наличию света, а также света как дня или утра.

По тексту очевидно, что автор умел отделять все эти значения и сопрягать их в одном отрывке, создавая «сверхсмыслы». Например: *Темно бо бѣ во $\tilde{Г}$ день: два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ тъмою ся поволокоста . . . На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла; по Руской земли простроша половцы аки пардуже гнѣздо*. Здесь тьма наступает не в день затмения, разумеется, известный боярам, а на 3-й день (см. *Третьяго дни къ полудню падоша стязи Игоревы*). Таким образом, подлинная тьма — это поражение, позор, что более существенно, чем реальное затмение. С тьмою сопоставляются половцы. По мнению И. Клейна, половцы «связываются с дьяволом, властелином тьмы», автор их называет *дѣти бѣсови* (Клейн 1976, с. 65). Половцы ассоциируются с тьмою не только потому, что они поганые, но и потому, что они — враги, что их много и они неиндивидуализированы (ср. *простроша; отъ всѣхъ странъ Рускыя*

плъкы оступиша). Цветовая гамма поля 'светлый' ('темный' как прилагательное отсутствует) соотносится с черным цветом и кровавым. Эти два цвета сопровождают не только оппозицию «свет—тьма», но и «туга — веселие»: *Чрьна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна.* В поле анализируемой оппозиции см. *Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ, чрьныя тучя съ моря идутъ. . .* Далее в тексте памятника *кровавый* сохраняет этот смысловой комплекс — и крови, беды, и цвета крови: *Ту кровавaго вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии Русичи; а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскыми мечи; Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни; утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ.* Автор «Слова» создает именно оценочную перекличку, говоря о кровавых зорях, поскольку для выражения просто красного цвета он употребляет другие прилагательные: *чръленый, багряный*, И. Клейн считает, что именно эти цветовые прилагательные ассоциируются с белым, по древнерусской их синонимике, поэтому противопоставление света и тьмы есть и в отрывке *Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици прегradиша чрълеными щиты* (Клейн 1976, с. 66).

Черный цвет — это также цвет беды и цвет врага: *чрьныя тучя; чрьна земля; чрьный воронъ, поганый половчине* (в последнем случае И. Клейн считает эпитеты *черный* и *поганый* синонимичными, поскольку «они намекают на сферу сатаны и тем самым метонимически вызывают представление о нем» — Клейн 1976, с. 66). Мы же хотим обратить внимание на тройную перекличку темы грядущей беды в словах Святослава Всеволодича: *Си ночь с вечера одѣвахуть мя — рече — чрьною паполомою*, здесь победа тьмы возвещается трижды: *ночь, вечер* (*съ вечера до свѣта*), *черный*. Это уже — авторская находка поэтики.

Значение прозрачности, ассоциирующейся с дневным светом, соотносится в поле «тьма—свет» со средним параметром — мглой, Тема мглы возникает в тексте «Слова» 5 раз: 1-й раз именно в связи с тьмой — светом: *Длъго ночь мркнетъ. Заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла*; 2-й — *Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлограда, обѣсися синѣ мглѣ*; 3-й — *Прысну море полунощи; идутъ сморци мьглами*; 4-й — *И полетѣ соколомъ подъ мьглами*; 5-й — *О Донче. . лелѣявшу князя на влънахъ. . . одѣвавшу его теплыми мъглами подъ сѣнию зелену древу.*

В этом ряду обращают на себя внимание два отрывка: 2 и 4. Из них 2 относится к рассказу о волхве—князе Всеславе Полоцком, 4 — к самому Игорю. Сходство это могло бы казаться случайным, если бы не еще одна перекличка, убеждающая в намечающейся параллели. Именно после обращения Ярославны с Игорем связывается иное смысловое поле глаголов движения, он, с которым в анималистическом плане ранее ассоциируется лишь *бръзъ комонь*, пытается вскочить на коня, но *скочи съ него босымъ влъкомъ. . . и полетѣ соколомъ подъ мьглами.* Здесь ассоциация с Всеславом не-

сомненна, тот *скочи лютымъ звѣремъ въ плъночи* (ср. об Игоре — *Прысну море полунощи, идутъ сморци мъглами*), *обѣсися синѣ мглѣ . . . скочи влъкомъ*. Таким образом осуществляется перекличка с Всеславом по трем линиям — *полночь*, *скочить*, *мгла*. И. Клейн обращает внимание на тему мглы в этой оппозиции. Он сопоставляет эту ассоциативную линию с апокрифом «Хождение Зосимы к Рахманам», где бог помогает Зосиме перебраться через олицетворяющийся туман (Клейн 1976, с. 68). Сближение с Всеславом, не описанное Клейном, значительнее именно для глубинной структуры «Слова». Существенно и то, что в не рассматриваемом здесь историческом пласте «Слова» представлены — строго симметрично от серединной оси — два сюжета: об Олеге Гориславиче и о Всеславе Полоцком, оба — о князьях-авантюристах. Третьим, по принципу монтажной аллюзии, оказывается Игорь. О теме оборотничества в связи с Игорем писали раньше В. А. Гордлевский (1947), Б. А. Рыбаков (1972, с. 437) [9].

Таким образом «тьма—свет» связывается в «Слове» по линии цвета с кровавым и черным, как время дня — с мглой. Оценочно-ментальный уровень в свою очередь также связывается с черным (враг-язычник) и мглой (волхование).

3. Если в отрывках, посвященных теме туги—веселия, «спутником» оказывается тема Земли и Города, то в оппозиции «тьма—свет» сопутствующей является тема Солнца (см. Робинсон 1978). Обозначим Солнце как Сл, тогда вся последовательность текстов о тьме—свете выглядит как цепочка: /Сл/—/Сл/—/Сл/—/Сл/ Сл /Сл/—/Сл/. Солнце связано со светом, оно само есть свет и само противопоставлено тьме («Да здравствует солнце, да скроется тьма!»). Эпитет, сопровождающий солнце, — *светлое*. *Светлый* появляется в 1-м отрезке, стандартном зачине в духе воинских повестей, по В. Ржиге: *Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце*... Но в другом тексте этот эпитет исчезает: *Солнце ему тьмою путь заступаше*, светлым же является Игорь: *Одинъ братъ, один свѣтъ, свѣтлый ты, Игорю*. В следующих отрывках солнца — это Ольговичи: *Хотятъ прикрыти Д солнца* (т. е. Игорь, Всеволод, Владимир и Святослав Рыльский), что прямо расшифровывается боярами в обращении к Святославу: *Два солнца помѣркоста, оба багряныя стлъпа погасоста и съ нима*

[9] По некоторым исследованиям, образ Всеслава Полоцкого приобретает гигантские по значимости масштабы: он герой былинного цикла о Волхве Всеславьевиче (Jakobson, Sheftel 1949). Высказана идея о связи его с «Великим Куром», божеством-петухом, тогда Тмуторокань — это крайний земной предел, ultima Thule, а сам Всеслав преграждает путь Хорсу-Солнцу (Никитин, Филиповский, 1978); И. Клейн связывает Всеслава Полоцкого и его характеристику с изображением Антихриста в апокалиптической литературе (Клейн 1976б). Однако А. Н. Робинсон соотносит здесь «босым волком» Игоря не с оборотничеством и Всеславом (волком перемещаются Боян, Гзак, Игорь, Овлур), а с функционально значимой для памятника символикой действий, связанной с тюркским тотемом-волком, поскольку половецкая кровь текла в наибольшей степени именно в жилах Ольговичей (Робинсон 1978, с. 37).

молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ. Поэтому, может быть, И. Клейн слишком обобщает, считая, что изображение русских в «Слове» постоянно связывается со светом, сферой солнца (Клейн 1976, с. 66) и приводит этот же отрывок из речи бояр. Точно так же затруднительно согласиться с его же идеей о том, что Игорь хоть в каком-то аспекте воплощение светлого начала («абсолютное добро») — (Клейн 1976, с. 67). Гораздо конструктивнее оказывается интересная идея А. Н. Робинсона об особом, солярном покровительстве Ольговичей (Робинсон 1978). Из текста «Слова» не следует, что вообще все русские связываются с солнцем, и бояре отчетливо называют именно Ольговичей [10]. И изображение русских не связывается постоянно со светом, вои покрыты тьмой. Итак, эпитет *светлый* как бы отнимается у Солнца, светлым, по развитию сюжета, становится Игорь, а Солнцем называют Ольговичей. И только та же Ярославна возвращает Солнцу его титул: *Свѣтлое и трѣсвѣтлое Слънце*, после чего история поворачивается и *Солнце свѣтится на небесѣ*. Некоторым добавлением к концепции А. Н. Робинсона может быть и то, что в мире Ольговичей и Ярославны (Ефросиньи, дочери Ярослава Галицкого) представлено разное по освещенности и наполненности светом пространство. Младшие Ольговичи восстали против знамения, и все их поле — лишилось света (см. цепочку символов выше: *тьма, черная ночь, мгла*), Ярославна все видит иначе — для нее солнце открыто и обнажено, лагерь и воинов мужа она видит залитыми палящим светом — *Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои? въ полѣ безводнѣ жаждею имъ луци съпряже, тугою имъ тули затче*. В этом смысле побег Игоря есть действительно переход от тьмы к свету, как считает И. Клейн (однако тогда не подтверждается его же тезис о непременной связи русских со светом).

Итак, Солнце неотделимо от оппозиции «тьма—свет».

Солнце дает не только свет, оно же источник тьмы. А. Н. Робинсон, обращая внимание на этот синкретизм антиномий, говорил о «солнечной тьме», и даже, отмечая кольцеобразность сопоставлений—противопоставлений (а в нашем понимании, вся поэтика «Слова» может быть описана как система из кольцевидных смыкающихся пластов-антиномий, т. е. «антитез-скреп»), считает, что и в конце, как будто бы в самом благоприятном исходе решения конфликта, солнце сохраняет свою отчужденность и противопоставленность: *Солнце свѣтится на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли* (Робинсон 1978, с. 49—51). Итак, если Город и Земля — это человеческое начало, то Солнце — воплощение верха, всесильного, враждебного или милостивого божества. Так возникает еще одна, дополнительная антитеза «Слова».

[10] А. Н. Робинсон связывает Ольговичей именно с Даждь-богом, поэтому объясняется, по его концепции, упоминание обоих солярных божеств в «Слове»: Даждь-бога и Хорса. Последний соотносится с Всеславичами (Робинсон 1978, с. 32).

IV

Оба описанных противопоставления сопряжены, поэтому они разбирались в одной работе. Эта сопряженность представлена в тексте «Слова» непосредственным совмещением обоих полей. В первом случае — в тексте, передающем речь бояр Святославу, речь эта как бы объясняет ситуацию в целом: *Уже, княже, т у г а умь полонила... на рѣцѣ на Каялѣ т ь м а с в ѣ т ъ покрыла.* Если в речи бояр туга связывается с тьмой, то в речи Ярославны предстает другое ви́дение мира (см. об этом выше), туга связывается с солнечным светом: *Въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи съпряже, т у г о ю имъ тули затче.* Т. е. печаль и беда не соотносятся однозначно, а могут быть соотнесены и с тьмой, и со светом (причина — Солнце). В третьем отрывке, относящемся к радостному возвращению Игоря, присутствуют оба позитивных члена — *Соловии в е с е л ы м и пѣсьми с в ѣ т ъ повѣдаютъ.* Так эмоциональная сфера соотносится с морально-оценочной, духовной, с внутренним и внешним светом.

Разбирая эти две оппозиции, небольшой фрагмент смысловой структуры «Слова», мы были вынуждены в ряде случаев использовать и данные примыкающих смысловых полей, помогающие конкретному анализу. Это было неизбежно, так как вся поэтика «Слова» — поэтика соприкасающихся и налагающихся друг на друга компонентов текста — фонетических корреляций, лексем, фразеологизмов, исторических перекличек, эксплицируемых творческих поисков, в результате которых иногда создается нечто вроде монтажных приемов XX века, когда резкие перепады без переходов усиливают впечатление непосредственного текста. Большая работа Р. О. Якобсона начинается словом Puzzles. Оно означает не только ‘загадки’, ‘головоломки’, но некую головоломную игру, когда из множества мелких компонентов разной (или нет) формы и разного (или иногда — одного) цвета складывается одна-единственная картина. Такова и поэтика «Слова».

ЛИТЕРАТУРА

Булаховский Л. А. Избрани твори, т. III. Київ, 1978.

Буслаев Ф. И. — цит.: «Слово о полку Игореве». Материалы в альбомах. Альбом 6. Боян. М., 1938.

Виноградова В. Л. Словарь — справочник «Слова о полку Игореве», вып. 1. М.; Л., 1965; вып. 2. Л., 1967, вып. 3. Л., 1969; вып. 4. Л., 1973; вып. 5. Л., 1978.

Гордлевский В. А. Что такое «босый волк»? — Изв. ОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 4.

Иванов Вяч. Вс. О скрытой основе текста. К проблеме шифтеров в анаграмматически построенном тексте. — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М., 1981а.

Иванов Вяч. Вс. О соотношении дешифровки и интерпретации текста. — Там же, 1981б.

Клейн Й. Донец и Стикс (пограничная река между светом и тьмою в «Слове о полку Игореве»). — В кн. : Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление традиции. М., 1976а.

Клейн Й. «Слово» и апокалиптическая литература. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. Л., 1976б.
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве и культура его времени. Л., 1978а.
Лихачев Д. С. Представления о времени в «Слове». — В кн.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978б.
Лихачев Д. С. «Пирогощая» «Слова о полку Игореве». — Там же, 1978в.
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII — начала XIX в. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М., 1962.
Лотман Ю. М. Об эппозиции «честь—слава» в светских текстах киевского периода. — Учен. зап. ТГУ, вып. 198. Труды по знаковым системам, III. Тарту, 1967.
Никитин А. Л. Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве». Сон Святослава. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. М., 1978.
Никитин А. Л., Филиповский Г. Ю. Хтонические мотивы в легенде о Всеславе полоцком. — Там же.
Николаева Т. М. Некоторые приемы лингвистики текста в «Слове о полку Игореве» и их функциональная нагрузка. — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М., 1981.
Ржига В. Композиция «Слова о полку Игореве». — Slavia, ч. IV, 1925—1926.
Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. М., 1978.
Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI—XIII вв. М., 1980.
Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.
«Слово о полку Игореве». Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950.
Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления. — In. Structure of texts and semiotics of culture. The Hague; Paris, 1973.
Топоров В. Н. О структуре «Царя Эдипа» Софокла. — В кн.: Славянское и балканское языкознание, 1977.
Топоров В. Н. О числовых моделях в архаичных текстах. — В кн.: Структура текста. М., 1980.
Топоров В. Н. Из исследований в области анаграммы.—В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М., 1981.
Цивьян Т. В. Анализ одного «александрийского стихотворения» К. Кавафиса. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. М., 1979.

Frank M. Was heiβt «einen Text verstehen». — In: Texthermeneutik. Aktualität, Geschichte, Kritik. Padeborn; München: Wien; Zürich, 1979.
Jakobson R., Szeftel M. The Vseslav Epos. — In: Russian Epic Studies. Philadelphia, 1949.
Jakobson R. The puzzles of the Igor' Tale on the 150th anniversary of its first edition. — In: Jakobson R. Selected writings, IV. The Hague; Paris, 1966.
Junker H. Rhetorik und Texgrammatik. — Romanische Forschungen, 1976, Bd. 88, H. 4.
Lachman R. Rhetorik — alte und neue Disziplin.— Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. Köln, 1981.
Nassen U. Notizen zur philologischen Hermeneutik. — In: Texhermeneutik. Aktualität, Geschichte, Kritik. Padeborn; München; Wien; Zürich, 1979.
Texhermeneutik, Aktialität, Geschichte, Kritik. Padeborn—München; Wien; Zürich,, 1979.

Н. И. ЖИНКИН

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИНТОНАЦИИ В РЕЧИ И В МУЗЫКЕ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Явление интонации по самой своей природе было, казалось бы призвано стать средоточием многообразных научных интересов Николая Ивановича Жинкина (1893—1979) — эстетика, изучавшего формы выразительности в различных видах искусства, психолога, предметом внимания которого был внутренний механизм создания и восприятия речи в ее неразрывном единстве с мышлением, лингвиста, всегда стремившегося к исследованию реальных процессов речевой коммуникации в их целостности, включающей систему языка как важный, но лишь один из взаимосвязанных элементов [1]. Действительно, кандидатская диссертация (Жинкин, 1946), хотя и была, в противоречии со структурой своего названия, посвящена преимущественно «общим проблемам экспрессии», в итоге их обсуждения в самом конце работы вплотную подводила автора и читателя к проблематике интонации. Но специальное исследование последней так и не появилось: при всей значимости наблюдений, теоретических положений и экспериментальных результатов по проблемам интонации, содержащихся в: Жинкин 1955, с. 31—34; 1956, § 4, с. 197—214; 1958, § 23, с. 188—203; 1965, с. 10, 32—36, интонация во всех этих работах (исключая разве что тезисную по форме Жинкин 1961) всегда затрагивалась лишь попутно или как один из аспектов какого-либо комплексного явления.

Понять причины возникновения этого странного пробела и отчасти даже восполнить его помогает архив ученого, разобранный и описанный в 1979—1980 гг. автором данного предисловия и Н. И. Лепской и затем переданный наследниками в Государственный архив Московской области. В составленной около 1960 г. биографической справке Н. И. Жинкин писал, что после завершения кандидатской диссертации им действительно планировалось «экспериментальное исследование речевой интонации как индикатора общей экспрессии», для которого он произвел ряд звукозаписей актерской речи «таким образом, чтобы лексический состав эпизодов был одинаков, а ситуация общения разная» (по-видимому, эти записи — или их часть — легли позднее в основу Жинкин 1958, § 23). Но «при обработке. . . записей на акустико-аналитической аппаратуре встретились неожиданные и непреодолимые препятствия, главным образом, в части интерпретации динамики речевого процесса ‹. . .› Обработку актерских записей пришлось отложить и было решено приступить к изучению самых элементарных явлений речевой фонации».

---

[1] Напомним, в частности, что задолго до распространения современной теории речевых актов он привлек понятие «речевого действия» для анализа природы вопроса и указал на решающее значение этого понятия для изучения речевого общения и классификации его разновидностей (Жинкин 1955, с. 30—33; Жинкин 1958, с. 203).

Изучение этих элементарных явлений привело к серии блестящих открытий, подытоженных в публикациях 60-х годов, а к задуманному в начале экспериментальному изучению интонации ученый уже не вернулся.

Подготовка к предполагавшемуся исследованию не ограничилась сбором экспериментального материала. Итогом «ориентировочного» теоретического осмысления затронутых явлений стала большая (244 с. машинописи) работа «Психологические вопросы интонации речи», датированная 1948 г. Она состоит из трех больших разделов: «I. Общее понятие об интонации речи», «II. Практическое значение изучения интонации речи» и «III. Смысловая функция интонации». Главный и самый объемный среди них — третий, включающий параграфы 10—14: «Словное ударение как элемент предложения и фразы», «Грамматическая интонация», «Предикативная функция речи», «Беспредикативная интонация» и «Подтекстовая экспрессивная интонация».

Какие-либо сведения о том, почему работа не была напечатана сразу по ее завершении, в архиве отсутствуют. Но можно не сомневаться, что в конечном итоге отказ от публикации был обусловлен тем, что автор остался неудовлетворен плодами своего труда. При всех частных удачах «Психологическим вопросам. . .» в целом явно недостает той стройности и убедительности, которыми отмечены публикации 50-х годов.

Подобный исход был объективно обусловлен: в 1948 г. не только было преждевременным экспериментальное исследование интонации в том ее охвате, что замышлялся Н. И. Жинкиным, но и не были, по существу, достаточно ясными ни та теоретическая перспектива, в которой предстояло вести исследования, ни необходимый для этого концептуальный аппарат. Придя в поисках «единицы и субстрата» интонации к понятию «фразы» как реальной единицы речи и мысли, противополагаемой изолированному предложению как единице языка (см. выдержки, приведенные в 9-м примечании публикатора), Н. И. Жинкин фактически подхватил намеченную Г. В. Артоболевским (1940, § 4) идею исследования интонации как явления целого текста: «Фраза это цемент, скрепляющий предложения. Одно предложение перекликается с другим, составляя движение и ход мысли в тексте» (с. 35 машинописи). Такая трактовка фразы и интонации ставила «Психологические вопросы. . .» в один ряд с вышедшими в том же 1948 г. трудами И. А. Фигуровского, Г. О. Винокура, А. А. Смирнова, В. А. Никольского, с которых берет свое начало систематическое развитие советской лингвистики текста (см. Гиндин 1977, с. 348). Но именно потому, что это было начало, само понятие «текста» (и связанные с ним) было еще в гораздо меньшей степени готово к тому, чтобы стать и предметом, и инструментом анализа, чем даже в середине следующего десятилетия, к моменту создания (Жинкин 1956). Да и предшествующими «внутрифразовыми» штудиями исследования интонации целого текста были подготовлены куда менее, чем, скажем, те исследования межфразовых связей, что вели Г. О. Винокур и И. А. Фигуровский. Вот почему, как представляется, были неизбежны та композиционная рыхлость и теоретическая гетерогенность, которые и остались непреодоленными в «Психологических вопросах. . .».

Так или иначе, но этой работе Н. И. Жинкина суждено было остаться своего рода «внутренним источником питания» для последующих трудов ученого. Скажем, в Жинкин 1958 без каких бы то ни было пояснений активно эксплуа-

тируется введенное в «Психологических вопросах. . .» понятие фразы, а работы Жинкин 1955, 1956 в значительной степени являются развитием выдвинутых в 1948 г. соображений о предикативной структуре фразы и текста. Тем не менее содержание «Психологических вопросов. . .» не было исчерпано этими позднейшими трудами, и многие части работы 1948 г. и сегодня представляют немалый научный интерес.

Для настоящего выпуска «Проблем структурной лингвистики» в соответствии с общей тематикой публикуемой в нем подборки по интонации стиха отобран небольшой параграф из I раздела, «Взаимоотношение компонентов интонации» (§ 6, с. 53—67), посвященный сравнению принципов интонационной организации речи и музыки. Как и другие части работы 1948 г., этот параграф дал начало по крайней мере двум ветвям дальнейших исследований автора. Идея о том, что стихотворная речь сочетает в себе речевые и музыкальные интонационные принципы, была положена в основу изучения интонации стиха (Жинкин 1961, с. 80—82; 1965, с. 32—36), а противопоставление бытовой речи и музыкального (прежде всего — певческого) исполнения как деятельности непроизвольной и произвольно управляемой вылилось в сравнительное исследование фонации и управления фонацией в речи и пении (Жинкин 1963, 1978). Однако в первых двух из названных публикаций внимание автора было обращено более на семантические следствия внедрения стиховой интонации, нежели на нее самое, в двух других исследуется скорее механизм порождения фонической цепи, нежели ее собственная структура. Публикуемый же фрагмент рукописи 1948 г. обращен именно на природу, материю самой интонации, и, позволяя познакомиться с общим истоком двух указанных ветвей исследования, как бы перебрасывает определенный мостик между «техникой» и «семантикой» интонации.

При подготовке публикации изменена форма ссылок на литературу. В комментариях публикатора оговорены некоторые дефекты машинописи (не до конца выверенной автором), приведены необходимые выдержки из других разделов работы (со ссылками на страницы машинописи), а также указаны определенные параллели с другими, опубликованными и неопубликованными, трудами Н. И. Жинкина.

Пользуюсь случаем поблагодарить вдову Н. И. Жинкина Л. А. Лихачеву за предоставление права публикации и за согласие на осуществление публикации по частям.

С. И. Гиндин

Когда в номинальном определении интонации перечисляются шесть признаков [1], кажется, что все эти признаки равнозначны. Но следует сразу же усомниться в этом. Вероятнее допустить, что соотношение этих признаков между собой различно, если сравнивать в этом отношении речь и музыку.

Существует традиция (ее придерживается, например А. М. Пешковский) записывать интонацию речи путем указания звуковысотных изменений. Это делается на слух при помощи поднимающихся и опускающихся линий, помещаемых под строчками текста. С другой стороны, Л. В. Щерба, занимаясь интонационной транскрип-

цией текста, обходится без обозначения звуковысотных изменений, сосредоточив все внимание на динамических и временных переменах в фразах.

Даже поверхностное сравнение этих двух способов интонационного толкования текста показывает, что преимущество остается за вторым. Не говоря уже о том, что точные звуковысотные изменения в речи очень плохо определяются даже на очень хорошо развитой слух (приблизительное определение через 5, 6 прослушиваний), записанная звуковысотная интонация для данной фразы мало обязательна. Одна и та же фраза, произнесенная дважды в совершенно одинаковой смысловой ситуации, один раз может дать повышение тона на каком-либо слове, другой раз понижение у разных лиц. В наших опытах часть испытуемых один и тот же... [2], в одной и той же ситуации произносили с повышением, другая часть — с понижением тона.

Кроме того, при определении интонации на слух можно найти только две характеристики повышения и понижения (без определения интервала), что обозначает бедность учитываемого результата. Ведь по самому замыслу такого определения ничего другого, кроме повышения или понижения ‹быть не может›, тогда как смысловые различия интонаций понимаются гораздо разнообразнее и богаче.

Наоборот определение интонации речи ее главным динамическим компонентом (ударение) и длительностью [3] (паузы), настолько характерно, что нарушение этих опорных пунктов или меняет смысл высказывания, или приводит к бессмыслице. Если в фразе *Два дня ему казались новы* не отделить слова *два дня* от *ему казались новы*, то мы поймем, что новы были именно дни. В действительности Пушкин имел в виду другой смысл («Евгений Онегин», гл. 1, ‹строфа› 54): *Два дня* // [4] *ему казались новы уединенные поля* / *прохлада сумрачной дубровы* / *журчанье тихого ручья*. Новым был не день, а поля, прохлада и журчанье. Если слова *два дня* не соединить, а разъединить паузами, или соединить, а не разъединить слова *дня ему*, то получится просто бессмыслица.

Таким образом, задача соединения и разъединения слов в речи гораздо более важная, основная и элементарная, чем мелодические вариации. Это важно подчеркнуть в противоположность наблюдавшемуся раньше увлечению так называемой мелодикой речи. Как показывают материалы инструментальной записи и анализа речи, именно динамические и долготные характеристики раскрывают чрезвычайное разнообразие в ее смысловых оттенках. Малейшие изменения в длительности фонем, слогов, слов и синтагм, изменения в силе или близости расположения одного слова к другому сказываются на выразительности речи. Таким образом, именно эта динамико-временная сторона является самой специфической и характерной для речи и отличает по существу речевую интонацию от певческой. Если мы даже не различаем значения слов, как, например, при слушании незнакомого иностранного языка или разговора на родном

языке за стеной соседней комнаты, когда слова теряют звуковую границу, то и в этих случаях мы ясно отличаем интонацию разговора от пения именно вследствие специфической прерывности речи и, наоборот, непрерывности пения. Все эти обстоятельства заставляют нас признать, что различие определения интонации в музыке и в речи не является просто формальным, условным или случайным, Оно касается самого существа в различии этих явлений.

Нельзя сказать, что определение музыкальной интонации как только звуковысотных изменений более узко, что в этом определении не учитываются другие признаки интонации вообще. Наоборот, темпо-ритмические изменения и расчет на тембр входят в состав интонационного движения в музыке и пении. Определение музыкальной интонации как звуковысотных изменений имеет в виду не исключить все иные компоненты интонации, а, наоборот, включить их в ведущую систему звуковысотных изменений. Сосчитывая по порядку интонационные элементы в музыке и в речи, мы придем к выводу, что число их одинаково. Но дело не в числе и не в арифметической их сумме, а в соотношении всех этих элементов. В музыке основным носителем «смысла» является звуковысотное движение. Как слово остается т е м ж е, пока оно состоит из тех же фонем, так и мелодия остается т о й ж е, пока не изменяются ее звуковысотные (и ритмические) характеристики, как бы ни менялись при этом динамика и тембр звучания. При этом не вся звуковысотная сторона в целом имеет ведущее значение, а именно звуковысотное движение, «или отношение по высоте между звуками, но не звуковысотный уровень, на котором это движение осуществляется» (Теплов, 1947, с. 92).

В пении и речи различно не количество интонационных элементов, а соотношение сил. С одной стороны,— сила относительного, интервального звуковысотного движения, с другой — сила раздельностей и прерывистости слов и синтагм фразы. Обе силы вступают в борьбу так, что в результате одна из них, преодолевая другую, становится ведущей. Этим объясняются и разнообразные переходы от пения к речи — близкий к речи речитатив в пении и близкая к пению мелодическая речь при чтении стиха или мелодекламации. Динамическая, ударная сила речи и неодинаковая длительность ее элементов противостоит мелодической силе пения. Поэтому можно сказать, что в потенции речь лишена мелодии, а пение прерывистости и ударности, но реально обе эти силы участвуют в построении обоих типов интонации в разном соотношении, как бы далеко они ни расходились в концах единой цепи.

Это обнаруживает‹ся› при исполнении. В нотной записи музыки нет точного и однозначного обозначения динамической стороны звучания (Теплов 1947, с. 93), но вместе с тем при исполнении динамические компоненты мелодии не теряют своего выразительного значения. Наоборот, нюансы силы и ослабления звука являются одним из существенных выразительных средств исполнителя. Это

значит, что мелодия и при записи была задумана в определенном динамическом рисунке. Задача исполнителя заключается в том, чтобы творчески понять его и выполнить. Конечно, и в пении звуковысотная сила движения интонации останется ведущей.

В различии двух типов интонации — речевой и певческой для психолога интересна не внешняя сторона, а смысловая. В чем же заключается выразительный смысл борьбы этих двух сил — мелодической и динамической? Иначе говоря — какой причиной определяется применение то одних, то других средств интонационной выразительности? Можно ли сказать, что музыка выражает чувства человека полнее и адекватнее, чем разговорная речь, что в речи дается лишь ряд «холодных» обозначений, а в музыке «теплота и непосредственное выражение чувств»?

Ответ на эти вопросы может быть получен, если присмотреться ближе к характеру той борьбы, которая возникает между указанными выше силами интонации. Раздельность слов в речи возникает главным образом от их значений. Речь, конечно, прежде всего предназначена для обозначения. В ее состав входят только те слова, которые содержатся в лексике современного языка. Для целей обычного разговора в устной речи говорящий не имеет ни возможности, ни необходимости и потребности выбирать слова по длительности, по чередованию гласных и располагать их в метро-ритмический ряд, как в стихотворении. Он берет слова, не считаясь с их длиной и качеством звучания, заботясь только о содержании их обозначений и языковой правильности построения высказывания. При этих условиях в звукоряде создается упругая и трудно поддающаяся интонационной обработке сила. Здесь все не на месте, все препятствует закономерному развитию мелодического движения. Мелодия не успевает установиться главным образом потому, что на каждый гласный звук отводится ничтожное время — 150, 200 мсек — время, достаточное для узнавания фонемы, но ничтожное по количеству периодов основного тона.

Но разве все в живой разговорной речи выражается только со значением? Разве, желая выразить беспокойство, я ограничен только тем, что должен произнести суждение — *я беспокоюсь?* Разве мы не слышим в интонации фразы, содержащей совершенно другое суждение — *а его нет и нет — где же он*? — то же выражение чувства беспокойства? Стала ли от этого вторая фраза более певучей и музыкальной, вышла ли она из категории речи — конечно, нет. Лучше и адекватнее я выразил бы свое чувство беспокойства, если бы я пропел первую или вторую фразу? Такой способ выражения никому не придет в голову в процессе обычного, живого разговора, да еще в подобной ситуации.

Следовательно, в живой, разговорной речи мы не только обозначаем, но и непосредственно выражаем чувства. Интонационная сила все же вступает в свои права. Несмотря на инертное сопротивление словесного ряда, организуются синтагмы, выделяется фразовое уда-

рение, создается звуковысотное повышение или понижение, обособляются группы слов по громкости произнесения и в конечном счете создается определенная интонация.

Возникает возможность не только на слух заметить и угадать выраженное в речи чувство, но и записать на анализирующем аппарате конфигурацию интонационных вариантов, а вместе с тем и измерить выражение чувства в самых тонких его проявлениях.

Самым важным с психологической стороны обстоятельством при выражении чувства в речи является то, что это выражение происходит непроизвольно. В разговоре ни мало не стараются намеренно и сознательно путем интонации выразить свое чувство. Скорее наоборот — стараются скрыть его. Для сознательного и намеренного выражения чувства в речи широко открыты другие двери через систему словесных значений, а не через интонацию.

Совершенно иначе обстоит дело в пении. Решительная победа силы звуковысотного движения над инертным звукорядом словесных раздельностей осуществляется в результате намеренного и сознательного построения самого звуковысотного ряда. В его угоду н а м е р е н н о «попираются» словесные раздельности, т. е. уравновешиваются. Те из них, которые малы, — растягиваются, более «длинные» — разбиваются на части или сжимаются. Получаются равновеликие такты и ритмическая архитектоника, которых нет в речи. Все это уничтожает синтагмы речи, и «побежденные» в этой борьбе раздельности слов включаются в единый поток звуковысотного движения. Вместе с уничтожением реальных синтагм речи уничтожается и выражаемая ими речевая эмфаза. Иногда в угоду звуковысотному ряду в пении нарушается отраженная в‹о› фразе грамматическая структура предложения, а иногда слово даже теряет свое обычное ударение [5].

Нельзя произвести иначе все эти изменения, как только сознательно с намерением петь, т. е. звуковысотно интонировать. Для этого необходимо не только слышать звуковысотный ряд, но и уметь его воспроизвести. Наоборот, в речи всякий человек независимо от его метро-ритмического слуха и способностей будет говорить с интонацией страха, умиления, ласки, почтения и т. п., не намереваясь (за исключением особых случаев) произнести интонации, она получается просто сама собой. Говорящий только с трудом может воспроизвести снова ранее произнесенную им интонацию, не говоря уже о воспроизведении интонации другого лица. Это уже особое искусство. Для певца, чтобы он сознательно воспроизвел интонацию, она записана в нотах, для говорящего ничего не записано и даже для читающего в знаках препинания даны лишь некоторые намеки на интонацию. От певца требуется, чтобы он интонировал согласно записанному в нотах, поэтому возникает вопрос о правильности пения. Говорящему никто заранее не предписывает никакой интонации. Она выливается у него прямо «от души», от его реальных намерений, потребности и желаний. Здесь не возникает вопроса

о правильности интонирования. Как бы ни интонировал человек ту или иную фразу в живом разговоре, эта интонация будет реальным фактом, а не воспроизведением чего-либо иного. Воспроизведение может быть правильным или неправильным, но самая наличность выраженного реального чувства есть само чувство, а не воспроизведение его.

Отсюда выясняется существенное различие смысловой роли интонации в пении и разговорной речи, а также и различие переходных видов речевого общения — чтения делового текста, художественной прозы, стиха, эстрадного или сценического исполнения. Во всех случаях, чтобы узнать — что выражается и какими средствами выражается мысль, воля и чувства, необходимо различать воспроизводящее и реальное выражение. Читая, я воспроизвожу не свои, а чужие мысли, чужую волю и чувства. Возникает вопрос, правильно ли я это делаю — те ли мысли и те ли чувства я воспроизвожу, которые даны в изложенном тексте. Наоборот, когда я просто говорю в живой беседе, я не воспроизвожу чужих мыслей и чувств. И даже когда я рассказываю о том, что рассказывал другой, я все равно в этот момент выражаю свои чувства, а не воспроизвожу чувства другого (если это не делается как инсценировка на сцене).

Певец, когда он исполняет музыкальное произведение, не выражает своих реальных, в данный момент наличных чувств, наоборот, он подавляет их в угоду тем, которые выражены в звуковысотной записи нот. Но и композитор не выражал в своем произведении тех реальных чувств, которые обуревали его в тот самый момент, когда он записывал свое произведение [6]. В какой мере грустит композитор, когда записывает грустную мелодию, и в какой мере радуется, когда записывает веселую, — вопрос совершенно особого порядка. Конечно, композитор, равно как и исполнитель, заранее знают грусть и радость, именно поэтому они и осмеливаются их выражать в музыке и пении, именно поэтому они хотят, чтобы и другие знали о том же. Они повествуют о том, что по самой природе, по их мнению, свойственно чувствам грусти и радости. Поэтому естественно в области искусства возникает вопрос об адекватности выражения. Но для того чтобы возник этот вопрос, необходимо, чтобы были самые реальные, живые, в человеческом общении возникающие чувства. Именно о них и слагает свою музыку музыкант.

Когда же человек участвует в живом, естественном разговоре, он не воспроизводит какого-то иного, им ранее наблюдавшегося или известного чувства, он просто живет этим чувством, отвечает им на события окружающей жизни. Мы — слушающие — не ставим перед собой вопрос о том, правильно ли в его интонации исполнено или воспроизведено чувство радости или грусти. Другое дело, когда оратор намеренно строит свою речь так, чтобы взволновать аудиторию. Тогда мы вправе спросить — какими средствами он это делает и в какой мере достигает цели. Актер на сцене как будто во всем похож на человека в обычном разговоре в жизни, но так как он не

выражает свои собственные чувства, а воспроизводит чувства роли, мы опять вправе спросить — верно ли он делает это. Однако во всех случаях человеческая речь, где бы она ни возникала — в жизни или на сцене — и какую бы значительную роль ни играла в ней интонация, производится не для того, чтобы интонировать. Для музыки же именно это, т. е. звуковысотное интонирование и является главным делом. Музыка — это сама интонация, тогда как в речи она только помощница словесного общения *. Всякая попытка обратить особое, специальное внимание на интонационную форму речи для того, чтобы ее перенять, приводит, как показывает практика театра, к потере выраженности чувств. Наоборот, как только актер перенесет внимание на смысловую сторону общения, так тотчас же, при разрешении этой задачи, правильная интонация возникает сама собой [7].

Таким образом, в основе интонации речи лежит временной и динамический синтез. Из этого положения следует сделать выводы. Первый вывод методический — исследование интонаций будет плодотворным только в том случае, если мы в качестве индикаторов интонационных вариантов не забудем взять измерения динамики речи и ее членения во времени. Высотные изменения в речи приходится расценивать и понимать как заменители акцентно-динамических явлений. Слепоглухонемой без ущерба для фразового языкового синтеза заменяет все высотные вариации динамическими и временными. Нормально слышащий широко пользуется высотными уровнями и вариациями в речи, однако высотный ряд и у него никогда не превращается в мелодию. Повышение и понижение тона понимается как речевой акцент — в ы д е л е н и е. Это видно хотя бы из тонального изменения ударяемого слова фразы в вопросе, состоящем из нескольких слов, — *пойдете ли вы сегодня в театр*? При этом заметно, что *а* в слове *театр*, чтобы приобрести повышение, должно быть и растянуто во времени, т. е. стать долгим.

Тональное изменение фонемы делается не для создания мелодии, а для качественного выделения слова. Поэтому термин «мелодика речи» должен быть забыт [8]. При исследовании речи мы должны искать в первую очередь динамических и временных характеристик, а богатые тонические варианты интерпретировать как средства акцента. Соответственно и наши поиски аппаратуры для изучения речи должны быть направлены именно в эту сторону. Обработка только осциллограмм... сама по себе не дает ровно ничего для понимания интонации речи. Наоборот, толкование звуковысотного ряда в связи с записями уровней громкости и регистрацией сложных временных соотношений позволяет наметить смысловые типы интонационных вариантов

* Общение людей, которое происходит через музыку, не нуждается в помощи слов, хотя музыка и выражает в своем содержании человеческие чувства. См. подробное обсуждение этого вопроса в: Теплов 1947, с. 5—22.

Второй вывод касается самой психологической природы интонации. Надо думать, что интонация как в речи, так и в пении, равно как и в инструментальной музыке есть не что иное как фразовый, динамико-временной синтез сенсуальных данных. Строго говоря, записываемый в музыке звуковысотный ряд вовсе не интонация, так как один и тот же ряд может быть интонирован по-разному при исполнении. Психологически весьма примечателен тот факт, что интонация нигде, ни в речи, ни в музыке, не записывается — ее надо делать живому человеку, потому что это агент живого общения. Именно поэтому она различна в разные эпохи развития человеческого общества. Как в речи интонация принадлежит языку народа и не зависит от воли каждого говорящего (хотя в ней и проявляется его воля), так и в музыке музыкальная фразировка принадлежит не отдельному исполнителю, а самой музыке, создаваемой народом в тех интонациях, в которых он слышит и поет в данную эпоху. Музыкальное исполнение станет непонятным, если оно будет осуществлено в иных динамико-временных синтезах, чем те, на которых поет народ. В этом отношении очень интересно то особое понимание термина интонации, которое развивает Б. В. Асафьев (Асафьев 1946, 1947). «Перемонтируя» отжившие по интонации куски музыки другой эпохи (в балете «Пламя Парижа»), Б. В. Асафьев не делал ничего иного, как п е р е в о д и л на другую, понятную нам новую динамико-временную фразу тот же звуковысотный ряд и гармонический склад, который был записан в нотах исходного композитора. При этом, говорит Б. В. Асафьев, «ритмы акцентов и степень силы акцентов, смысловая расстановка пауз и многие различные „заимствования“ из современной речевой интонации очень помогали мне в вызывании музыкальными средствами динамики страстных и народно-пламенных событий».

При таком понимании интонации мелодический и гармонический ряд в музыке соответствует предложению в речи, а динамические и временные акценты — фразовому синтезу [9]. Поэтому, строго говоря, при точном определении интонации надо поступить обратно тому, что принято в музыке — изменения звуковысотного ряда следует понимать не как интонацию, а как систему музыкального предложения. В речи же и звуковысотные изменения как одно из средств акцентно-временного синтеза в акустической фразе входят именно в интонацию и фразу, а не в предложение. Предложение речи состоит из слов, предложение музыки из звуковысотного ряда. Поэтому, как это ни странно, речь интонационно богаче, чем музыка. Так как речь является тончайшим выразителем человеческих чувств (чуткий индикатор динамико-временных связей мозга), то интонация пения опирается на речь, а музыка вырастает из песни, возникает взаимосвязанный ряд — чувства, живая речь, пение, музыка.

ПРИМЕЧАНИЯ ПУБЛИКАТОРА

[1] В параграфе, специально посвященном «номинальному определению» интонации (§ 2), Н. И. Жинкиным перечислено 5, а не 6 признаков: «1) высотные модуляции (повышение и понижение тона), 2) громкость звука, 3) длительность, 4) темпо-ритмические перемены как явление более спорное, состоящее из сочетания громкостей, пауз и длительностей и 5) темп произнесения» (с. 5). Позднее в качестве «исходных элементов всех видов интонации» Н. И. Жинкин рассматривал лишь три «собственных параметра»: длительность, высоту и громкость (Жинкин 1965, с. 33; мотивировку исключения тембра см. Жинкин 1961, с. 79).

[2] В машинописи пропущено одно слово, возможно слово *вопрос*. Ср. анализ вопроса *Сколько это стоит?* в произнесении шести актеров в кн.: Жинкин 1958, § 23, а также Жинкин 1961, с. 79.

[3] В машинописи вместо *ее* напечатано *его* и вместо *длительностью — длительности*.

[4] Двойная черта употребляется Н. И. Жинкиным для обозначения не стихораздела, а главного интонационного разбиения фразы. Одинарная черта в данном примере обозначает, видимо, границы более дробных интонационных подразделений (фактически совпадающих именно со стихоразделами).

[5] Изменений, претерпеваемых синтагматикой речевой цепи при пении, и роли семантического фактора для сохранения ее самотождественности при этих изменениях, Н. И. Жинкин касался также в § 3 части 1-й «Субстрат речевой интонации»: «Наличие значения слова создает в восприятии еще большую прерывистость произносимой речи. . . Пение часто в угоду мелодике и своей собственной ритмике не считается с цельностью слова и, отрывая конечный или конечные слоги, т. е. части слова, может присоединить их близко к следующему слову. В пении растягивание слогов умаляет звуковое единство слова. . . ‹. . .› Из двух причин, создающих раздельность слов в речи, — единство ударения окруженных реальными или мыслимыми паузами слов и значение — последнее является главным. Поэтому даже тогда, когда звуки двух соседних слов тесно сливаются в один поток, между словами все равно возникает мысленно понимаемый перерыв. ‹. . .› И в пении, несмотря на неестественное для разговорной речи растягивание слогов и сближение слов в неразрываемом потоке звука одинаковой высоты и, наоборот, изменение высот на одном слоге, а также частую замену слогового ударения тоническим, слова все же узнаются и разделяются теперь уже только в результате раздельности их значений» (с. 18—19).

[6] Данное высказывание, безусловно, слишком категорично хотя бы уже по той причине, что игнорирует различия между такими этапами творческого процесса, как зарождение произведения и сознательная работа над ним. Равным образом и для исполнителя-певца сохраняется возможность перевоплощения, когда выражаемые им чувства персонажа становятся на время исполнения его собственными. В архиве Н. И. Жинкина сохранилась стенограмма доклада в Московской консерватории «Музыка и речь», прочитанного (судя по тому, что в нем излагаются те же идеи, что и в Жинкин 1965, впервые опубликованной по-английски еще в 1962 г.) в начале 1960-х годов. Называя в нем музыку способом «транспортировки чувств», Н. И. Жинкин фактически признавал и то, что композитор передает в произведении и свои чувства: «При помощи музыкальных правил, организующих звуковой материал, передаются наиболее дорогие для человека чувства. Для этого из музыки исключаются денотаты, исключаются значения. Оставляется только смысл. Не так важно, по поводу чего я грущу, на что надеюсь и эта надежда меня радует. Эту надежду можно перевести в бесконечном множестве вариантов, в тысячах слов. . . .Потому-то музыка так и волнует человека, что в ней запечатлевается с а м о е д о р о г о е, что есть в нем, — это о н с а м. . .» (разрядка наша — *С. Г.*).

[7] Высказанное здесь мнение получит развитие в тезисе о «коррелятивности» интонации и ситуации (Жинкин 1958, с. 201—203; 1961, с. 79—80; 1965, с. 33). До известной степени представление о коррелятивности распространялось и

на стихотворную речь (см. Жинкин 1961, с. 82). Однако при этом Н. И. Жинкин признавал, что для интонации стиха не соблюдается такое важное условие коррелятивности, как возможность создания чисто лексического эквивалента интонации в тексте большего объема (Жинкин 1958, с. 202); интонация в стихе способствует возникновению информации, не поддающейся переводу в однозначный текст, а только в совокупность интерпретирующих текстов (Жинкин 1961, с. 82).

[8] Ср.: в стихотворной речи «интонация приобретает м е л о д и ю, отсутствующую в прозаической речи» (Жинкин 1961, с. 82).

[9] Используемое здесь различение предложения и фразы, являющееся ключевым для всей работы Н. И. Жинкина (см. предисловие к публикации), может быть пояснено следующими выдержками из § 3 («Субстрат речевой интонации»): «Будем называть предложением систему таких грамматических связей между словами, которые обеспечивают а) устойчивость знаменательного значения слова и б) устойчивость его грамматической формы (так называемое грамматическое значение). Устойчивость обоих этих видов значений обеспечивает предварительную заготовку мысли» (с. 22). «Но имея любое отдельное предложение, мы еще не знаем точно, какая же именно выражена в нем мысль. . . .Оно содержит в себе не одно, а множество суждений. ‹. . .› . . .предложение *птица летит* может быть понято так, что предикатом будет *птица*, или так, что предикатом станет *летит* . . . Но предикат можно вообще убрать, превратив предложение в вопрос *птица летит*? В том же предложении можно выразить и другие смысловые качества — сомнение, недовольство, сожаление и т. п.» (с. 20). «. . .предложение во всех случаях недостаточно для определения полного смысла в процессе общения людей. . . .П о д ф р а з о й б у д е м п о н и м а т ь с м ы с л о в о й с и н т е з в р е ч и, в к о т о р о м о т д е л ь н о е в ы с к а з ы в а н и е п р и о б р е т а е т в п о л н е з а к о н ч е н н о е, к о н к р е т н о е о п р е д е л е н и е» (с. 23; разрядка автора).

Использование здесь достаточно традиционного для работ об интонации термина «фраза» не должно заслонять принципиальную разницу в его понимании. Фраза для Н. И. Жинкина не есть единица только звуковой, фонетической реализации речи — как форма и единица осуществления мысли в речи в том или ином виде фраза будет присутствовать во всех формах реализации (см. § 5 «Психологическая проблема фразы», посвященный общению глухонемых и слепоглухонемых людей). Поэтому вводимое Н. И. Жинкиным разграничение аналогично не омонимичному с ним различению «предложения» и «фразы» в фонетических работах, а таким современным дихотомиям, как, скажем, «предложение : высказывание» (Daneš 1964) или «квазипредложение : предложение» (Звегинцев 1976).

ЛИТЕРАТУРА

Артоболевский Г. В. Основы художественного чтения. — РЯШ, 1940, № 5.

Асафьев Б. В. Советская музыка и музыкальная культура. — В кн.: Сов. музыка. М.; Л., 1946.

Асафьев Б. В. (*Игорь Глебов*). Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. М.; Л., 1947.

Гиндин С. И. Советская лингвистика текста. . . — Изв. АН СССР. Серия лит. и языка, 1977, т. 36, № 4.

Жинкин Н. И. Интонация речи в связи с общими проблемами экспрессии. Канд. дис. М., 1946.

Жинкин Н. И. Вопрос и вопросительное предложение. — ВЯ, 1955, № 3.

Жинкин Н. И. Развитие письменной речи учащихся III—VII классов. — Изв. АПН РСФСР, 1956, вып. 78.

Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958.

Жинкин Н. И. Механизм регулирования сегментарных и просодических компонентов языка и речи. — In: Poetyka. Poetics. Поэтика. Warszawa, 1961.

Жинкин Н. И. Речевой и певческий режимы фонации. — В кн.: Развитие детского голоса. М., 1963.
Жинкин Н. И. Четыре коммуникативные системы и четыре языка. — В кн.: Теорет. проблемы прикл. лингвистики. М., 1965.
Жинкин Н. И. О произвольном и непроизвольном управлении звуковыми механизмами пения и речи. — Вопросы психологии, 1978, № 4.
Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.; Л., 1947.
Daneš F. A three-level approach to syntax. — Travaux linguistiques de Prague, 1964, v. 1.

Подготовка текста, публикация и комментарий С. И. Гиндина

И. И. КОВТУНОВА

ЗАМЕТКИ ОБ ИНТОНАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Интонация может быть вписана в текст.

Н. И. Жинкин

В данной заметке рассматриваются некоторые общие свойства, присущие интонационному строю поэтической речи. Предметом рассмотрения служат не отдельные поэтические тексты, но поэтическая речь как определенный тип речи, обладающий своей интонационной спецификой. Цель статьи — кратко охарактеризовать такие интонационные черты, которые вытекают из природы поэтической речи и потому должны быть признаны неизменными в своей основе, инвариантными. Очевидно, что интонационные особенности, прямо обусловленные структурой и функцией поэтической речи, должны сохраняться, невзирая на возможные модификации. Должен существовать некоторый общий принцип, предопределяющий интонационную организацию поэтических текстов.

Поскольку поэтическая речь выступает в функции языка искусства — поэтического языка, то подход ко всем сторонам ее структуры, в частности и к ее интонационной структуре, естественно осуществлять с учетом этой ее функции, т. е. в рамках поэтики, а не только в чисто лингвистическом плане. Это значит, что адекватное изучение интонационных свойств поэтической речи невозможно вне общей теории поэтического языка и вне тех фактов, которыми располагает стиховедение. Такое изучение не может быть ни чисто эмпирическим, ни чисто лингвистическим.

Для общей постановки вопроса об интонации поэтической речи важно принимать во внимание два существенных свойства поэтических текстов: коммуникативную сложность, неоднозначность, неоднолинейность поэтической структуры и семантическую роль ритма.

Имея в виду одно и то же свойство поэзии, ученые разных направлений, несмотря на несходство и часто полную противоположность общих точек зрения, отмечали как отличительную особенность

поэтических произведений невозможность их однозначной смысловой интерпретации, присутствие скрытого, затаенного, стоящего за словами, просвечивающего сквозь словесную ткань смысла, уходящей вглубь смысловой перспективы. И как следствие — невозможность передачи этого смысла другими способами, т. е. невозможность разрушить ту единственную форму, которая этот смысл передает.

Неоднозначность и усложненность внутреннего строения поэтических произведений глубоко была раскрыта в теории поэзии как внутренней формы (Потебня 1976). Особенно отчетливо эти черты были сформулированы Г. О. Винокуром, различавшим внешнюю форму и внутреннюю форму, «буквальное» содержание и «более далекое», «скрытое» содержание (Винокур 1959). Иначе, но принимая во внимание ту же неоднолинейность структуры, рассматривается этот вопрос во многих современных концепциях поэтического языка, опирающихся на теорию информации и теорию речевых коммуникаций. Например, А. Молль выделяет в художественном сообщении два типа информации — логическую информацию и непереводимую информацию, вызывающую определенные состояния (Молль 1966). В аспекте теории речевых коммуникаций в поэтическом сообщении сосуществуют и вступают в сложное взаимодействие по меньшей мере две системы коммуникации. В нем присутствуют два языка — язык в обычном смысле и речь, которая в поэтической структуре возводится «в ранг языка» (Лотман 1970, с. 191). Конечный смысл поэтического произведения — результат взаимодействия двух коммуникативных систем.

Близкие суждения высказывали поэты. В размышлениях о поэтическом языке часто повторяют лаконичную и содержательную формулировку П. Валери о том, что поэтическая речь — это «язык в языке» (Валери 1976, с. 413).

Такой подход позволяет определить коммуникативно значимые свойства интонации поэтической речи.

Сочетание в поэтическом тексте как минимум двух систем коммуникации и присутствие в нем как минимум двоякого смысла — «буквального» и «скрытого» поэтического смысла — проявляется на всех уровнях его языковой структуры — фонетическом, лексическом, грамматическом, не исключая и интонационный. Сосуществование в поэзии двух коммуникативных систем предполагает и сосуществование двух интонационных систем, сложно друг с другом взаимодействующих. Одна из них вытекает из стихотворного ритма, другая связана с синтаксисом и смысловым выделением элементов речи. Они не равноценны.

Говоря о том, что «интонация может быть вписана в текст», Н. И. Жинкин имел в виду именно поэтический текст: «Список правил интонации достаточно строго определен в поэтике» (Жинкин 1961, с. 81). В поэзии имеет место «гармоническое, т. е. циклическое, повторение интонации». Мысли Н. И. Жинкина о взаимодействии

метра и интонации заслуживают того, чтобы привести их полностью: «Интонация, надстраиваясь над метром, путем циклических повторений создает ритм. В этих условиях интонация теряет информацию разговорной и прозаической речи, так как захватывает целые сегментарные узлы (строфы), подчиняясь правилам просодии, часто устраняющим грамматические правила (например, enjambement). Циклы интонации монотонно повторяются и действие состоит только в том, чтобы повернуть поток отбора конкретных слов в область малоожидаемых словесных замен и сопоставлений. В результате появляются уникальные сопоставления, несущие информацию, не поддающуюся переводу в однозначный текст, а только в совокупность интерпретирующих текстов. Узкий сегментный канал языка расширяется. Теперь через него начинает проходить почти вся неповторимая информация, непосредственно полученная по каналам <. . .> чувственного восприятия жизни. Двойное управление сегментами — грамматическое и просодическое вырабатывает над понятием < . . .> о б р а з <. . .>, несущий специфическую информацию.

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.
Все в облике одном предчувствую тебя.
Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо.
Я молча жду, тоскуя и любя.

(А. Блок)

Интонация приобретает м е л о д и ю, отсутствующую в прозаической речи. Она информирует о коррелятивных ей воображаемых ситуациях состояния <. . .> » (Там же, с. 81—82).

Язык поэзии с этой точки зрения «можно назвать системой передачи новых интонаций, записанных в непереводимом сочетании имен. Так как интонация комплементарна ситуации, то понимающий интонацию понимает и ситуацию, общую для говорящего и принимающего» (Жинкин 1965, с. 36).

Небезынтересно заметить, что исследования Н. И. Жинкина частично перекликаются и в известном отношении подтверждают положения Андрея Белого о первичности интонации в поэзии. А. Белый, ссылаясь на внутренний опыт поэтов и имея в виду адекватное восприятие поэзии, говорит о «внутренней напевности» как об основе ритма. «. . .ритм и есть в нас интонация, предшествующая отбору слов и строк; эту напевность всякий называет в себе ритмом. . . ритм есть печать внутренней интонации, определяющей отбор строчных разновидностей в пределах вида или размера» (Белый 1929, с. 22—23). По словам А. Белого, «лирическая интонация переживается поэтом, как некое содержание, всегда загаданное. . .». Из внутренней напевности рождается образ (Там же, с. 29—30).

С мыслями А. Белого согласуются некоторые современные открытия, касающиеся функциональной асимметрии полушарий мозга. В частности, Н. И. Жинкин отмечает, что «при обработке речи доминантным остается левое полушарие, но есть все основания ду-

мать, что речевая просодическая интонация входит в ведение правого субдоминантного полушария» (Жинкин 1982, с. 64). Именно правое полушарие принимает из мира «музыкальную» информацию; в левом полушарии происходит речевая обработка этой информации, рассчитанная на передачу внутренней интонации, ее «запись»: «поэт умер, а интонация — вписана» (Белый 1929, с. 33).

Индивидуальный поэтический ритм обладает способностью информировать о неповторимом состоянии, поскольку лежащая в его основе интонация имеет денотатный характер. По мысли Н. И. Жинкина, «не может быть ложных интонаций, ибо интонация — это действительность» (Жинкин 1965, с. 36). Отсюда следует, что вписанная в поэтический текст интонация не подлежит произвольному прочтению и переводу в чужеродную интонационную систему. Устранение мелодии искажает поэтический образ.

В изложенных идеях отражена первостепенная роль ритма в механизме поэтического познания, выражения и коммуникации.

Дополнительное уточнение в понимание этого механизма вносит интересная мысль В. В. Налимова, освещающая с новой стороны функцию ритма. Рассматривая континуальный аспект человеческого мышления, неизбежно передаваемого в речи дискретными знаками, Налимов приходит к выводу, что ритм призван открывать «вход в континуальные потоки сознания»: «Ритм в поэзии и песнопении — попытка наложить континуальную составляющую на дискретные носители речи» (Налимов 1978, с. 288). В живописи и музыке также имеет место континуальная коммуникация. Континуальный характер поэтического познания ищет образного соответствия в плане выражения и находит его в определенной ритмической структуре поэтического образа.

Не менее важный аспект обсуждаемой проблемы — семантическая роль ритма в структуре поэтического текста. Речь идет о семантических преобразованиях, которые происходят в тексте под влиянием стихотворного ритма. Ю. Н. Тынянов сделал открытие, обнаружив, что «единство и теснота стихового ряда» перераспределяет и преобразует семантические связи между словесными объединениями в стихотворном тексте (Тынянов 1965). Одно из сквозных положений Ю. М. Лотмана в исследованиях поэтического языка — мысль о том, что стиховой ритм служит основой со-противопоставления всех языковых элементов поэтической структуры (Лотман 1970). Это со-противопоставление сложным путем преобразует значение языковых средств и рождает внутренний поэтический смысл. Многочисленные анализы отдельных поэтических текстов показывают смыслообразующую роль ритмических сопоставлений.

Пренебрежение стиховым ритмом при внутреннем прочтении или устном воспроизведении поэтического текста переводит текст в обычную систему коммуникации, сохраняющую лишь буквальный смысл. Текст при этом лишается той структурной сложности, которая возникает в результате смыслового взаимоотражения элементов

языка, не сопоставляемых за пределами поэтической речи. Сложная поэтическая структура, обусловленная ритмом, служит созданию и передаче глубинного поэтического смысла.

Отсюда еще более очевидным становится значение ритмической интонации, т. е. интонации измененной, не похожей на интонацию прозаической речи. Интонация не только преобразуется метром, но она одновременно, «надстраиваясь над метром», включается в создание стихового ритма. Без такого преобразования прозаической интонации стиховой ритм не может в полной мере осуществиться. Ритмическая интонация является необходимым компонентом, необходимой составляющей ритма и тем самым — предпосылкой выражения и восприятия глубинного поэтического смысла.

Такая роль ритмической интонации, в частности мелодии (в приведенном понимании Н. И. Жинкина), позволяет видеть более глубокий смысл, чем это могло казаться при поверхностной трактовке, в известной формуле П. Верлена «De la musique avant toute chose» («Музыки прежде всего»). Эта установка самым непосредственным образом касается поэтической семантики. Данные науки в этом случае согласуются с интуицией поэта, или, что то же самое, с континуальным способом познания природы и сущности поэзии.

Преобразование прозаической интонации происходит в двух направлениях, которые полезно различать. Стиховая интонация двояким образом соотносится с прозаической интонацией: 1) ритмико-интонационное членение речи в стихах противопоставлено ритмико-интонационному членению прозаической речи; 2) безотносительно к ритму прозы стиховая интонация противопоставлена интонационно-смысловому выделению элементов речи, подчеркиванию смысла, обычному для прозы.

Прозаическая литературная речь членится на синтагмы (речевые такты; колоны), состоящие обычно из двух или нескольких полноударных слов. Одно из словесных ударений в синтагме обладает бóльшей силой и образует интонационный центр синтагмы (синтагматическое ударение; фразовое ударение; ударение в речевом такте). Синтаксическое членение речи в прозе сообразуется с ее синтагматическим членением.

Стиховая речь членится на стихотворные строки — стихи. Ритмической единицей внутри стиха является «ритмическая структура» (Златоустова 1977) — полноударное слово или группа слов с одним словесным ударением. Выравнивание словесных ударений («динамических весов») в стихах и связанное с этим интонационное выделение каждого полноударного слова — закономерность, которую раскрыли многие исследователи ритма стиховой речи (Бернштейн 1972; Жирмунский 1977; Томашевский 1959; Холшевников 1964 и др.). С данными акустических наблюдений согласуются результаты инструментального исследования звучащей поэтической речи (Златоустова 1977). Отмеченная закономерность, наряду с замедлением темпа речи, придает каждому слову в стихах бóльший смысловой вес, чем

это имеет место в прозе. Синтаксическое членение речи в стихах не сообразуется (в тенденции) с ритмическим членением стиховой речи, состоящей из других ритмико-интонационных сегментов. Стиховой ритм перераспределяет семантико-синтаксические связи между словами. Это хорошо показал Ю. Н. Тынянов (1965).

Стиховой ритм в целом исключает возможность и во многих случаях делает ненужным смысловое выделение слов, обычное для интонации прозаической речи. Эту особенность четко сформулировал Б. В. Томашевский: «Стих есть речь без логического ударения» (Томашевский 1929, с. 313). В. М. Жирмунский наглядно показал разницу между разговорной и стиховой интонацией. «В прозаической речи на вопрос *Что это шумит?* мы отвечаем *Это л е с шумит при звуке в е т е р к а* с отчетливым динамическим и интонационным выделением слова *лес* и менее сильным слова *ветерка*; или, на вопрос: *что там на небе светлеет?* отвечаем с таким же выделением: *м е с я ц плывет по небу* (т. н. «психологические сказуемые»). В лирическом стихотворении мелодического типа отношения гораздо менее отчетливы; чтению Б. М. Эйхенбаума: *М е с я ц зеркальный плывет по лазурной пустыне* можно противопоставить другое: *месяц з е р к а л ь н ы й плывет по лазурной пустыне* или даже: *месяц зеркальный п л ы в е т по лазурной пустыне*, так как логическая дифференциация, выделяемая ударением и повышением, отсутствует и вообще интонационные контрасты ослаблены. . .» (Жирмунский 1977, с. 81—82).

Примечательна в этом высказывании мысль о том, что в лирическом стихотворении «психологические сказуемые» (предикат; рема) интонационно не выделяются (что обязательно для прозы: в прозаической речи «вписано в текст» интонационное выделение ремы). Это свидетельствует о совершенно иной коммуникативной организации поэтической речи с отличающейся от прозы «коммуникативной перспективой». В этой особенности проявляется одно из существенных свойств поэтической коммуникации. Интонация в стихах, освобожденная от необходимости выделять рему, оказывается вследствие этого способной получать мелодическое звучание, необходимое для передачи поэтического смысла.

Как относится к этим фактам существование разных интонационных типов стиха — напевного, ораторского, говорного, с возможными внутренними подразделениями (Эйхенбаум 1969; Холшевников 1964)? Если взять полярные типы — напевный и говорной, то интересно отметить, что выделение их ориентируется на разные системы коммуникации и что в известном отношении они неравноправны. Интонация напевного стиха передает смысл, вытекающий из ритма. Интонация говорного стиха имеет в виду систему обычной коммуникации. Неравноправие их состоит в том, что можно себе представить стих абсолютно напевный, но стих абсолютно говорной (разговорный) невозможен. Даже в предельном случае говорного стиха сохраняется членение на стиховые единицы (иначе стих перестает существо-

вать как таковой), а это уже сильно ограничивает возможность реализовать разговорную интонацию. Говорной стих в любом случае (даже с элементами разговорной интонации в пределах узкого сегментного отрезка — стихотворной строки) является результатом взаимодействия двух интонационных систем.

С этой точки зрения целесообразно подходить к переносу (enjambement) не как к вторжению прозаической интонации в стихотворный ритм, а, напротив, как к необычному для прозы членению речи, которое в силу этой необычности всегда обнажает и подчеркивает стиховой ритм.

Разговорная интонация, как и вообще любая смысловая интонация в стихе, находится в неравном положении с интонацией ритмической также в семантическом и функциональном отношении.

Функция смысловой интонации — подчеркивание, расцвечивание и нюансировка буквального смысла. Буквальный смысл в стихах выражен вербально, его интонационное подчеркивание факультативно и избыточно.

Функция ритмической интонации принципиально иная. Это функция в полном значении слова смыслообразующая: ритмическая интонация служит основой сцепления и сопоставления словесных значений, в результате чего выражается неповторимый глубинный поэтический смысл.

Неравноценность двух интонационных полюсов подтверждается и другим образом. Ритмическая интонация в самом крайнем воплощении (напевный стих) не уничтожает буквальный смысл. Смысловая интонация, если она переходит известные границы и расшатывает ритм, тем самым уничтожает и скрытый поэтический смысл. Ясно, что при подобном перевесе смысловая интонация не только избыточна, но и противопоказана. Как было отмечено выше, интонация не просто преобразуется под влиянием метра, но она активно включается в образование ритма, «надстраиваясь над метром». Изменение обыденной интонации по этой причине носит обязательный характер, а опасность (и эмпирическая доступность) несоблюдения этого принципа влечет за собой неадекватность воспринимаемого смысла. Это одинаково относится и к внутреннему чтению и к устному произнесению поэтического текста.

Ритмическая и смысловая интонация существуют в стихе на неравных началах еще в одном отношении. Как это явствует из закономерностей, изложенных Н. И. Жинкиным (см. выше), с необходимостью «вписана в текст» именно ритмическая интонация. Смысловая интонация не только не вписана в текст, но степень ее допустимого присутствия является искомой величиной. Поиски ее обычно приводят к бесчисленным субъективным интерпретациям, в разной мере приближающимся к оптимальному варианту.

При ведущей роли ритмической интонации ритмическая и смысловая интонация занимают разный удельный вес в разных интонационных типах стиха. Кроме метра, ритмическая интонация вписы-

вается в текст чертами его языковой структуры. Чем больше степень языковой упорядоченности поэтического текста, тем с более жесткой необходимостью ритмическая интонация оказывается вписанной в текст. Б. М. Эйхенбаум раскрыл роль в мелодизации стиха разнообразных приемов синтаксической композиции — форм синтаксического параллелизма, повторов, симметричного построения и т. д. (Эйхенбаум 1969). В. М. Жирмунский выдвинул возражение, сводящееся к тому, что манера интонирования «зависит прежде всего от смысла слов, точнее — от общей смысловой окраски или эмоционального тона речи, а следовательно — от художественно-психологического задания, осуществляемого в единстве приемов стиля» (Жирмунский 1977). Противоречат ли друг другу эти два подхода? Если подойти к вопросу с кибернетической точки зрения, то здесь можно увидеть лишь разные зоны упорядоченности, взаимно друг друга дополняющие и в конечном счете создающие «единство приемов стиля». К ритмообразующим факторам языковой организации поэтического текста — звуковым, лексическим и синтаксическим повторам — можно добавить смысловой и стилистический повторы, т. е. повторение семантических компонентов лексического значения и повторение одинаковой или близкой стилистической окраски слов. Подбор лексики с определенной окраской может диктовать напевную интонацию. Понятиям смыслового и стилистического повтора соответствуют, в формулировке В. М. Жирмунского, «общая смысловая окраска» и «эмоциональный тон речи».

Чем больше языковых средств вовлекается в ритмическую организацию текста, тем с большей определенностью и настойчивостью вписывается в текст ритмическая интонация, тем информативнее оказывается поэтический текст. Момент ритмической упорядоченности играет информативную роль. Он увеличивает информацию. В данном случае действует общий принцип, выдвинутый Н. Винером: «. . . подобно тому как энтропия есть мера беспорядка, информация есть мера организации» (Винер 1958). Усиление ритмической организации текста увеличивает количество внутренних семантических со-противопоставлений и этим углубляет смысл, создает бесконечно уходящую вглубь смысловую перспективу.

Таким образом, для того чтобы ритмическая интонация была вполне отчетливо вписана в текст, необходима ритмическая упорядоченность текста сверх метра — предельная упорядоченность языковой структуры. Известен феномен, заключающийся в том, что чтение поэтов часто обогащает поэтический текст, делает его более информативным — в смысловом или эмоциональном отношении. Очевидно, это происходит в тех случаях, когда интонация в недостаточной степени вписана в текст. Поэты, независимо от индивидуальной манеры чтения, обычно подчеркивают ритм и таким путем компенсируют указанный недостаток при устном произнесении. Ритмическая интонация вводится в текст внешним способом, если она не содержится во внутренней языковой структуре текста. В этих случаях текст

ритмически не упорядочен в такой мере, чтобы отвечать потребности выразить определенный смысл (эмоциональное состояние). Самого по себе метра еще недостаточно, чтобы сделать стих мелодичным и ритмичным, для этого надо ввести ритмическую организацию в языковую структуру стихотворного произведения.

Проблема, следовательно, упирается в такую степень языковой упорядоченности стихотворного текста, которая превращает стихотворную речь в поэтический язык. Можно думать, что асимметрия между стихотворной и поэтической речью возникает тогда, когда языковая структура стихотворного текста не достигает уровня ритмизации, необходимого для того, чтобы стихотворная речь стала поэтическим языком.

Существует и противоположный феномен, когда максимальная ритмическая организация всех языковых уровней текста, тончайшая музыкальность внутренней языковой структуры делает почти невозможным адекватное воспроизведение этой структуры голосом. В подобных случаях действует обратная закономерность: чем более интонация вписана в текст, тем более ее обедняет устное произнесение, тем предпочтительнее внешне «бесстрастное», монотонное, подчеркивающее лишь необходимую ритмическую основу (ритмический инвариант) чтение. Именно таким было чтение А. Блока. С. И. Бернштейн пришел к выводу, что существуют два типа поэтов: одни предполагают скорее внутреннее произнесение, другие рассчитаны на чтение голосом. А. Блока С. И. Бернштейн отнес к первому типу (Бернштейн 1972).

К сказанному следует добавить, что ритмическая интонация всегда индивидуальна. Ритмическая организация языковой структуры способствует необходимой индивидуализации ритма и смысла. Включение прозаической (ритмически не упорядоченной) языковой структуры в метрическую схему не создает индивидуальной поэтической интонации. Компенсирующим фактором в этом случае бывает введение индивидуальной интонации в устное чтение, осуществляемое самим поэтом.

Смыслообразующая функция ритмической интонации говорит о том, что традиционная борьба поэтов с актерами, неприятие актерского чтения имеет принципиальное значение. Это не просто вопрос вкуса, стиля произнесения, оспоривание права на субъективную интерпретацию и т. д. Это вопрос более глубокий, затрагивающий самую сущность поэзии, о чем хорошо написал Б. М. Эйхенбаум в статье «О камерной декламации». «Разрушая ритмическое движение речи, актеры тем самым уничтожают и ритмическую интонацию (мелодику стиха), заменяя ее интонацией смысловой, психологической» (Эйхенбаум 1969, с. 515). «Лирическое стихотворение есть замкнутая в себе речь, построенная на ритмико-мелодической основе. Вне ритма оно не существует, потому что самые значения слов, его составляющих, неразрывно связаны с ритмическим построением, не говоря о других элементах речи. Естественно, что в чтении поэтов, по опыту

знающих силу ритма и не смешивающих его, как это делают наивные декламаторы, с размером или метром, выдвинулась и заняла господствующее положение именно эта ритмико-мелодическая основа» (Там же, с. 519—520). После того как были высказаны эти идеи, дальнейшее развитие науки умножило аргументы в пользу непреложности ритмической интонации как основы выражения и передачи поэтического смысла. Ритмическая интонация — залог «обоюдного резонанса» и «гармонического соответствия» образов, которые в поэзии становятся «омузыкаленными» (Валери 1976, с. 408).

ЛИТЕРАТУРА

Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., 1929.
Бернштейн С. И. Голос Блока. — Блоковский сборник, II. Тарту, 1972.
Валери П. Об искусстве. М., 1976.
Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
Винокур Г. О. О понятии поэтического языка. — В кн.: Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
Жинкин Н. И. Механизм регулирования сегментарных и просодических компонентов языка и речи. — В кн.: Poetics Poetyka Поэтика. Warszawa, 1961, с. 75—85.
Жинкин Н. И. Четыре коммуникативные системы и четыре языка. — В кн.: Теоретические проблемы прикладной лингвистики. МГУ, 1965.
Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982.
Жирмунский В. М. Мелодика стиха. — В кн.: Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
Златоустова Л. В. Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами. — Контекст 1976. М., Наука, 1977.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
Молль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. — В кн.: «Бессознательное» III. Тбилиси, 1978.
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Томашевский Б. В. Ритм прозы. — В кн.: Б. В. Томашевский. О стихе. Л.: Прибой, 1929.
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959.
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965.
Холшевников В. Е. Типы интонации русского классического стиха. — В кн.: Слово и образ. М., 1964.
Эйхенбаум Б. М. Мелодика стиха. — В кн.: Б. М. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969.
Эйхенбаум Б. М. О камерной декламации. — Там же.

Г. Н. ИВАНОВА-ЛУКЬЯНОВА

ОСОБЕННОСТИ РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ

Стихотворную речь относят к особой фонетической подсистеме. Одним из доказательств ее обособленности является то, что «незначимое в обычной, практической, информационной речи . . . становится значимым в поэтической речи» (Панов, 1970, с. 228). Если обратиться

к ритмико-мелодической организации стиха, то легко заметить, как смещаются представления о нейтральных и стилистически значимых просодических характеристиках в стихотворной и нестихотворной речи.

Ритмико-интонационное оформление текста создается совокупностью таких суперсегментных характеристик, как типы интонационных конструкций и пауз, способы выделения слов, определенный характер темпа и ритма. Чтобы понять специфику мелодической организации стиха, необходимо сопоставить эти характеристики в стихотворных и нестихотворных текстах, определив предварительно стилистическую функцию этих характеристик для того и другого типа текста, т. е. выявить стилистически значимые суперсегментные характеристики на фоне стилистически нейтральных.

Для определения стилистической функции интонации стиха воспользуемся системой интонационных конструкций (ИК) в пределах текста.

Сами по себе типы ИК не имеют стилевой окраски; в одних синтаксических конструкциях они выступают как нейтральные, в других способны передавать эмоциональные или стилевые оттенки высказывания. Такая различительная возможность появляется у интонации лишь в том случае, если конструкция допускает выбор интонационных типов.

Стилеразличительная функция интонации проявляется в возможности интонационного варьирования при передаче того или иного синтаксического значения. Как известно, число синтаксических конструкций, передающих определенное синтаксическое значение, ограниченно, поэтому и стилеразличительные возможности интонации не безграничны (имеют предел). Определив стилистически нейтральные и значимые интонационные типы для каждой конструкции, можно установить степень интонационной стилистической нагруженности текста.

Самой распространенной является конструкция, передающая значение незавершенности высказывания (или, как ее обычно называют, интонация неконечной синтагмы). Она встречается в тексте чаще, чем все другие конструкции, вместе взятые. Поэтому в статье анализ сопоставления интонационных особенностей стиха и прозы будет показан на примере только этой конструкции.

В положении неконечной синтагмы интонация незавершенности может реализоваться в стилевых вариантах: ИК-3, ИК-4, ИК-6.

«— Николаев, начальник экспедиции, / вернется через месяц.
— Николаев, начальник экспедиции, / вернется через месяц.
— Николаев, начальник экспедиции, / вернется через месяц.

(Здесь ИК-3 придает речи разговорный оттенок, ИК-4 — официальность, ИК—6 — приподнятость)» (Брызгунова, 1980, с. 101). Многие примеры, приведенные Е. А. Брызгуновой, подкрепляют эту

мысль о стилевой закрепленности ИК—3, ИК—4 и ИК—6, особенно третьей и четвертой конструкции.

Что касается шестой интонационной конструкции, то она в этих условиях скорее выполняет функцию нейтральной в стилевом отношении интонации, тем более, что роль нейтральной интонации оказалась по этой схеме незанятой.

Ее нейтральный характер легко проверить по предложенному А. А. Реформатским методу определения интонации того или другого языка с помощью интонации счета (Реформатский, 1975, с. 13). Используя этот метод для выявления нейтральной интонации русского языка, получаем три характерных интонационных ряда:

3 3 3 3 3
— один / два / три / четыре / пять. . .
4 4 4 4 4
— один / два / три / четыре / пять. . .
6 6 6 6 6
— один / два / три / четыре / пять. . .

из которых только ряд с ИК-6 представляется пригодным для любого стиля и не несет стилевой окраски. Другим доказательством нейтральности ИК-6 является широкое использование этой конструкции в текстах любого функционального стиля. Причем присутствие этого типа ИК-6 в официально-деловом стиле и в разговорной речи в большом количестве нисколько не снижает чистоты стиля. Так, в информационном тексте, ритмико-интонационный строй которого имеет типичный характер официально-делового стиля, ИК-6 встретилась в неконечной синтагме 15 раз, а ИК-4 только 4 раза; при этом интонация всего текста носила ярко выраженную окраску официально-делового стиля. Таких примеров можно привести много, в которых ИК-3 или ИК-4, присутствуя в незначительном количестве на фоне ИК-6, придают всему тексту характер разговорности или официальности. Заметим, что при отсутствии в тексте ИК-6, одновременное употребление ИК-3 и ИК-4 выдвигает на роль нейтральной интонации ИК-3.

Яркая стилевая окраска этих интонационных типов, проявляющаяся в самой распространенной синтаксической конструкции, прочно закрепила за ИК-3 значение разговорности, а за ИК-4 — официальности. Показательно, что эта противопоставленность не распространяется на все позиции. В других условиях ИК—3 носит характер нейтральный или стилистически приподнятый, а ИК-4 и ИК-6 могут выступать даже в роли разговорной интонации.

Нейтральный характер ИК-6 в позиции неконечной синтагмы объясняет и господствующее положение этой конструкции в художественных текстах, причем это господство вызвано не созданием приподнятости интонации, а созданием широкого, не окрашенного в стилевом отношении поля, которое является основой всякого художественного текста. Но если в прозе на фоне ИК-6 причудливо

переплетаются другие типы ИК, то в стихе отмечается однородность тона, создаваемая ИК-6. Мелодия стиха почти не допускает присутствия ИК-4 в неконечной синтагме и резко ограничивает ИК—3.

Парадоксально звучали бы строки известных стихотворений, инструментированные на ИК-3 и ИК-4.

6 (ср.: 3, 4)
— Я помню / чудное мгновенье;
6 (3, 4) 6 (3, 4)
— Средь шумного бала / случайно /
6 (3, 4)
в тревоге мирской суеты / . . .
6 (3, 4)
— У лукоморья / дуб зеленый

Невозможность употребления в поэтических текстах стилистически окрашенных интонационных конструкций свойственна в основном напевному стиху:

6 6
— Играют волны, / ветер свищет.
6 6
И мачта гнется / и скрипит,
6 6
Увы, — / он счастия не ищет /
(6) 6
и не от счастия бежит!

(М. Ю. Лермонтов. Парус.
Исполнение Р. Симонова)

Преобладание ИК-6 в стихе создает нейтральный ровный фон, на котором другие интонационные конструкции выступают как краски, как художественный прием и не несут той стилистической функции, которая им свойственна в обычной речи. Так, «разговорная» ИК-3 не выражает присущую ей в этой конструкции разговорность, а обозначает яркую эмоциональность, возвышенность.

Р. Симонов читает:

6 6
— Под ним струя / светлей лазури,
6 3
Над ним / луч солнца золотой.

Во всем стихотворении «Парус» Р. Симонов употребил ИК-3 только один раз — и этим как бы высветлил фразу.

Обостренное чувство меры, свойственное такой манере чтения, позволяет с помощью редких красок достигать эффекта сильного выделения слов.

6 6 2
— А он, мятежный, / просит бури.
2 1
Как будто в бурях / есть покой!

Подчеркнутые слова выделены интонационно, и это выделение тем сильнее, чем однороднее фон.

Но даже в пафосное стихотворение не вносит Р. Симонов интонационного многообразия. В стихотворении Пушкина «К Чаадаеву» ИК-3 встретилось у него всего 3 раза:

6 (3) 1
— Как сон, / как утренний туман;
3 1
— Минуты / верного свиданья;
(3) 6
Звезда пленительного счастья.

Торжественность интонации актер создает внесением в ровный тон, создаваемый ИК-6, конструкции, обладающей функцией выделения, подчеркивания, усиления словесного ударения, — ИК-2.

Слова и фразы, произнесенные с ИК-2, оказались под сильным логическим ударением.

(2) 1
2 — Отчизны внемлем призыванье;
2
— Как ждет любовник молодой;
2
— Пока свободою горим;
2
— Души прекрасные порывы;
2
— Товарищ, верь: / взойдет она;
2
— Россия вспрянет ото сна. . .

Таким образом, интонационная транскрипция и этого стихотворения отличается однообразием: ИК-6, ИК-2, редкие краски ИК-3 и ИК-1 в конечной синтагме.

Другая манера чтения стихов отличается интонационной усложненностью. Это же стихотворение в исполнении В. Яхонтова представляет сложный узор интонационных переплетений, хотя и здесь общей основой также является ИК-6. Частое использование ярких красок снижает напевность и ровную мелодию стиха. Она приобретает характер пафосный.

6 6 6
— Любви, / надежды, / тихой славы /
3 1
Недолго нежил нас обман,
(3) 6
Исчезли юные забавы
6 (3) 1
Как сон, / как утренний туман;
(1) 6
Но в нас горит еще желанье,
(3) 6
Под гнетом власти роковой
(3) 6
Нетерпеливою душой
2
Отчизны внемлем призыванье.

Такое чтение отличается разнообразием интонационных конструкций (в стихе использованы все типы ИК, кроме ИК-4 и ИК-7) и интонационной усложненностью (некоторые фразы имеют дополнительный интонационный центр).

Из семи типов ИК, разработанных Е. А. Брызгуновой, четвертая и седьмая конструкции в стихотворной речи почти не употребляются. ИК-4 встречается почти всегда только в нейтральном значении, т. е. когда синтаксическая конструкция не дает возможности выбора.

ИК-7, строение которой сопровождается образованием смычки, не может сочетаться с долготой гласного, поэтому она оказывается непригодной для стиха, тем более, что эта конструкция часто несет оттенок разговорности, обиходности.

Таким образом, в стихе как особой фонетической подсистеме существуют и свои особые отношения между нейтральными и стилистически значимыми элементами интонации. Стилистическая окрашенность ИК-3 и ИК-4 не проявляет себя в стихотворном тексте, а нейтральная ИК—6 принимает в стихе характер универсальности, замещая даже те позиции, которые не свойственны этой конструкции в обычной речи. Так, если в обычной речи позиция конечной синтагмы характеризуется отношением ИК-1 и ИК-2 как нейтральной и экспрессивной, то в стихотворной речи здесь появляется еще один интонационный вариант — ИК-6. Он выполняет в стихе роль эмоционально приподнятой интонации. Почти не употребляемый в таком положении в нестихотворной речи, этот тип ИК придает мелодии стиха характер непрерывности.

6
В томленьях грусти безнадежной,
6
В тревогах шумной суеты,
(6) 6
Звучал мне долго голос нежный
6 6
И снились / милые черты.
6 6
Шли годы. Бурь порыв мятежный
6
Рассеял прежние мечты,
(6) 6
И я забыл твой голос нежный,
(6) 6
Твои небесные черты.

(А. С. Пушкин. К Керн.
Исполнение Д. Н. Журавлева)

В пределах текста признаком разнообразия интонации является изменение употребляемых интонационных моделей, хотя бы сам текст и располагал к их однообразию, предлагая относительную устойчивость в построении сверхфразовых единств (СФЕ). Если эти синтаксические единицы имеют в тексте относительно однотипное

строение, то такая однотипность может иметь одинаковое интонационное выражение, но она же допускает и варьирование мелодических построений. Труднее всего избежать мелодической однотипности при отношениях перечисления.

Причина универсальности ИК—6 в мелодике стихотворной речи лежит прежде всего в характере самой конструкции. ИК—6 не просто легко сочетается с долготой ударного гласного, а вместе с ним составляет единое целое. И, кроме того, стилистическая нейтральность этой конструкции позволяет создать ровный тон, на котором отчетливее проявляют свой характер звуки — главные элементы стиха.

ИК-6 является также самой частотной в нестихотворных художественных текстах. Но отличие в интонировании стиха и прозы лежит в том, что монотон в чтении стихов и прозы оценивается по-разному. То, что хорошо для исполнения поэтического текста, непригодно для прозы.

Актерскому исполнению прозаических произведений свойственно стремление избегать интонационной монотонности и по возможности разнообразить интонацию. Образцовым исполнением прозаического произведения, в оценке специалистов, считается такое, которое демонстрирует богатство интонационных типов и их оттенков. И те актеры, которые читают стихи в однообразной интонационной манере, в прозе дают примеры интонационной усложненности.

6 2 2
— Прошло / два месяца / после получения известий / в Лысых
2 6 (2) 6
Горах / об Аустерлицком сражении / и о погибели князя Андрея, /
(5) 2 2
и, несмотря на все письма через посольство / и на все розыски, /
3 (2) 3 (3) • 1
тело его / не было найдено, / и его не было в числе пленных
(Л. Н. Толстой. «Война и мир». Исполнение Д. Журавлева).

Чем богаче набор интонационных типов в построении СФЕ, тем ближе текст по интонации к художественному.

Но каждое СФЕ — это сложное целое, имеющее свою микротему, которая может иметь свое интонационное оформление. Таким образом, именно здесь, в этом звене происходит расторжение связи синтаксиса с интонацией. Однотипность построения СФЕ здесь не предполагает однотипности в использовании интонационных моделей. Мастером интонационного модулирования был М. Астангов. В этом смысле замечательно его исполнение рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», в котором каждая микротема имела свое особое мелодическое оформление: она выделялась как особым набором ИК, характером количественного соотношения интонационных типов, так и свойственным каждой отдельной теме построением интонационных моделей предложений и СФЕ.

Тема главного героя, например, интонационно оформлялась чередованием ИК-2 и ИК-6 в позиции незавершенности.

— Господин из Сан-Франциско — /имени его ни в Неаполе, / ни на Капри / никто не запомнил — / ехал / в Старый / Свет / на целых / два года с женой и дочерью, / единственно / ради развлечения.

Тема дочери господина из Сан-Франциско характеризовалась присутствием высоких тонов (ИК-3) и резкими перепадами тона от высокого к низкому (ИК-3 + ИК-1):

— А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, / то для нее путешествие / было прямо необходимо: / не говоря уже о пользе для здоровья, / разве не бывает в путешествиях / счастливых встреч?

Тема океана имела особый мелодический строй: идея грозной стихии выражалась понижением тембра на фоне нейтральной ИК-6.

— Океан, ходивший за стенами, / был страшен.

Сложными мелодическими построениями характеризуются и отдельные предложения:

— Пассажиров было много, / пароход — / знаменитая «Атлантида» — / был похож на громадный отель / со всеми удобствами, — / с ночным баром, / с восточными банями, / с собственной газетой, — /и жизнь на нем протекала / весьма размеренно.

Так от фразы к фразе, от темы к теме на протяжении всего рассказа меняется интонация рассказчика. Характерно, что модели СФЕ у М. Астангова не повторяют друг друга, а каждый раз создаются по-новому, в соответствии с образным строем текста.

В нехудожественных текстах, напротив, однообразие интонации становится приметой стиля. Отсутствие индивидуализации и экспрессивности, свойственное текстам официально-делового стиля, приводит к монотонности и однообразию интонации. Таким образом, отличие интонации художественных текстов заключается в разнообразии интонационных конструкций и в сложности интонационного рисунка, в то время как нехудожественные тексты характеризуются интонационным однообразием синтаксических построений.

Но как только мы обращаемся к поэтическим текстам, все представления о художественной—нехудожественной интонации смещаются. Те интонационные мерки, которые определяют принадлежность текста к художественному или какому-либо другому стилю, оказываются непригодными для стиха. В стихотворном тексте разнообразие интонации не только не показательно, но подчас губительно. Лучшие актеры читают стихи монотонно, в однообразной интонационной ма-

нере, повторяя ее, как кружево, от строфы к строфе. Так читают стихи Пушкина Ю. Завадский, М. Казаков, И. Смоктуновский и др., так читают свои стихи сами поэты.

Другое различие в соотношении стилистически значимых суперсегментных характеристик поэтических и непоэтических текстов дает наблюдение над темпом.

Темп стиха по сравнению с темпом прозы и любой нестихотворной речи является замедленным. Это известное положение неоднократно подкреплялось в эксперименте. Поэтому замедленность темпа для стихотворной речи можно считать явлением стилистически нейтральным, в то время как для нестихотворной речи такой темп был бы стилистически окрашенным на фоне нейтрального среднего.

Большая длительность звучания стиха создается главным образом за счет растянутости ударных гласных. Некоторые исполнители, как например, Д. Н. Журавлев, читают отдельные части стихотворения, растягивая почти все ударные гласные:

. . . как мимолетное виденье,
как гений чистой красоты.
. . . . . .
В томленьях грусти безнадежной,
в тревогах шумной суеты
звучал мне долго голос нежный
и снились милые черты.

(А. С. Пушкин.
Я помню чудное мгновенье)

Чаще растянутость ударных гласных встречается только в словах, являющихся интонационными центрами. Если учесть, что стихотворная фраза, по сравнению с нестихотворной, более короткая, то таких растянутых гласных в стихе окажется значительно больше, и кроме того, здесь «ударный гласный, замыкающий синтагму, в 2,5 раза длиннее, чем в прозе в тех же условиях» (Бычкова, 1973, с. 16). Отсюда и общее впечатление неторопливого звучания стиха. Чтение стихов нараспев — черта многих современных исполнителей и поэтов. И черта не новая: так, по свидетельству современников, читал свои стихи Пушкин. Сегодня такое исполнение стало приметой стихотворной речи и в этой подсистеме превратилось в явление нейтральное.

Растягивание слов за счет удлинения ударного гласного в нестихотворном тексте — явление не нейтральное: оно выделяет речь эмоциональную и служит для подчеркивания отдельных слов. В стихе же, где растягивание слов — обычное явление, таким способом выделить какое-либо слово не удается. Поэтому если в прозе самым частотным способом выделения слов логическим ударением является способ удлинения ударного гласного, то в стихе такой способ может

быть пригоден только в иной, не стихотворной, прозаической исполнительской манере. Так, например, читал стихи В. Качалов, используя для стихов и прозы одинаковые приемы:

Ты позабыла: / я свободы /
Для заблужденья не отдам.
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке / и глазам.

(М. Ю. Лермонтов.
Я не унижусь пред тобой)

Другой пример:

Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.

(К. М. Симонов.
Не сердитесь — к лучшему)

Правда, А. А. Вознесенский тоже использует этот прием растягивания наиболее важных слов, но это растягивание особое: оно происходит за счет удлинения безударных гласных:

Поднимите мне веки, / соотечественники / мои,
В летаргическом / веке /
Пробудитесь / от галиматьи.
. . . . . .
Помоги мне подняться, / господь,
Чтоб упасть / пред тобой / на колени.

(А. А. Вознесенский.
Похороны Гоголя Николая Васильевича)

Этот способ — чисто индивидуальный — может быть повторен в исполнении других стихотворных произведений, но он почти совершенно исключается из обычной речи.

Замедленность звучания некоторых прозаических текстов, а также разговорных или каких-либо других, не может создаваться способом растягивания слов, не выходя за пределы нейтральных в эмоционально-стилистическом плане текстов; она достигается за счет увеличения длительности пауз. Можно сопоставить равные по объму стихотворные и нестихотворные тексты, время звучания которых будет одинаково, хотя темп различный, так как в стихотворном тексте

было увеличено время звучания, а в нестихотворном — время пауз. Поэтому представление о темпе стиха и прозы дает только дифференцированное сопоставление времени говорения и молчания. Важно при этом учитывать также и максимальную длину пауз в стихе и в обычном тексте. Несмотря на то что в стихе общее время всех пауз из-за их количественного превосходства оказывается большим, самые продолжительные паузы принадлежат все-таки прозе. Такие длительные паузы свойственны прежде всего художественной речи для выражения экспрессивности.

Выдержать паузу — для драматического актера — значит настолько подчинить себе слушателя, что он не теряет внимания даже в продолжение непривычной по долготе паузы. Вообще такие паузы свойственны художественной речи в широком смысле, т. е. не только произведениям художественной литературы, но и отличающимся особой выразительностью отдельным типам речи разговорного, публицистического и научного стилей. В стихе такую чрезмерную паузу выдержать нельзя: она разрушит стихотворный ритм. Также невозможно в стихе отказаться от необходимых регулярных пауз, тогда как в прозе нередки пропуски пауз в местах обязательного членения, что создает особое, нестиховое, членение прозаического текста, когда несколько фраз фонетически объединяются в одну. Сочетание контрастных по величине пауз — примета художественного чтения прозаических произведений, одна из «четырех пар контрастов», необходимых для овладения актерской техникой речи, наряду с контрастами по высоте тона, силе голоса и темпу (Петрова, 1981, с. 26). Однообразие пауз по длительности, напротив, является признаком нехудожественного текста. Однако обращение к стиху опять-таки разрушает соотношение художественного—нехудожественного текста, так как паузы стиха как элемент его ритмической структуры, напротив, отличаются регулярностью и однообразием по длительности. Они составляют гармоническую систему чередований коротких внутристрочных пауз с паузами в конце строки, превосходящими их по длительности в 2,2 раза (Бычкова, 1973, с. 16), и с еще более длительными паузами, разделяющими строфы. Так создается гармония пауз стиха которая наряду с гармонией звуков, рифмы, ритма и интонации составляет своеобразную мелодию поэтического текста. Как показали недавно восстановленные записи голоса А. Блока, читавшего свои стихотворения, поэт строго придерживался этого принципа, и особая музыкальность его чтения состояла именно в таком четком держании пауз.

Таким образом, можно предположить, что паузы в стихе, подчиняясь его ритму, в отличие от прозы, не обладают эмоционально-стилистической функцией и, подобно интонации, не являются фонетической приметой литературно-художественного стиля. Обращение к просодическим характеристикам стиха и прозы с целью выявления стилистически значимых характеристик еще раз убеждает, что к стилистике стихотворной речи нельзя подходить с мерками прозаической

речи: то, что стилистически значимо для прозы, нейтрально в стихе и наоборот.

Казалось бы, стилистическая дифференцированность суперсегментных характеристик должна была объединить поэтические и прозаические тексты по их принадлежности к стилю художественной литературы, однако ритмико-мелодическая обособленность стихотворной речи оказалась такой значительной, что объединения с художественными прозаическими текстами не произошло, и главная противопоставленность текстов прошла по линии: стихотворный — нестихотворный. Очевидно, что в основе такой противопоставленности текстов лежит особый, не стилевой принцип выделения стихотворной речи.

ЛИТЕРАТУРА

Брызгунова Е. А. Интонация. — В кн.: Русская грамматика, 1. М.: Наука, 1980.
Бычкова О. И. Акустические особенности реализации ритмической структуры в стихотворной и прозаической речи. Автореф. канд. дис. Казань, 1973.
Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
Петрова Л. А. О технике речи. Вып. 1. Как звучит наша речь? М., 1981.
Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975.

М. Л. ГАСПАРОВ

РИТМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ И РИТМИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ КЛИШЕ

1

Ритмический словарь — понятие, вошедшее в обиход стиховедения с 1910-х годов и ставшее в нем необходимым. Это — пропорции распределения в речи фонетических слов различной акцентной структуры: односложных, двухсложных с ударением на 1-м слоге, двухсложных с ударением на 2-м слоге и т. д. Зная вероятность слов того или иного строения в естественной (прозаической) речи, мы можем рассчитать вероятность естественного возникновения стихотворной строки, состоящей из таких слов; а сравнивая с этой естественной вероятностью реальную встречаемость таких строк в стихах, мы можем выделить, какие особенности строения стиха заданы языком, а какие определяются специфически стиховыми тенденциями. Когда Б. Томашевский (1917) и Г. Шенгели (1919) открыли возможность таких сопоставлений, это было сдвигом с мертвой точки в изучении строения стиха (Томашевский 1929, с. 102—106; Шенгели 1923, с. 19—22).

Томашевский подсчитывал ритмический словарь прозы по «Пиковой даме» Пушкина, Шенгели — по 10 прозаикам XIX—XX вв., от Пушкина до Бунина; потом делались новые подсчеты, которые помогли

Таблица 1

Пушкин:							
	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
1—1	39	17	1	9	99	12	177
2—1	143	64	27	32	34	18	318
2—2	103	93	13	44	188	20	461
3—1	67	37	45	3	7	9	168
3—2	122	145	61	19	17	5	369
3—3	46	63	17	15	49	8	198
4—1	7	7	6	2	1	—	23
4—2	76	42	50	8	—	1	177
4—3	42	108	30	22	3	—	205
4—4	5	21	7	5	4	3	45
5—2	4	11	8	—	—	—	23
5—3	29	24	27	4	2	—	86
5—4	9	39	11	5	2	—	66
Всего:	692	671	303	168	406	76	2316

Гоголь:							
	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
1—1	61	20	2	14	72	20	189
2—1	175	61	50	40	13	41	380
2—2	131	64	35	43	129	41	443
3—1	59	9	62	9	6	8	153
3—2	164	74	105	30	16	14	403
3—3	75	48	13	24	40	8	208
4—1	5	7	20	—	—	—	32
4—2	61	16	110	6	2	3	198
4—3	73	81	65	15	2	11	247
4—4	13	15	3	5	3	1	40
5—2	2	10	29	—	—	—	41
5—3	22	13	50	2	—	—	87
5—4	11	22	11	9	—	—	53
Всего:	852	440	555	197	283	147	2474

Толстой:							
	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
1—1	64	54	—	32	124	36	310
2—1	151	82	34	31	35	38	371
2—2	107	114	23	80	211	23	558
3—1	37	26	20	6	9	6	104

Тургенев:							
	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
1—1	64	17	—	23	122	39	265
2—1	126	46	57	39	36	33	337
2—2	117	110	15	43	161	28	474
3—1	56	20	50	11	1	4	142

Таблица 1 (*окончание*)

Толстой:								Тургенев:							
	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.		С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
3—2	126	110	64	28	21	23	372	3—2	134	121	76	47	16	19	413
3—3	51	83	10	20	46	12	222	3—3	60	93	19	25	39	6	242
4—1	2	4	6	1	—	—	13	4—1	4	5	10	1	—	—	20
4—2	27	40	42	5	1	4	119	4—2	40	39	74	11	1	—	165
4—3	48	114	27	20	6	10	225	4—3	38	76	39	20	3	2	178
4—4	8	33	3	2	11	4	61	4—4	13	22	9	1	11	—	56
5—2	3	17	13	—	—	1	34	5—2	2	9	8	—	—	1	20
5—3	24	9	14	8	—	—	55	5—3	18	19	33	7	—	—	77
5—4	6	34	8	4	—	1	53	5—4	6	29	8	5	—	1	49
Всего:	654	720	264	237	464	158	2497	Всего:	678	606	398	233	390	133	2438

Чехов:

	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.		С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Вс.
1—1	56	19	—	14	111	13	213	4—2	54	35	61	9	2	3	164
2—1	133	47	34	23	27	33	297	4—3	43	79	29	24	2	3	180
2—2	100	104	21	36	213	45	519	4—4	16	19	6	7	11	—	59
3—1	64	27	38	2	3	5	139	5—2	1	13	10	1	—	—	25
3—2	119	135	83	42	20	26	425	5—3	24	12	20	3	2	—	61
3—3	50	83	7	18	58	9	225	5—4	15	42	6	6	1	1	71
4—1	3	11	8	1	—	—	23								
								Всего:	678	626	323	186	450	138	2401

уточнить разницу между ритмическим словарем художественной, разговорной, научной, деловой прозы (Гаспаров 1974а, с. 79—88): оказалось, что чем ближе стиль к разговорной прозе, тем слова в нем короче и ударения ближе к концу, тогда как в деловой и научной прозе — наоборот.

Однако до сих пор при таких подсчетах все слова в каждом тексте подсчитывались недифференцированно, без разделения по частям речи. Между тем интуитивно представляется вероятным, что разница между ритмическим словарем разных частей речи может быть не меньше, чем между ритмическим словарем разных стилей речи: например, что служебные слова короче знаменательных, а в прилагательных с их длинными флексиями ударения расположены ближе к началу, чем в других частях речи. Чтобы проверить такое предположение, мы попытались рассчитать ритмический словарь основных частей речи раздельно.

В качестве материала были взяты следующие тексты: Пушкин, «Метель»; Гоголь, «Мертвые души», ч. I, гл. 6; Тургенев, «Касьян с Красивой Мечи»; Толстой, «Хозяин и работник», гл. 6—8; Чехов, «Огни». Слова длинные и редкие (свыше 5—6 слогов) из подсчета исключались. Среди частей речи выделялись существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения и «прочие» (преимущественно служебные). Так как акцентная структура слова ближайшим образом зависит от парадигмы словоизменения, то в сомнительных случаях слова группировались именно по этому признаку: например, и причастия и субстантивированные прилагательные учитывались в рубрике «прилагательные».

Результаты подсчетов (в абсолютных цифрах, чтобы при необходимости можно было сделать проверку на однородность материала) приведены в табл. 1. Сокращения: С(уществительные), П(рилагательные), Г(лаголы), Н(аречия), М(естоимения), Пр(очие); 2—1 — 2-сложное слово с ударением на 1-м слоге, 3—2— 3-сложное слово с ударением на 2-м слоге и т. п.

Из табл. 2 видно, во-первых, что пропорции частей речи у отдельных писателей характерным образом отклоняются от среднего: описательный стиль Гоголя и Тургенева повышает долю прилагательных, сюжетная динамика Пушкина и психологическая динамика Толстого повышает долю глаголов. Но эти особенности уже бывали предметом лингвистического исследования и нас здесь не занимают. Во-вторых, мы видим, что длина и акцентная структура различных частей речи действительно неодинаковы. Это делается особенно наглядно, если сопоставить (1) среднюю длину слова в слогах, (2) средний порядковый номер ударного слога и (3) частное от деления (2) на (1) — показатель сдвига ударения к концу слова. В табл. 3 представлены эти показатели для частей речи, выделенных выше, и дополнительно — для существительных в именительном падеже, для безличных форм глагола (инфинитив, деепричастие), для кратких форм прилагательных.

Всего в процентах:

Таблица 2

	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Число слов
1—1	25	11	0	8	46	10	1154
2—1	43	18	12	10	8	9	1703
2—2	23	20	4	10	37	6	2455
3—1	40	17	30	4	4	5	706
3—2	34	29	20	8	5	4	1982
3—3	26	34	6	9	21	4	1095
4—1	19	31	45	4	1	—	111
4—2	31	21	41	5	1	1	823
4—3	24	44	18	10	2	2	1035
4—4	21	42	11	8	15	3	261
5—2	8	42	48	1	—	1	143
5—3	32	21	39	7	1	—	366
5—4	16	57	15	10	1	1	292
В среднем	29	25	15	9	17	5	12126
В т. ч.:							
Пушкин	30	29	13	7	18	3	2316
Гоголь	35	18	22	8	11	6	2474
Толстой	26	29	11	9	19	6	2497
Тургенев	28	25	16	10	16	5	2438
Чехов	28	26	13	8	19	6	2401

Таблица 3

Части речи	Длина слова	Место ударения	Сдвиг ударения
Существительные	2,74	1,87	0,68
в т. ч. в имен. пад.	2,15	1,53	0,71
Глаголы	3,11	2,29	0,74
в т. ч. безличн. ф.	3,09	2,36	0,76
Прилагательные	3,44	2,04	0,59
в т. ч. краткие ф.	3,09	2,08	0,67
Наречия	2,68	2,03	0,76
Местоимения	1,98	1,82	0,92
Прочие	2,21	1,65	0,75
В среднем:	2,72	1,99	0,73

Из таблицы видно, насколько местоимения и служебные слова короче, а глаголы и особенно прилагательные длиннее среднего объема слова; и видно, насколько у прилагательных ударение сдвинуто к началу слова, образуя длинный безударный «хвост», а в ме-

стоимениях (и, добавим, в значительной части служебных слов) сдвинуто к концу слова. Последняя особенность, кажется, еще не отмечалась как акцентологический признак соответственных частей речи.

Из показанного ясно, что для каждого акцентного типа слова характерен свой более или менее особый набор частей речи: в односложных и двухсложных (особенно 2—2) словах будет повышенный процент служебных частей речи, в словах с длинным безударным окончанием (3—1, 4—2, 5—3. . .) — повышенный процент прилагательных и т. п. Эти специфические пропорции будут показаны в нижеследующих таблицах.

Этот аспект нашего предмета представляет особый интерес для стиховедения. В самом деле, всякий стихотворный размер допускает лишь ограниченное число словосочетаний, в которых позиция каждого акцентного типа слова точно определена. Зная частоту каждого словосочетания, укладывающегося в стихотворный размер (каждой ритмической и словораздельной вариации), мы можем для каждого акцентного типа слов сопоставить вероятное (как в прозе) и реальное заполнение различными частями речи каждой позиции в стихе. Это позволит сказать, насколько такие-то позиции «притягивают» к себе существительные или прилагательные в силу естественных языковых тенденций данного акцентного типа слов, а насколько — в силу специфически стиховых ритмико-синтаксических тенденций.

Для начала при таком сопоставлении удобно взять простой, не богатый ритмическими и словораздельными вариациями стихотворный размер. Мы выбрали для этого 3-стопный хорей и намеренно ограничили материал стихотворениями середины и второй половины XIX в., близкими по тематике и стилю (ср. Гаспаров 1974б).

Обследованы были следующие стихотворения: Огарев, «Небо в час дозора» («Изба»), «Ночь была прозрачна» («Разлука»); Плещеев, «Скучная картина», «Хорошо вам, детки» («Зимний вечер»), «Теплый день весенний», «Домик над рекою» («На берегу»), «Травка зеленеет» («Сельская песня»), «Капля дождевая», «Тени гор высоких»; Никитин, «Тихо ночь ложится», «В глубине бездонной» («Тишина ночи»), «Весело сияет» («Зимняя ночь в деревне»), «Жгуч мороз трескучий» («Жена ямщика»), «Ярко звезд мерцанье»; Суриков, «Полночь. Злая стужа» («Часовой»), «Ярко светит зорька» («Утро»), «Вот моя деревня» («Детство»), «Солнышко уж встало» («Дети»), «Эх, не троньте! С горя» («С горя»), «От деревьев тени» («Несчастный»), «У пруда, где верба» («У пруда»), «Легкий сумрак ночи» («Летняя ночь»); Дрожжин, «Вечер. Потемнели», «Детство золотое», «Осень. Ходят тучи», «Полночь. Ветер злится», «Вьюга завывает», «По задворью злится», «Весело на воле», «За кустами тени», «Избы застилает», «Ох, сгори, кручина», «Рано в небе летом», «Солнышко садится», «По полю гуляет», «Миновало лето», «Чуть в избе холодной», «В тишине глубокой», «С теплою весною», «Эх! куда зимою», «От тоски—кручины», «В поле непогода»,

«Холодно зимою» (см. в большой серии «Библиотеки поэта»: Огарев, с. 153, 267; Плещеев, с. 141, 214, 223, 224, 280, 311, 327; Никитин, с. 47, 54, 110, 136, 285; Суриков и поэты-суриковцы, с. 62, 68, 90, 97, 101, 113, 163, 234, 427; Дрожжин. Стихотворения, 3-е изд. М., 1907, с. 102, 220, 234, 243, 246, 313, 386, 414, 472, 482, 487; Поэзия труда и горя. М., 1901, с. 5; Новые стихотворения. М., 1904, с. 28; Песни старого пахаря. М., 1913, с. 38, 44, 64, 67, 115, 125). Брались только четверостишия с чередованием женских и мужских окончаний. Всего из 1560 строк учтено 1557.

3-стопный хорей с женскими и мужскими окончаниями дает следующие 4 ритмические и 11 словораздельных вариаций:

	С женским окончанием		С мужским окончанием	
1а	*Край небес алеет*	84	*Все кругом молчит*	65
1б	*Грусть-кручина злая*	48	*Вся деревня спит*	20
1в	*Белый снег кружится*	54	*Чудный сад цветет*	70
1г	*Зимний вечер длится*	55	*Вольный ветер спит*	26
2а	*Улеглись печали*	173	*Прокричал петух*	144
2б	*Миновало лето*	93	*Молодая дочь*	66
3а	*Лист не шелохнется*	17	*Лист не шелестит*	18
3б	*Травка зеленеет*	124	*Теплый ветерок*	185
3в	*Бедная старушка*	116	*Милое село*	178
3г	*Праздничные лица*	9	*Радостные сны*	6
4	*И не улыбнутся*	5	*Да веретена*	1

Из примеров видно: слова акцентного типа 1—1 могут занимать 4 позиции в середине женских стихов, 4 — в середине мужских, и 4 — в конце мужских; слова типа 2—1, наоборот, 4 позиции в середине мужских, 4 в середине женских и 4 в конце женских, — и так далее, вплоть до 3—1, занимающего только 1 позицию в женских и 1 в мужских строках, 4—4 — только 1 позицию в мужских, и и 5—4 — только 1 позицию в женских строках.

Процентный состав речи в этих акцентных типах по сравнению с прозой показан в табл. 4.

Из таблицы видно, что главное отличие словаря стихов от словаря прозы — это сокращение доли местоимений и служебных слов. Видимо, это следствие стиля: в стихах фразы более короткие, а связь их более отрывистая. В более длинных размерах, как кажется, доля местоимений и служебных слов возрастает: по предварительным подсчетам, пропорция С : Г : П : Н : М : Пр. в 4-ст. хорее «Сказки о царе Салтане» дает 42 : 27 : 10 : 5 : 13 : 3, а в 4-ст. ямбе «Евгения Онегина» (гл. 8) 35 : 19 : 20 : 7 : 15 : 4 (заметим характерное для разницы динамического и описательного стиля соотношение Г : П.)

Середина стиха меньше отличается от прозы, конец стиха— больше. Это, несомненно, потому, что конец стиха обычно совпадает с концом предложения или колона, а служебные слова (и в меньшей степени местоимения) тяготеют не к концу, а к началу предложения

Таблица 4

	С.	Г.	П.	Н.	М.	Пр.	Число слов
1—1: стихи	39	10	1	9	25	16	494
проза	25	11	0	8	46	10	
2—1: стихи	45	18	15	14	3	5	800
проза	43	18	12	10	8	9	
2—2: стихи	37	31	11	7	13	1	606
проза	23	20	4	10	37	6	
3—1: стихи	43	18	28	9	1	1	294
проза	40	17	30	4	4	5	
3—2: стихи	47	24	21	7	1	0	495
проза	34	29	20	8	5	4	
3—3: стихи	49	30	7	6	7	1	502
проза	26	34	6	9	21	4	
4—1: стихи	13	33	47	7	—	—	15
проза	19	31	45	4	1	—	
4—4: стихи	55	—	6	11	17	11	18
проза	19	31	45	4	1	—	
5—4: стихи	29	53	12	—	6	—	17
проза	16	57	15	10	1	1	
В ср. стихи	42	23	14	9	8	4	3524
проза	29	25	15	9	17	5	
В т. ч.							
жен. стихи	41	23	13	11	7	5	1787
муж. стихи	44	24	15	7	8	2	1737
серед. позиции	38	20	14	11	11	6	1973
конеч. позиции	47	28	13	6	5	1	1551

и колона. В этом отношении выразителен словарь словораздельной вариации 1г с женским окончанием (55 строк): она состоит из 3 однотипных слов 2—1, но соотношение частей речи С : Г : П : Н : М : Пр. в них очень разное: на 1 позиции 12 : 8 : 5 : 16 : 4 : 10, на 2 позиции 22 : 11 : 7 : 6 : 6 : 3, на 3 позиции 33 : 13 : 3 : 5 : 1 : 0. Сходную картину дают в словораздельной вариации 1а с мужским окончанием (65 строк) слова типа 2—2 на 2 и на 3 позиции: на 2 позиции соотношение частей речи 21 : 11 : 7 : 6 : 20 : 0, на 3 позиции 23 : 24 : 10 : 2 : 5 : 1. Сходным образом и односложные слова 1—1 на 1 позиции состоят на целых 54% из местоимений и служебных слов, на 2 позиции на 38%, на 2 позиции на 31%.

За счет убыли местоимений и служебных слов в словаре стиха прибывают преимущественно существительные; в остальном же отклонения от пропорций прозы неожиданно незначительны. Если принять сумму знаменательных частей речи С+Г+П+Н за 100 и сравнивать пропорции этих частей речи в стихах и в прозе, то сколько-нибудь значимые отклонения будут редки: именно в типах

1—1, 3—2, 3—3 (и 4—3) стих даст заметное повышение существительных и понижение глаголов, в типе 2—2 повышение прилагательных и понижение наречий, а в типе 3—1 наоборот; кроме того, доля наречий заметно понижена в типах 3—3 и 4—3.

2

Специфика стиха становится ощутимее, когда мы переходим от распределения частей речи к распределению членов предложения по позициям стихотворной строки.

Известно, что ритмическое членение стихотворного текста стремится к совпадению с синтаксическим: концы строк обычно совпадают с концами фраз или колонов, анжамбманы ощущаются как исключения. Это значит, что синтаксические связи внутри строки обычно теснее, чем между строками: слова, составляющие строку, обычно образуют синтаксически связанное словосочетание. Типы синтаксических словосочетаний в русском языке известны, число их ограничено. Глядя, каковы пропорции употребительности этих типов в стихотворных строках, мы замечаем, что некоторые словораздельные вариации явным образом предпочитают определенные типы словосочетаний: господствующий тип (или небольшая группа господствующих типов) охватывает от трети до половины всех строк данного ритмического строения, а остальные типы словосочетаний распылены в небольших количествах по остальным строкам.

Ограничимся рассмотрением словораздельных вариаций 2а, 2б, 3б и 3в с мужскими и женскими окончаниями: они состоят из двухсловных словосочетаний и составляют две трети всего нашего материала. Вариация 1 с ее трехсловными строчками дает больше разнообразия на меньшем материале и поэтому менее удобна для анализа.

С точки зрения синтаксической двухсловные ритмические вариации прежде всего разделяются на словосочетания глагольные и безглагольные. Их приблизительно поровну ($50 \pm 8\%$ в каждой из 8 словораздельных и клаузульных вариаций).

В глагольных словосочетаниях выделяются, понятным образом, три основные вида: подлежащее—сказуемое (*Солнышко садится*, *Думает старушка*; здесь же — немногочисленные безличные конструкции: *Дочери не спится*); глагол—дополнение (*Избу освещает*, *Топает ногою*, *С матерью прощалась*; здесь же — немногочисленные случаи глагольных дополнений: *Полно горевать-то*, *Обещал вернуться*); глагол—обстоятельство (выраженное наречием или существительным: *Весело сияет*, *Улицей гуляет*, *Думает в кручине*); остальные случаи отводятся в рубрику «прочие» (однородные члены, сочетания с служебными словами и пр.: *Думает—гадает*, *Если приведется*). В безглагольных словосочетаниях выделяется один основной вид: определяемое—определение (выраженное прилагательным или реже существительным: *Бедная старушка*, *В комнатке уютной*, *В зеркале залива*, *Месяца сиянье*); остальные дробные случаи отво-

дятся в рубрику «прочие» (однородные члены, безглагольные сказуемые и пр.: *Девочка-малютка*, *Грустная такая*, *Холодно зимою*, *Кончена тревога*, *Выбито цепами*). Наконец, как в глагольных, так и в безглагольных строчках некоторая часть состоит из слов, не соединенных в словосочетание: обычно это слова одного предложения (*Замерло родное. . .*, *Вьюгами глубоко. . .*, *С Ванькою в избушку. . .*), реже — двух предложений (*Кажется*, *мир сонный. . .*, *Весточка? какая? . .*).

Соотношение этих видов: П(одлежащее)—С(казуемое), Г(лагол)—Д(ополнение), Г(лагол)—О(бстоятельство), О(пределяемое)—О(пределение), проч(ие), несв(язанные) — в 8 словораздельных (2а, 2б, 3б, 3в) и клаузульных с М(ужскими) и Ж(енскими) окончаниями вариациях — представлены в табл. 5 (все показатели — в процентах).

Таблица 5

	2аЖ	2аМ	2бЖ	2бМ	3бЖ	3бМ	3вЖ	3вМ	В ср.	В том числе	
										жен.	муж.
Глагольные:											
П—С	17	23	31	27	27	16	35	29	24	26	23
Г—Д	26	32	25	43	15	34	10	21	25	20	31
Г—О	39	40	31	20	30	36	37	35	35	34	35
проч.	5	3	2	—	13	8	10	3	6	8	4
несв.	13	3	11	10	15	6	8	12	10	12	7
Число стихов	83	78	45	30	71	88	49	86	530	248	282
Безглагольные											
О—О	36	62	46	69	38	31	54	62	48	43	52
проч.	33	31	31	14	42	47	19	27	32	31	33
несв.	31	7	23	17	20	22	27	11	20	26	15
Число стихов	90	65	48	35	53	97	67	92	547	258	289
Всего стихов	173	143	93	65	124	185	116	178	1077	506	571

Сравнивая клаузульные вариации, мы видим: в женских вариациях по сравнению с мужскими повышен процент «несвязанных» двусловий; в мужских по сравнению с женскими — процент связей О—О и Г—Д. Как уже отмечалось (Гаспаров 1981, с. 150—152), есть основания считать, что среди синтаксических связей самой сильной является «определяемое—определение», а «глагол—дополнение» следует тотчас за ней. Если это так, то можно сказать, что в женских стихах синтаксическая связность слабее, в мужских — сильнее. Это объясняется расположением предложений по 4-стишию 3-стопного хорея: предложения стремятся в нем совпадать если не со стихами, то с двустишиями, фразораздел после 4-го стиха приходится в 100%, а после 2-го стиха в 75% случаев, так что женские строки совпадают с началом предложений, мужские с концом; а по предварительным

наблюдениям, в силу обычного порядка слов русского языка синтаксические связи в предложении располагаются асимметрично и сгущаются к концу (Гаспаров 1981).

Сравнивая словораздельные вариации, мы замечаем, что доля конструкции О—О в полтора—два раза выше в вариации 3в, нежели в 3б (*Бедная старушка* — чаще, чем *Старый старичина* или *Ветер перелетный*). Это, несомненно, потому, что акцентный тип слова 3—1 вдвое больше допускает прилагательных, чем акцентные типы 2—1 или 4—3 (см. табл. 5). Но считать это объяснением для всех аналогичных случаев нельзя. Например, конструкция П—С встречается почти вдвое чаще в 3вМ, чем в 3бМ (*Солнышко встает* — чем *Вечер настает*); между тем, доли существительных и глаголов в акцентных типах 3—1 и 2—2 (составляющих вариацию 3вМ) и в акцентных типах 2—1 и 3—3 (составляющих вариацию 3бМ) в сумме перемножений заставляют ожидать скорее противоположного. Точно так же и в вариации 2бЖ конструкция П—С встречается почти вдвое чаще чем в 2аЖ (*Миновало лето* — чем *Улеглись печали*), хотя теоретический расчет не дает для этого достаточных оснований. Может быть, здесь расчеты должны учитывать более тонкие вероятности — например, разницу акцентного облика существительных в именительном и в косвенных падежах или силу тенденций к прямому и обратному порядку подлежащего и сказуемого.

До сих пор, говоря о синтаксических связях О—О, П—С, Г—О и пр., мы не различали ни порядка слов в таких конструкциях (*Бедная старушка* или *В комнатке уютной*), ни частей речи, выражающих эти члены предложения (*Весело сияет* или *Улицей гуляет*, *Бедная старушка* или *Месяца сиянье*). Если ввести такие различия, то видно будет, что некоторые из таких словосочетательных вариантов пользуются явным предпочтением перед другими, причем в разных словораздельных и клаузульных вариантах — по-разному.

Если выделить те словосочетательные варианты, которые составляют не менее 10% всех глагольных или безглагольных строк каждой словораздельной и клаузульной вариации, то мы получим не очень много предпочтительных случаев (табл. 6, все данные — в процентах).

Из таблицы видно, что один—три типа словосочетания в каждой группе составляют 40—60% (среди глагольных строк) или 30—60% (среди безглагольных строк), а все остальные, достаточно многообразные типы, распылены по единичным случаям. Некоторые словосочетания вполне объяснимо предпочитаются или избегаются теми или иными словораздельными и клаузульными вариациями: так, П—С типа «существительное + глагол» преобладают в вариации 3 (где акцентные типы слов 3—1 и 2—1 допускают 40—43% существительных на 1-й позиции) и избегаются в вариации 2 (где акцентные типы слов 3—3 и 4—3 допускают лишь 24—26% существительных на 1-й позиции). Но в целом число строк, учтенных в таблице, слишком невелико и для статистических обобщений недостаточно.

Интереснее не количество, а качество этих строк — их удивитель-

Таблица 6

	2аЖ	2аМ	2бЖ	2бМ	3бЖ	3бМ	3вЖ	3вМ
Глагольные:								
П—С: *Солнышко садится*	—	—	—	—	21	13	12	16
Думает старушка	—	14	31	27	—	—	14	13
Г—Д: *Топает ногою*	16	19	16	30	—	—	—	—
Песню заглушает	—	—	—	—	13	24	—	12
Г—О: *Весело сияет*	—	—	—	—	18	—	22	—
Улицей гуляет	13	24	11	—	—	—	—	17
Ходит над дорогой	11	—	—	—	—	19	—	—
пр.: *Думает-гадает*	—	—	—	—	—	—	10	—
Безглагольные:								
О—О: *Бедная старушка*	—	22	29	57	—	16	37	40
В комнатке уютной	22	18	—	—	30	—	—	18
Заревом пожара	—	15	—	—	—		—	—
пр.: *Девочка-малютка*	14	—	—	—	—	10	—	—

ное единообразие. Это подборки стихотворных клише, переходящих от автора к автору и порой дословно повторяемых по два (а то и по три) раза. Выпишем полностью только те гнезда вышеприведенной табл. 5, в которых число строк не менее 10:

Вариация 2аЖ. — О—О: *В тишине глубокой* (3 раза, у Никитина и потом у Дрожжина), *Тишина немая*, *И в тиши вечерней*, *В глубине бездонной*, *Над рекой широкой*, *По траве высокой*, *Сквозь тростник высокий*, *И село большое* (2 раза: Никитин, Суриков), *И мужик плечистый*, *Мальчуган курчавый*, *А мороз суровый*, *И в мороз трескучий*, *Что из стран далеких*, *К Покрову святому*, *И к семье довольной*, *У толпы нарядной*, *Дурака седого*. — Г—Д: *Посадил сынишку*, *Почесал затылок*, *Постелю постельку*, *Опустив ручонки*, *Позабыв тревогу*, *Привезти обнову*, *Перевесть дыханье*, *Ведь учить худому*, *И повел корову*, *И глядит на сына*, *Пожалей о друге*, *Щебетал о воле*, *Щебетал о небе*. — Г—О: *В ворота стучится*, *На печи ложится*, *Вдоль реки несется*, *И в глазах мутится*, *На лугу пестреют*, *И на ней сияют*, *И за стол сажает*, *Из кружка выходит*, *Но меж тем уж село*, *В уголке согнувшись*, *Да в Москву приехав*. — Проч.: *И Иван-царевич*, *И друзья-мальчишки*, *И любовь и радость*, *Да печаль и скука*, *От тоски-кручины*, *О траве и хлебе*, *И с утра до зорьки*, *И без слез, без речи*, *На дворе и в поле*, *На краю, в избушке*, *На скамье за прялкой*, *Уж в избу в окошко*.

Вариация 2аМ. — О—О: *Золотым лучом*, *Над большим ручьем*, *Над большим селом* (2 раза: Никитин, Дрожжин), *Над моей бедой*, *На родных полях*, *На его глазах*, *На его щеке*, *Что в немой тоске*, *Вековых светил*, *Голубых небес*, *Из чужих людей*, *И людских тревог*, *Про своих сирот*, *Не в хмельном вине*. — *На горе крутой*, *По горе крутой*, *С стороны чужой* (2 раза, Огарев), *По дворам чужим*,

Над селом родным, На пути глухом, Ни сестры родной, Болтовня одна, И весна милей, Полотна белей, — Огонек светца, По ветвям берез, На ветвях берез, В глубине небес, В синеве небес, И в глуши лесов, В зеркала озер, На лице у всех, Мальчуган в лаптях, Мальчуган с сумой. — Г—Д: *Развязал язык, Запушил окно, Принесу снопок, И ведут меня, Схоронить печаль, Стереги утят, Не всполошь детей, Не видать огня, Наловил всего, Замахал кнутом, Не дрогнет крылом, Говорит другим, Принесла с собой, Обещал для ней, Не грусти о том.* — Г—О: *В стороне стоит, В уголке сидит, В камышах блестит, На печи лежит, На стене лежит, На сучке висит, На дворе трещит, На часах стоит, И в ушах звенит, Не к добру лежит, Перед ней горит, На полях стоят, В тишине не спят, На луга легли, На траву легли, Соловьем свистит, Из Москвы привел, Как в тиски попал, Как до гор дошла.* — П—С: *Прокричал петух, Заиграл пастух, Рассуждал мужик, Умирал старик, Поднялся шум-звон, Началась возня, Отцвела весна, Не могла вдова, Запрудил народ, Не дрогнет листок, И трещит мороз.*

Вариация 2бЖ: — О—О: *Золотая клетка, Серебристый иней, И людские муки, И в счастливой доле* (2 раза, Дрожжин), *И в морозной дали, И горячим светом, И до поздней ночи, Над глухою степью, Бесконечной цепью, У большого зданья, О родимом сыне, Молодую дочку, И белее снега.* — П—С: *Миновало лето, Воротилось стадо, Потянулись чайки, Поднялася вьюга, Набежала стража, И блеснула зорька, Еще просит сердце, И стучится ветер, И сверкает поле, Уж щебечут птички, Отвечают капли, И начнет мне бабка, Поиграй нам, мама, Утони ты, горе.*

Вариация 2бМ: — О—О: *Обнаженный лес, Невеселый взгляд, Молодая дочь, Неразвитый ум, В неизвестный путь, На далекий юг, И тяжелый труд, От гнетущих бед, Да господский дом, И знакомый дом, Беззаботным сном, Закоптелых хат, И как легкий пух, На увядший луг, Средь осенних вьюг, Во всю долгу ночь, Пережитых дней, Прожитого дня, О прожитых днях, Непогожим днем.*

Вариация 3бЖ. — О—О: *Детство золотое, Небо голубое, Горе молодое, Баба молодая* (2 раза, Дрожжин), *Капля дождевая, Мальчик смуглолицый, Ветер легкокрылый, Ветер перелетный, Месяц светлорогий, Сторож беззаботный, Город утомленный, В чаще молчаливой, Ночи молчаливей, С садом запустевшим, Прялки однозвучной.* — Г—О: *Грустно завывает, Всюду расстилает, Слабо освещает, Часто прерывает, Тщетно унимает, Часто ль вспоминают, Чаще раздавался, Долго раздавался, Мерно раздается, Бодро воротились, Ярко засветились, Сладко засыпая, Тихо догорая.* — П—С: *Травка зеленеет, Полночь наступает, Вьюга завывает, Песня замирает, Баба наливает, Сосны рассыпают, Иней серебрится, Песня раздается, Рыбки встрепенутся, Весь ты перезябнешь, Солнце утомилось, Утро проглянуло, Слезы заблистали, Листья облетели, Птички улетели.*

Вариация 3бМ. — О—О: *Бледный огонек, Бедный старичок, Новый лапоток, Теплый ветерок, Ранним ветерком, Зимним вечер-*

ком, Синим огоньком, С милым муженьком, В дальней стороне, В старом зипуне, В тесном уголке, С длинной бородой, Снежной пеленой, Чудной тишиной, Бравый часовой, Звонких голосов. —Г—Д: *Избы занесло, Ноги обняла, Руку протянул, Иней отряхнул, Сивку привязал, Сивку обрядил, Дверь-то прихватил, Землю обдает, Сад весь обдает, Уток стережет, Дела не найдет, Руки не согнешь, Сказку говорить, Песни напевать, Песни распевать, Песни услыхав, Поле засевать, Горе передать, Ночи коротать, Обувь припасти, Глупых обольстить.* — Г—О: *Смотрит из окна, Сидя у окна, Мокнет под окном, Плачет за окном, Стукну под окном, Стонет за углом, Вьется над селом, Дремлют над рекой, Плачет над рекой, Билась за стеной, Стоя надо мной, Вышел за водой, Ходит у ворот, Ходит в тростнике, Свозят на гумно, Тают в тишине, Длится без конца.* — П—С: *Время настает, Вечер настает, Жук лишь прошумит, Лето уж прошло, Зорька занялась Песня раздалась, Баба начала, Грусть-то и взяла, Кто-то пропищал, Бог, знать, наказал, Боже сохрани.* — Проч.: *Рощи и поля, Горе и беда, Горе и разврат, Бедных и сирот, Мужа и детей, Хлеба и угла, Света и тепла* (2 раза, Плещеев), *С рожью и травой, С свекром-стариком.*

Вариация ЗвЖ: — О—О: *Скучная картина, Чахлая рябина, Дымная лучина, Бедная старушка* (3 раза: Никитин, Дрожжин), *Смуглая сестренка, Частая разлука, Пятая неделя, Экая погодка, Светлые заливы* (2 раза, Никитин), *Новые салазки, Мерными шагами, Пестрыми толпами, Яркими огнями, Мерзлыми дровами, Детскую головку, Ветхую шубенку, Скудного обеда, С теплою весною, С солнечным заходом, С чудною прохладой, С вечною тревогой, С ласковым приветом, Несколько избенок.* — Г—О: *Медленно ложится* (2 раза, Дрожжин), *Весело сияет, Весело хохочут, Весело выходит, Весело вскочила, Весело текли вы, Ласково мерцали, Скоро ли напишет, Кубарем качуся, Поедом заела.*

Вариация ЗвМ: — О—О: *Милое село* (3 раза, Дрожжин), *Сонное село, Спелое зерно, Каждое зерно, В тусклое окно, Мерзлого окна, Милая жена, Чертова жена, Горькая полынь, Яркая листва, Яркие цветы, Темные листы, Чудные края, Детские года, Первая любовь, Утренней зарей, Утренней росой, Влажною росой, Прошлою весной, Теплою весной, Каждою весной, Зимнею порой, Жгучею тоской, Дряхлою рукой, Бледною луной, С раннего утра* (2 раза: Никитин, Суриков), *В добрые глаза, Теплого угла, Пламенных очей, Трепетным огнем, Серењким пятном, С снежного пути, Снежную постель, Дремлющих сирот.* — *Песенник лихой* (2 раза, Никитин), *Улицей большой, В улице пустой, В улице глухой, В улицах пустых, К бабушке седой, Грезою ночной, Сторожем ночным, Голосом своим, В городе большом, В городе чужом, В гнездышке своем, В гнездышке родном* (2 раза, Дрожжин), *Молодость моя, Лапушке моей.* — Г—Д: *Пашеньку пахать, Нечего сказать, Головы вскружить, Весточки не шлет* (2 раза, Никитин, Дрожжин), *Правдою живет, Инеем блестит, Бедному сулит, По душу послал, С птицею бежать.* — Г—О: *На воду*

легли, *На воду он лег*, *На небе горят*, *За лесом встает*, *За город идет*, *По миру идет*, *По миру ходить*, *По снегу скрипит*, *По снегу блестит*, *По двору катать*, *В воздухе звенит*, *С криками летит*, *С завистью взглянул*, *С вечера крепчал*, *С силою трещал*. — П—С: *Солнышко встает*, *Солнышко блестит* (2 раза, Плещеев), *Солнышко глядит* (2 раза, Суриков, Дрожжин), *Озеро глядит*, *Мельница стучит*, *Улица молчит*, *Бабушка лежит*, *Дерево растет*, *Звездочки горят*, *Весточка пришла*, *Молодость пришла*, *Облако нашло*. — *Теплился ночник*, *Теплится огонь*, *Смотрится заря*, *Крутится метель*, *Крутится снежок*, *Тянутся деньки*, *Слышатся слова*, *Сгорбился больной*, *Сделалась она*, *Думает она*, *Думает бедняк*.

Перед нами — хорошо знакомая исследователям фольклорной и раннелитературной поэтики картина формульного стиля: готовые ритмико-синтаксические клише, заполняемые отчасти одними и теми же, отчасти варьируемыми словами; из сочетаний таких формул-клише монтируется текст. Наблюдения над такими синтаксическими стереотипами в стихе уже делались (Викери 1958, и особенно Дозорец 1978); мы лишь заострили внимание на дифференциации материала по ритмическим и словораздельным вариациям. От этого делается виднее, что порождаются такие клише в конечном счете ритмическим словарем языка — тем, какие части речи естественнее укладываются в словосочетания, отвечающие ритму стиха. Чем короче стих, тем ограниченнее круг этих ритмико-синтаксических фигур (термин О. М. Брика — Брик 1927) и с тем большей законченностью выступает каждая из них.

Говоря, что стихотворные тексты нашей подборки монтируются из готовых формул, мы вряд ли преувеличиваем: думается, что каждый, у кого хватило терпения прочитать вышеприведенную опись стиховых стереотипов, сам без большого труда сможет импровизировать подобные хореические тексты. Даже не выходя из узкого круга процитированных строк, можно составлять центоны, не повторяющие ни одного стихосочетания оригиналов: *Скучная картина*: *Сонное село. Миновало лето*, *Избы замело. Солнце утомилось В синеве небес*, *Грустно завывает Обнаженный лес. В тишине глубокой Зимним вечерком Песня раздается Над большим селом. Мерными шагами По горе крутой Из кружка выходит Мальчуган с сумой. А мороз суровый на дворе трещит*; *Бедная старушка В стороне стоит. И мужик плечистый С длинной бородой*, *В уголке согнувшись*, *Плачет над рекой. Баба молодая Смотрит из окна; Сладко засыпая*, *Думает она. Дымная лучина Дела не найдет*: *Слабо освещает Бедных и сирот*. . . — и т. д.

Не следует думать, что удручающее однообразие нашего списка есть лишь результат бесталанности Дрожжина, Сурикова и других взятых нами авторов. Причина — не в поэтах, а в языке: будь взяты другие авторы, может быть, словесных совпадений и было бы меньше, но ритмико-синтаксических осталось бы столько же. Это можно проверить, обратясь к двухсловным стихам Пушкина. В его 4-ст.

ямбе есть одна (VI) двухсловная ритмическая вариация с 4 словораздельными вариациями: «Удивлена, поражена», «Уединенный кабинет», «Уединенные поля», «Законодательнице зал». Возьмем одну из них — третью; в «Евгении Онегине» таких строк 118 с мужскими окончаниями и 70 с женскими. Больше половины их построены по нашей знакомой схеме О—О: прилагательное + существительное. Выпишем эти словосочетания:

С мужскими окончаниями: *Уединенные поля, Нецеремонные друзья, Иноплеменные слова, Необходимые глупцы, И распущенные власы, Над безыменною рекой, Благословенное вино, На потопленные луга, Как и надменная Москва, Уж белокаменной Москвы, Чья благосклонная рука, Первоначальные красы, Ни чужеземные красы, И переимчивый Княжнин, И недоверчивый старик, Или задумчивый Вампир, Или таинственный Сбогар, Или разыгранный Фрейшиц, Чтобы двухутренний цветок, Мой неисправленный чудак, Перекрахмаленный нахал, Разочарованный другим, Разочарованный лорнет, И невнимательный лорнет, И неотвязчивый лорнет, В Академический словарь, В хронологической пыли, Их поэтическим огнем, Ни поэтическим огнем, И по Балтическим волнам, Олигархических бесед, Философических таблиц, Я сквозь магический кристалл, И гармонических затей, Без элегических затей, Без подражательных затей, Очаровательных актрис, И привлекательным лицом, Для добродетельной жены, При вдохновительной луне, При отуманенной луне, На отуманенном стекле, И продолжительный присест, Средь обольстительных сетей, И соблазнительных ночей, Ряд утомительных картин, Перед медлительным огнем, То вопросительным крючком, И средь полуденных зыбей И необузданных страстей, И в необдуманном письме, Близ неоконченных стихов, С неизъяснимою красой, О государственных делах, Без неприметного следа, Как величавая жена, И перелетная метель, Чуть из младенческих одежд.*

С женскими окончаниями: *Одушевленные созданья, Но отдаленные надежды, Новорожденное творенье, Иноплеменными словами, И умиленными очами, Да за смиренное кладбище, Без грамматической ошибки, Иль грамматических ошибок, Иль сатаническим уродом, Траги-нервических явлений, В философической пустыне, И запоздалые наряды, И запоздалые отзывы, Чтоб на волшебные напевы, Великолепные альбомы, Где благородное стремленье, Так! равнодушное забвенье, Вы, равнодушные счастливцы, Вы, деревенские Приамы, Чтобы насмешливый читатель, Перед померкшими домами, Неотразимыми лучами, Неоценимую награду, С неизъяснимою отрадой, Полумучительной отрадой, Так в ослепительной надежде, В сей утомительной прогулке, И снисходительный Евгений, Но равнодушною княгиней, Но неприступною богиней, Самолюбивую ничтожность, И вслед за чинною толпою, И за могильною чертою, Нетерпеливому герою, Мне неприязненной стихии, За полурусского соседа, Но от косматого лакея, Перед шумящею пучиной, Над отуманенной рекою, Как на досадную разлуку, И боязливыми шагами.*

Однообразие этих словосочетаний совершенно очевидно, есть даже почти полные повторы. Можно обратить внимание на строки *И гармонических затей*, *Без элегических затей*, *Без подражательных затей* (и *Без романтических затей* в «Графе Нулине») (ср. Бобров 1922). Не менее «формульно» выглядит ряд *И невнимательный* (*И неотвязчивый*, *Разочарованный*; ср. в «Путешествии Онегина» *А разыскательный) лорнет*: словоформа «лорнет» встречается в стихах Пушкина 6 раз, в том числе в конце стиха 5 раз, из них в составе нашей формулы 4 раза и вне ее лишь 1 раз (*Держите прямо свой лорнет*). Еще неожиданнее выступает подобная формульность в некоторых других словораздельно-клаузульных вариациях пушкинского 4-ст. ямба. Вот полный список 15 строк одной такой вариации IV ритмической формы из «Евгения Онегина»: *Любви пленительные сны*, *Ни с чем не связанные сны*, *Меня преследуете вы*, *Мои счастливейшие дни*, *Строфа*, *слагаемая мной*, *Что*, *сплин иль страждущая спесь*, *Всегда восторженную речь*, *Его тоскующую лень*, *Ее рассеянную лень*, *Его страдальческая тень*, *Едва рождающийся день*, *Она в оставленную сень*, *Сойду в таинственную сень*, *Лесов таинственная сень*, *Вдался в задумчивую лень*. Видимо, как «пушкинская формула» ощущались эти словосочетания и поэтами — у Ахматовой мы находим строки *Как на шелку возникла стертом Твоя страдальческая тень*, а у Блока — *Теперь проходит предо мною Твоя развенчанная тень* (с курсивной реминисценцией из пушкинского «Наполеона»).

Указать на обилие и важность таких устойчивых ритмико-синтаксических клише в русской поэзии и наметить подступ к их анализу через ритмический словарь составляющих их частей речи — такова задача предлагаемой статьи.

ЛИТЕРАТУРА

Бобров С. П. Заимствования и влияния. — Печать и революция, 1922, № 8, с. 72—92.

Брик О. М. Ритм и синтаксис. — Новый Леф, 1927, № 3—6.

Викери В. On the question of the syntactic structure of the Gavriiliada and Boris Godunov. — American Contributions to the 6th International Congress of Slavists, v. 2. The Hague, 1968, p. 355—367.

Гаспаров М. Л. Современный русский стих. М., 1974.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: к семантике русского 3-стопного хорея. — ИАН СЛЯ, 1976, № 4, с. 357—366.

Гаспаров М. Л. Ритм и синтаксис: происхождение «лесенки» Маяковского. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1979. М., 1981.

Дозорец Ж. А. Синтаксическая структура строки и ее членение на синтагмы. — В кн.: Актуальные вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1978, с. 79—96.

Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929.

Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. ч. I. 2-е изд. М.; Пг., 1923.

Н. А. КОЖЕВНИКОВА

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ЗВУКОВЫХ ПОВТОРОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII—НАЧАЛА XX в.

В поэзии XVIII—XIX вв. близкозвучные слова медленно, но неуклонно объединяются в синтаксически связанные пары. Сочетания такого типа представляют собой одну из разновидностей звукового повтора. Из общей массы звуковых повторов их выделяет то, что они объединены не только близостью звучания, но смысловыми связями. Такая двойственность дает основание рассматривать эти сочетания как проявление своеобразного приема словоупотребления, а история этих сочетаний представляется предысторией того «паронимического взрыва», который произошел в поэзии XX в. [1]

Тендеция к объединению близкозвучных слов в синтаксически связанные сочетания достаточно отчетлива уже в стихах Тредиаковского. Глубокие звуковые переклички устанавливаются и между разнотипными словами: *Земля* ж то нам дарит, то *вземлет* все обратно; а все учреждено *не просто*, *не напрасно*; от *видимых* не всех, но *ведомых* неложно; Десять *струн* на ней звенящих, *Стройно* и красно гласящих; *Виргилий*, римских *верьх* поэтов и *глава*, и между словом и разными его соответствиями: *струями* в быстрине *стремятся* уж к морям; *смерть* люту *устремите*. Кроме сочетаний вокалического типа [2], в стихах Тредиаковского встречаются и сочетания иных типов — консонантного: *мраз сразит*; Мне *бремени* сегодня ни снесть, ни *пременить*; эпентетического: *скверность* зол *искоренить*; Престань, всех нас *радость*, *рыдати*.

В стихах Ломоносова эта тенденция еще заметнее. К «звуковым метафорам» Ломоносова, которые приводит Ю. Н. Тынянов [3], можно прибавить еще серию сочетаний, свидетельствующих о том, что такое соединение слов не случайность, а более или менее последовательно проводимый принцип. Основное место среди сочетаний Ломоносова принадлежит сочетаниям вокалического типа: Иль тучных *гор* верьхи *горят*; вослед за *скорыми кормами*; в защиту *дружеских держав*; и гор сердца *трясущим треском*; там *равной ревностью* пылают сердца; *усердны* пред тобой *сердца* мы отверзаем; *низвергнув* дерзкого *врага*; *простирает* свой *перст*; *Творец*, не *отвратися*; *зиждителя* со страхом *ждут*. Значительно меньше сочетаний других типов — метатетического: *бугристы берега*; *щедра дщерь*; *гортани* медные *рыгают* жар свирепый и эпентетического: *довольство вольности* златые; на *пламень*, в селах *воспаленный* и т. п.

В подобные сочетания включаются и собственные имена: при *Невских обновясь* струях; *Тюмень* в брегах своих *мутится*; Не сам

[1] *Григорьев В. П.* Поэтика слова. М.: Наука, 1979, с. 267.
[2] См. об этом: Там же, с. 280—283.
[3] *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977, с. 239.

ли в *арфу* ударяет *Орфей*; он меч *вознес* на *Византию*; *кроткая Екатерина*. Имя *Елисавета* погружено в родственную звуковую среду и окружено словами *слава*, *власть*, *вселенна*, *свет*, *совет*, *святой*. Имя *Петр* входит в несколько сочетаний: *Вперяет* бодрых *Петр* внимание очей; *Петр* силою своей десницы Российски *распростpет* границы; Ваш *Петр* за широту пределов меч *простер*. Ряд сочетаний с этим именем пройдет затем через русскую поэзию XVIII—XIX вв.: *Трепещет* в скорби *Петр* Великий (Держ.), ср. И чувствуя приход *Петров*, Дубравы и поля *трепещут* (Лом.), Твой *праотец*, наш *Петр* (Жук.), *Пирует Петр* (П.), *топор Петра* (Майков), *Петр* Великий в Сестербеке *Порт* громадный замышлял (Некр.), В руке *протянутой Петра* (Бл.).

В стихах Державина сочетания, основанные на звуковой близости, сосуществуют с повторениями однокоренных слов: *пернатых перьем испещренны*; И *гул глухой в глуши* гудет; *Грохочет* эхо по *горам*, Как *гром гремящий* по *громам*; *Дымятся* серым *дымом домы*. Объединение слов на основе звуковой близости используется в его стихах и как самостоятельный прием. Сочетания Державина относятся к самым разнообразным типам — вокалическому в разных разновидностях: средь *тучных туч*; под *миртой мирной*; *лучам случится* ниспадать; Сильный где, храбрый, быстрый *Суворов*? *Северны* громы в гробе лежат; *Моря*, леса, *мир* вижу весь; Петрополь *сосны осеняли*; *коварный вран*; метатетическому — также в разных разновидностях: *Смотри*, о *смертный*; *багряным брег* твой становится; *Сибирски* горы *серебра*; Жизнь — *жертвенник торжеств* и крови; консонантному: *Машин* и *башен* сам строитель; Как их брови *соболины*, Полный искр *соколий* взгляд.

Крылов соотносит имена своих персонажей с обозначениями их действий, с их характеристиками и т. п.: так *море присмирело*; *конь... вскинув* голову; вот *еж*, в избе под лавкой *лежа*; *пчела хлопочет*; *телега раскатилась*, Коня *толкает* в зад; *Смерть смотрит* ли на молодость, на силу Или на прелесть лиц; как *сыплют* к курице дождем по зву *цыпляты*; ведь это *дереву вредит*; и на костер *вола взвалили* и т. д. Часть соотнесенных по звучанию и значению слов не образует в баснях Крылова синтаксически связанных пар и оторвана друг от друга большими отрезками текста. Это компенсируется глубиной звуковых перекличек, которые существуют между словами: *волк* — в темный лес ягненка *поволок*; *стрелок* — *осиротил*; *пожар* — *пожираю*. Взаимосвязаны в некоторых случаях и разные обозначения одного и того же существа: *кукушка—кумушка*, *плотичка—плутовка*.

В поэзии Жуковского паронимические сочетания распределены неравномерно. Часть их приходится на стихи 1810-х годов. Например, в «старинной повести» «Двенадцать спящих дев» некоторые важные эпизоды отмечены появлением сочетаний, основанных на звуковой близости: уж *сумрак*. . . *смерклось*; И страшно *заступ застучит*; черна *тень* По долу *протянулась*; *звонка призывны звуки*; весь *мир неизмеримый* Ему открыт. Часть звукосмысловых сближений сосредо-

точена в произведениях 1830-х годов и более позднего времени (например, «Две были и еще одна», перевод «Одиссеи»): *голубая глубина*, *могильная мгла*, *острые острова*, *проворный вороненок*, *взор невыразимый*, меня твой *престол* не *прельстит*, *тростинка* не *тронется*, во *грудь горы*, *пречистых* даров *причастился* и т. д.

Для поэзии XVIII—начала XIX в. характерны глубокие звуковые переклички между синтаксически связанными словами, преобладание сочетаний вокалического типа и контактное расположение соотнесенных слов. Однако самих сочетаний, основанных на звуковой близости слов, сравнительно немного.

Гораздо шире распространены звуковые соответствия между синтаксически связанными словами в поэзии Пушкина. Тем не менее Брюсов был прав, когда писал, что «у Пушкина. звуковой строй скрыт; надо всматриваться, чтобы его увидеть» [4]. Дело тут во многих обстоятельствах и в первую очередь в самом характере сочетаний.

Своеобразие звукосмысловых сближений Пушкина во многом определено тем, что он, как никто, широко пользуется общеязыковыми сочетаниями, основанными на звуковой близости. Его опора — звуковая симметрия и естественная гармония, заложенная в самом языке: Ваш *дед* портной, ваш *дядя* повар; *Стул* ветхий, необитый, И шаткая *постель*; *пьют поэты*; Гарема в *дальнем отделенье*; В *Тавриду возвратился* хан; *играть* умела также на *гитаре;* и *потеряв* уже терпенье; *Пришла Параша*; И *локтем* Таню враз *толкнули*; пастух, *плетя* свой пестрый *лапоть*; она в *горелки* не *играла*; *играть* и *прыгать* не хотела; *уступил* за три *с полтиной*; Домой *одеться едет* он; Я *был* от *балов* без ума; ни *женских ножек*, ни голов; *Кровать*, *покрытая ковром*; *Гусар* Пыхтин *гостил* у нас; мой *модный дом* и вечера; *дамских мод* журнал; обыкновенный *ждал удел*; Пусть бедный *прах* мой здесь же *похоронят*; то ли дело *рюмка рома*; по крутым *скалам скользить*; то на *охоту ехать* с соколами; Чуть в *седле усидел* королевич; *Стременами острыми* язвима; *лукавый человек*; А сам он *жалованьем жил* и т. д.

В то же время часть сочетаний, основанных на звуковой близости слов, выходит за пределы общеязыковых, устанавливая неочевидные связи. Это и оживление стершихся связей между словами: все-то *еж*, он *ежится*, и объединение в рамках однородных членов близкозвучных слов, относящихся к далеким логическим плоскостям: *в кустах*, среди *костей* забвенных; И утренней *луны* бледней, И трепетней гонимой *лани*; И *сани*, и зарею поздной *Сиянье* розовых снегов, и сочетания других типов: минувших лет *воскреснет* ли *краса*; бури так жестоко *Преследуют* во мгле мой *парус* одинокой, *бедственный набат*, *неведомые воды* и т. д. Звуковая связь устанавливается не только при объединении подлежащего и сказуемого, определения и определяемого и т. д., но и между членами сравнения. В ряде слу-

[4] *Брюсов В.* Избранные сочинения в двух томах, т. 2. М., 1955, с. 497.

чаев звуковой близостью связаны предмет и образ сравнения: А как *речь*-то говорит, Словно *реченька* журчит; На *узде* висит Водяница, Как на *уде* пойманная рыбка; *Власы* ее как черный *лес*; *Польша*, как бегущий *полк*; *Ногти* выросли, как вороньи *когти*; ср. у Жуковского: *Ногти* на пальцах, как черные *когти*. Несколько раз повторяется сравнение Татьяны с тенью: Бледна, как *тень*, с утра одета, *Татьяна* ждет; легче *тени Татьяна* прыг в другие сени. В других случаях звуковая близость связывает основание для сравнения и его образ: Одна бы в сердце *пламенела Лампадой* чистою любви; *Истлели* быстрой чередой, Как *листья* осенью гнилой; *Столбом* луна *блестит* над нами; Там *сверкнул* он *искрой* малой; Как *вольность*, *весел* их ночлег; ср.: *роза*, *дитя зари*. У Пушкина встречается и противопоставление, основанное на звуковой близости слов: Подумай: эта голова Была совсем не *человечья*, А *волчья*; сходство между словами замаскировано; ср. в письме П. А. Вяземскому: Вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей *жиле*, а я об *жилье*.

Звуковая близость лежит в основе сочетаний самых разных типов, распределение которых в стихах Пушкина своеобразно. Как и у других поэтов, значительное место принадлежит сочетаниям вокалического типа. Особо следует выделить сочетания, в которых совпадают не только согласные, но и гласные: *море морщить*; Трапезу, мысли и *дела Делили* дружно; *луч случайный*. Часть сочетаний вокалического типа в известной мере размыта, поскольку оба слова имеют несовпадающую часть разной длины: *любви лобзанья*; *машет* мантией *мишурной*; *горят* во мне Змеи сердечной *угрызенья*; Как *весело* стихи свои *вести*; *лаская листочки* древес; *свершая* суд *свирепый*; *младенца* ль *милого* ласкаю и т. п.

Если у поэтов XVIII в. и у Жуковского сочетания вокалического типа преобладают над другими, то для Пушкина это не так очевидно. Сходство между словами то обнажается, то маскируется. Существенную роль в стихах Пушкина играют сочетания эпентетического типа, охватывающие широкий круг слов: *дохнет* веселый *день*; *посыпались*, как *пепел*; *локоны льняные*; *окружась Корреджием*; *опрятней* модного *паркета*; плененный *школьным шалуном*; наездник *пылкий*, Старик *Палей*; *печальные поляны*; *Порос* крапивою *Парнас*; *Стряпуха* Фекла, добрая *старуха*; В *корыте* много ль *корысти*?; на устах *начатый* стих *Недочитанный* затих; *проворный приговор*; На некое был *послан послушанье*; к *противочувствиям привычен*; По зале шепот *пробежал*. . . К хозяйке дама *приближалась*; ср. в «Сказке о рыбаке и рыбке»: Еще пуще старуха *вздурилась* — Так и *вздулись* сердитые волны.

Некоторые сочетания содержат наращение согласного или нескольких согласных в начале одного из слов: Все *рушит*, все *крушит* мечом; Татьяна то *вздохнет*, то *охнет*; *Грозен* Стенька *Разин; широкими реками*; в *родных преданьях*; *Гордись* и *радуйся*, поэт; Другой *Езерский*, *Елизар*; Тяжелый *сплетник*, старый *плут*.

Пушкин использует разные типы метатез: *тоскующие кости*;

жертва злой *отравы*; Небес я не *томил молитвою* другой; когда *коляска ускакала*; *сокровенные красы*; *закон казнит*; в *отплату лепетанья*. Консонантный тип представлен небольшим количеством сочетаний, по преимуществу основанных на мене конечного согласного: И *дом* отцов, и тихий *Дон*; В товарищи себе мы взяли Булатный *нож* да темну *ночь*; Делили *дани* и *дары*; *свинца* веселый *свист*; Люблю твой *строгий*, *стройный* вид; Маститый *страж страны* державной; затворниц *жирных* и *живых*; ср.: О *неге* той страны, где *небо* вечно ясно.

В стихах Пушкина широк и разнообразен круг размытых созвучий. Наряду с сочетаниями, основанными на мене начального согласного, встречаются и такие сочетания, в которых начальному согласному одного слова соответствуют два согласных другого: *Везет*, не *слезет* с облучка; *Скользя*, *ползет* за ворота.

Иногда эпентетический тип приобретает более своеобразный вид, нежели обычно: соотнесенные согласные отделены друг от друга не одной, а двумя вставками: Кто *странным снам* не предавался?; *прах патриархальный*; *гортань геенны* гладной. Комбинируются два типа сочетаний — метатетический и эпентетический: *товар* запасливой *торговли*; медведь, *беглец* родной *берлоги*; *минутное мечтанье*; *негодованье*, *гнев* царя; *Дохнул* осенний *хлад*. Сходство слов скрывает не только порядок согласных, но и наращение согласного в начале одного из них: . . . *злоба Убила* друга моего; от воды *сырой* и *пресной*; их *веру*, *нравы*, воспитанье; Твои *скалы*, твои заливы, И *блеск*, и тень, и говор волн; *простонародной старины* и т. п. Глубина повторов в таких сочетаниях может быть очень большой: *Высокопарный*, но голодный Для виду *прейскурант* висит.

В ряде случаев многоконсонантное слово отнесено сразу к двум разным словам, которые или вовсе не пересекаются: *Скользить* по *зеркалу* стоячих, ровных *рек*, или пересекаются лишь частично: *день. . . давно предвиденный*; моя *Людмила*, *Владимир*, *ведьма*, Черномор; *Взыграйте*, *ветры*, *взройте* воды; *Пора презреть* мне *ропот* знатной черни.

Как и у других поэтов, глубина созвучий колеблется в стихах Пушкина от двух до четырех—пяти, часть сочетаний организована трехконсонантными созвучиями, но ни у одного другого поэта нет такого обилия сочетаний, которые содержали бы двухконсонантные созвучия (и слова): Богами вам еще *даны* Златые *дни*, златые ночи; *лоно* мирной *лени*; Звенит промерзлый *дол* и трескается *лед*; *лес* и *сало*.

Помимо таких «чистых» сочетаний, в стихах Пушкина множество других, в которых двухконсонантному слову соответствует только часть консонантного состава другого слова, при этом несовпадающая часть может быть самой различной длины, а «остаток» этот находится в разных позициях. В конце слова: *перо Парни*; И *негу* чувств, и сердца трепетанье, И юного супруга *наготу*; Поет ему и песни *гор*, И песни *Грузии* счастливой; *влекся вол*. В начале слова: в час *ранней*,

утренней прохлады, *день Бородина*. Часть сочетаний такого рода строится на резком несовпадении длины слова: *Прервали* свой голодный *рев*; Громада кораблей *вспылала*, И *пал* впервые Наварин; средь *обольстительных сетей*; *Благословенное вино*; *пророческих очей*; *незримый рой* гостей.

У Пушкина повторяются отдельные словосочетания (*неведомые воды*), отдельные пары слов (*пожать—пожелать*, *своенравный—ревнивый*, *верный—ветреный*), однокоренные слова в разных сочетаниях: *очей очарованье* — когда коварны *очи Очаруют* вдруг тебя; *лето* быстрое *летит* — наши *лета улетели*.

В разных ситуациях слово приобретает разные звуковые соответствия: в *пыльном поле* — И битвы *поле* роковое Гремит, *пылает* здесь и там; Уж *полдень* над его главой *Пылал* в сиянии веселом — *полдень воспаленный*; *равнодушна* и *ревнива* — *своенравна* и *ревнива*; Мой *верный* друг, мой *ветреный* любовник — Подобный *ветреной Венере*; как роем *черной саранчи* — *мрачнее черной* ночи — *Прозрачный* лес один *чернеет* и т. д. Слово может иметь и полные, и размытые соответствия: *урну* с водой *уронив*, *урна Байрона*, *смиренной урной*; *бал блестит* во всей красе, *булат блестит*; *вольная луна*, под *влиянием луны*, *печальная луна*, *при вдохновительной луне*.

В стихах Пушкина не только представлены сочетания, почерпнутые из разных паронимических гнезд, но и разнотипные сочетания, почерпнутые из одного гнезда: *власы* ее как черный *лес*; ни *власть*, ни жизнь меня не *веселят*; в *довольствии*, во *славе* успокоить; *слово* барской *воли*; Но *воля* и рассудка *власть* Превозмогли; *Воспела* детские *веселья*, И *славу* нашей старины; *Ловласов* обветшала *слава* и т. д.

Таким образом, звуковые переклички распространены на достаточно широкий круг слов, но сами точки соприкосновения между разными словами могут быть и очень незначительными.

Устанавливая неочевидные связи между словами, Пушкин в то же время избегает некоторых очевидных связей, точнее придает им скрытый характер. С этой точки зрения интересно отношение Пушкина к тем звукосмысловым связям, которые установили его предшественники и современники. Если строки из раннего стихотворения *Стакан*, кипящей пеной белой, И *стук* блестящего *стекла* явно соотнесены со строками Жуковского: Стучим *стаканами* в стаканы И пьем из чистого *стекла*, и развивают и усиливают заключенные в них созвучия, в более позднее время Пушкин делает некоторые переклички неявными. Например, в строках «Каменного гостя» слова *сумрак* и *смерклось*, объединенные Жуковским (уж *сумрак*. . . *смерклось*), оторваны друг от друга: Однако уж и *смерклось*. Пока луна над нами не взошла И в светлый *сумрак* тьмы не обратила, Взойдем в Мадрит.

В сонете Петрарки, переведенном Батюшковым, явственна звукосмысловая параллель *Лаура—лавр*, хотя эти слова оторваны друг

от друга. В «Каменном госте» между соответствующими словами существует чисто звуковая связь (*ночь лимоном и лавром пахнет*).

В тех случаях, когда между словами существуют звукосмысловые связи, располагаются эти слова по-разному. Иногда звуковые переклички между словами лежат на поверхности; *герб гробницы*, *презренная проза*. Перекликающиеся слова могут быть рассредоточены по соседним строкам. В самых простых случаях они стоят на стыке строк: Слезы и *стенанья* / *Стеснили* бедной девы грудь; . . .ежели одной моей *могилой* / *Могла* бы я тебя от казни искупить. Чаще слова, рассредоточенные по соседним строкам, отделены и другими словами: Руслан *стремится* за женой; / *Стремглав* летит во тьме глубокой; О, дай *забыть* хоть на единый час / Моей судьбы *заботы* и тревоги; *Стихов* российских механизма / Едва в то время не *постиг*. . .; *Нетерпеливая* жена / Супруга злобного *торопит*; ср. *гордился—подругой*; *толпа—плюет*; *Нева—гневна*. Соотнесенные слова могут быть оторваны и еще больше и отделены друг от друга строкой или несколькими строками: Как часто по *скалам* Кавказа Она Ленорой, при луне, Со мной *скакала* на коне! — в «Медном всаднике» слова, связанные смыслом, *град—горделиво*: Юный *град* . . . вознесся пышно, *горделиво*, разделены двумя строками. В стихотворении «В начале жизни школу помню я. . .» соотнесенные слова *идол* и *идеал* находятся в соседних строфах и отделены друг от друга тремя строками: Один (Дельфийский *идол*). . . Другой женообразный, сладострастный, Сомнительный и лживый *идеал* [5]. В связи с этим одинаковые сочетания выглядят по-разному, а однотипные смысловые связи осуществляются в отрезках текста разной длины. Например, однородные члены могут непосредственно примыкать друг к другу: толпа *волнуется*, *валит*; но могут быть и оторваны друг от друга, находясь в разной степени близости: По ночам *ходит* он в конюшню, Чистит, *холит* коней боярских; Вела расходы, *брила* лбы, Ходила в баню по субботам, Служанок *била* осердясь.

В ряде случаев слово обладает двойной сочетаемостью, при этом ближние и дальние его связи не совпадают. Синтаксически связанные слова либо вовсе не связаны в звуковом отношении, либо связаны в малой степени. Зато слово, согласованное с одним из них по смыслу, но не синтаксически, может быть согласовано и в звуковом отношении. В «Борисе Годунове» пара *труп* — *затрепетал*, связанная и в звуковом и в смысловом отношении, разбита: И привели пред теплый *труп* младенца, И чудо — вдруг мертвец *затрепетал*. В стихотворении «Марко Якубович» непосредственно соотнесенные слова *вурдалак* и *волк* в звуковом отношении связаны меньше, чем пара которая возникает на расстоянии — *великан—волк*: И подул дым на *великана*, И затрясся *вурдалак* проклятый, В двери бросился и бежать пустился, Будто *волк*, охотником гонимый.

---

[5] Ср.: . . . когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу (Гончаров).

Из приведенных примеров, которыми не исчерпываются звукосмысловые сближения Пушкина [6], видно, как широко отражен в его поэзии паронимический фонд языка и как разнообразно использованы возможности объединения слов на основе звуковой близости. А сравнение окончательных вариантов с черновыми показывает, как последовательно видоизменяется окружение некоторых слов в направлении, подсказанном их звучанием. Вот несколько примеров из «Евгения Онегина»: Так *мыслил молодой* повеса — Так *думал молодой* повеса; мусье *Трике*, *Француз* недавно из Тамбова — мосье *Трике*, *Остряк*, недавно из Тамбова; *Трике*, и скромный и великий, ее здоровье тотчас *пьет* — *Поэт* же скромный, хоть великий, Ее здоровье первый *пьет*; *Другой* успел ее *пленить* — *Улан* умел ее *пленить*; *Корзины*, *стулья*, сундуки — *Кастрюли*, *стулья*, сундуки; *Грустила*, плакала сначала, С супр[угом] чуть не *развелась* — *Рвалась* и плакала сначала, С супругом чуть не *развелась*; *Медведь*, мосток, мука, метель, [Бор], [буря], [дом], женитьба, ель. . . [Шатер], [шалаш] — бор, буря, *ведьма*, ель, Еж, мрак, мосток, *медведь*, метель.

Такого разнообразия звукосмысловых сближений, как в стихах Пушкина, не знает не только поэзия XVIII в., но и поэзия XIX в., хотя объединение слов на основе звуковой близости как один из приемов словоупотребления остается в ней в силе.

У поэтов XIX в. общеязыковые сочетания также сосуществуют с менее обычными. Например, в стихах Лермонтова на одном полюсе окажутся такие сочетания, как *ангел* строгими очами На искусителя *взглянул*, *кусая* длинный *ус*, *ружье заряжает* джигит, надежный *сук* мой, как топор, Широкий лоб его *рассек*, дар *молдаванки молодой*, *тусклое стекло*, на другом — такие, как *грядой* нестройной, Но вечно *гордой* и спокойной, Тянулись *горы*; *колебала* река Отраженные в ней *облака*; Зеленой сетью трав *подернут* спящий *пруд*; Молчит весь день и часто *бредит* ночь, По коридору *бродит* и грустит; ср. при рассеянном повторе: *парус* — *просит* бури; *демон* — *надменный*; *пальмы* — *палимы*; Казбек *угрюмый* — Казбек *огромный*; шумя и *крутясь* — шумно *катясь*. В стихах А. К. Толстого сосуществуют такие сочетания, как *Работают* в поле *ребята*, *Торопит* его в *нетерпенье*, *хрустальная люстра* и *заколдованный клад*, *недремлющие думы*, *негодуя*, *гудя* и на бой созывая. У Некрасова на фоне сочетаний *обмахивает мух*, *согнало снег*, *кучер* бешено *кричал* встречаются и менее обычные; Смиренный копотливый *Крот*. *Корит*, грозит!; *Схитрили*, души подлые. Да и смеются, *нехристи*; Шальных *вестей*, *бессовестных*, Про нас не разноси; *Непоротой* Губернии, *Непотрошеной* Волости; *струей* сухой и *острой*; ср. я *голодал подолгу* — *галденье долгое*.

Хотя у каждого из поэтов есть известная доля языковых сочетаний, основанных на звуковой близости, происходит постепенное

[6] См. об этом: *Гербстман А.* Звукопись Пушкина. — Вопросы литературы, 1964, № 5, с. 175—192; *Благой Д. Д.* Мысль и звук в поэзии. — В кн.: Славянские литературы. М.: Наука, 1973, с. 99—139.

перераспределение роли сочетаний разных типов — общеязыковые связи уступают место менее обычным. Об этом свидетельствует, например, распределение разных слов в рамках однородных членов.

Часть слов, объединенных общностью звучания, принадлежит к одному тематическому полю (*тополь—тюльпан*, *олень—лань* и т. д.). Эта особенность языка отражается в поэтических текстах, определяя характер однородных членов: *ворон* и *воробьев* гонять нахальный род; *олени*, серны, козы, *лани* (Кр.), Услышишь *горлиц* воркованье и *Гальционы* тихий глас (Бат.), Под тенью *тополей*, ветвистых *Берез*, дубов и шелковиц, Между *тюльпанов*, *роз* душистых Ряды являются гробниц (Жук.),: от *шляпок* их! чепцов! и *шпилек*! и булавок! (Гриб.), Косули, *грабли*, бороны, *Багры*, станки тележные; *сосна* да *осина* (Некр.) и т. д.

На основе звуковой близости объединяются и отвлеченные существительные: Где *святость* страшных клятв?. . . Где *совесть*, честь и стыд? (Тр.), *презрение* святынь, *позор* почтенных лиц (Лом.), в ней *надежды*, *ожиданье*; *отечество* и *честь* (Жук.), *душа* и *дума* (Гнедич), без *клятв* и *клеветы* (Фет), За *рабство* вековому плену, За *робость* пред мечом Литвы (Хомяков).

Одновременно развивается и нетематический принцип объединения слов, который постепенно становится главенствующим: *Шутками* зависть, злобу *штыком*, Рок низлагать молитвой и богом (Держ.), царей *проказы* и *приказы* (Языков), *вино*, *войну* нам славили поэты (Дельвиг), Навеки мы разлучены с тобой *Стеной* теперь — а после *тайной* (Лерм.), Под этим *саваном* снегов, Под этой *синевой* тумана (Н. Павлов), О, сжалься над *Сибирью*, над *собою* (Хомяков), *Пули* немецкие, Пули турецкие, Пули французские, *Палочки* русские (Некр.), Собери скорей все *волны*, все *валуны*, все струи; Сквозь *проломы* кремлевской стены и сквозь *полымя* (Мей), смесь *Каткова* и *кутьи* (Вл. Соловьев). На фоне устойчивого сочетания *лавры* и *оливы*: принесть в твой дом с *оливой лавр* (Держ.), мирт, *олив* и *лавров* своды (Жук.) и т. д., перечисление Баратынского — *у миртов*, *у олив*, *у моря*, и *у лавы* — воспринимается как обновление штампа.

В сочетания, основанные на звуковой близости, последовательно включаются собственные имена: *гармония Гомеровых* стихов (Гнедич), *Волги вал белоголовый*, *Сороти* студеной Гостеприимные *струи* (Языков), *Рыдала* долто *Зораида*; Он был *воскормлен* сей Москвой (Бар.) ср. *Москва*-старушка нас *вскормила* (Хомяков), Как *Ариадна*, *преданная* гневу (Лерм.), *Корегой покоренною*, Как *Сократ красноречив* (Некр.), Ты *картина*, *Катерина* (Козьма Прутков).

Как видно из приведенного материала, звуковой близостью связаны подлежащее и сказуемое, подлежащее и дополнение, определяемое и определение, однородные члены. Кроме того, соотносятся определение и сказуемое: *брюзгливым* оком *обозрел* (Бар.), И *стройный* мусикийский шорох *Струится* в зыбких камышах (Тютчев), Проснулось эхо *гулкое*, Пошло *гулять*-погуливать (Некр.), глаголы при разных существительных: Жизнь *играет*, солнце *греет* (Тютчев),

определения к разным существительным: закрытый взгляд *Жестокой* смертию объят, И несравненная рука Уж посинела и *жестка* (Лерм.), *седой* зимы *сердитый* бог (А. Толстой). Иногда соотнесенные слова включаются в более сложное построение: Встречу *толпами сыплет* народ, и пушки *палят* (Жук.), . . .Где *выл*, крутясь, сердитый *вал*; Туда *вели* ступени скал (Лерм.)

Подавляющее большинство сочетаний в поэзии XVIII—XIX вв. носит нетропеический характер. Тропы на основе звуковой близости возникают редко. Метафора Ломоносова: *Руками*, *реки*, восплещите, — заимствована из псалма. Цитатный характер имеет и сравнение радуги со смарагдом, которое почерпнуто из Апокалипсиса и встречается у Фета, Бунина.

Сравнения, основанные на звуковой близости, в поэзии XVIII—XIX вв. крайне немногочисленны: *Молитва* в воздухе, как дым не исчезает, Но *будто молния* небесный свод пронзает (Херасков), *Как гусли* тихи иль цевницы, Звенят их *гласы* с облаков (Держ.), *Окна* ее, *как огни* меж темными липами блещут (Жук.), *Славяне* шли, *как львы* с ловитвы (Рылеев), *Толпою полетят* виденья прежних дней (Бар.), Лежали *горы грудой* вековой; Взор покраснел, *как зарево* заката; . . .обнявшись *будто две сестры*, *Струи* Арагвы и Куры (Лерм.), Смотри, *как облаком* живым Фонтан сияющий *клубится* (Тютчев), Блуждающий *плющ*, *как* развешанный *плащ* иль завеса (Майков), Так ласкательно шепчут *струи*, *Словно* робкие *струны* воркуют гитар; Весь залив *блестит*, *как сталь*; ср. Пруд, как *блестящая сталь* (Фет), *Как паутиною*, все затканы *пути* (Случевский). Еще реже встречаются в поэзии этого времени метафоры, основанные на звуковой близости: *озер* живые *зеркала* (Языков), *грудь гор* (Жук., Хомяков), в *груди* глубокой *рудника*; *корабля колыбель* (К. Павлова), *очей* моих *ночь* (А. К. Толстой). Иногда звуковая близость лежит в основе параллелизма, при этом соотнесенные слова оторваны друг от друга большими фрагментами текста. В стихотворении Лермонтова «Умирающий гладиатор» своеобразно использована анаграмма *Рим—мир*: первая часть стихотворения начинается словами: Ликует буйный *Рим*. Во второй части слову *Рим* соответствует *мир*: Не так ли ты, о европейский *мир*. Смысловой параллелизм поддерживается звуковым параллелизмом и в стихотворении Полонского «Качка в бурю»; Гром и шум, *Корабль* качает — Вижу я во сне: качает Няня *колыбель* мою.

Преобладающие типы сочетаний не совпадают у разных поэтов. Один из них, например, Мей, предпочитают вокалический тип сочетаний, основанный на явных звуковых соответствиях между словами: *Купалась* под *Купало*; десницей карающей, выжженный *край*; от *невидимой* силы, *неведомой*; Точно *очарован* я смолоду. . . да видно *зачурован*; И стали власть снимать с меня бесстыдно Не только в *думе* нашей царской — в *доме*. Напротив, у такого поэта, как Фет, сочетания, в которых звуковое сходство слов достаточно наглядно, — лишь часть синтаксически связанных сочетаний, основанных на звуковой

близости. Глубокие звуковые переклички: *Правду провидит* он с высей творенья; дохнул я *струею* и чистой и *страстной*, — сосуществуют с множеством сочетаний, в которых сходство слов затемнено вставками, наращениями, перестановками и т. п.: *влажное ложе*; я *болен*, я *влюблен*; в *помысле смелом*; зелени *растительная сырость*; *разноцветные зарницы*; как *мавзолей*, *безмолвен* храм; *Безбрежная*, как море, *Волнуется* и *наливает рожь*; *шире* и *краше*; *шевелись* же, весло, шевелися и т. д.

В поэзии XVIII—XX вв. сравнительно мало повторяющихся сочетаний. Часть их представляет собой устойчивые формулы (*громада гор*, *ручей журчит*), часть же имеет более индивидуальный характер: *луч случайный* (П., Фет), *тоска жестокая* (Некр., К. Павлова), *промерзлая земля* (П., Фет), *поэт—поет* (П., Бар.,), *пить—петь*: Захарьин! *пей* и *пой* (Держ.), в халате *пил* и *пел* (Вяземский), *пойте*, *пейте* (Ап. Гр.), *ревет* и *рвет*: Отчаянный пастух *ревет* волосы, *ревет*, (Дмитриев), Борей *ревет* и *рвет* в лоскутья паруса (Кр.), ср. В глухой степи *ревел*, в лесу дремучем *выл*, Крутился между гор, он *рвал*, шумел, *валил* (Херасков).

Чаще повторяются пары слов, которые образуют разные сочетания. Отмеченная О. Бриком пара *голос—гусли* у Пушкина входит в ряд перечислений: *гласы* трубны, Рога, тимпаны, *гусли*, бубны. Гораздо раньше эти слова объединил Симеон Полоцкий, назвав один из сборников «*Гусль доброгласная*». Державин сделал их членами сравнения, Хомяков объединил в сочетание *гуслей* сладкий *глас*. У разных поэтов XVIII—XIX вв. повторяются такие пары, как *гора—гореть*, *грудь—гордый*, *гряда—огород*, *жаждать—ждать*, *ковер—кровля*, *зима—земля*, *лес—лист*, *роза—заря*, *скала—сакля*, *поле—пыль* и т. п.

Одно и то же слово приобретает у разных поэтов разные звуковые соответствия. Это такие слова, как *венок*, *лист*, *толпа*, *блестеть*, *струя*. Кроме того, поэты разрабатывают возможности определенных паронимических гнезд и отдельных слов: Теперь и *тень* в саду *темна*; *Тени станем* мы прозрачные; *Потонул* в той душистой *тени*; И все *таинственней*, безмерней Их *тень* растет, растет, как сон (Фет).

В поэзии начала XX в. процесс объединения близкозвучных слов убыстряется. Звуковые связи между словами, которые до этого времени существовали в скрытом виде, начинают обнажаться. Слова, входившие в состав дистантных повторов, объединяются в синтаксически связанные сочетания. Выходят на поверхность ранее завуалированные связи между словами. Например, звуковая связь между словами демон и *дым* (ср. у Лермонтова: «Мой *демон*» — носясь меж *дымных* облаков) становится звукосмысловой связью: Есть *демон* утра. *Дымно*-светел он (Бл.).

Меняется характер связей между некоторыми словами в строке и соседних строках. Слова, находившиеся в непосредственной близости, но синтаксически не связанные, становятся членами разнообразных словосочетаний: ср. У *Черного* моря *чинара* стоит молодая

(Лерм). — И снова в ночь *чернеют* мне *чинары* (Б.), Скажите: в *странствиях* умрет ли *страсть* моя? (П.) — *странствий* и *страстей* подъяв немало (Ив.). Слова *тень* и *стена*, которые обычно складываются в сочетания *тень* (или *тени*) *на стене* (Фет, Ап. Григорьев, Блок, Брюлов и др.), вступают и в более тесные отношения друг с другом: на глухой *теневой стене*; в *настенных тенях* (Б.), «*Стена* и *тени*» — название одного из рассказов Сологуба.

В поэзии начала века у разных поэтов начинают повторяться одни и те же сочетания, и прежде всего сочетания, уже встречавшиеся в поэзии XIX в. Перекличек с Пушкиным в это время почти не встречается, хотя сочетание *ладана сладостный дым* имеет соответствия у разных поэтов: О, как *сладостно ладаном* пахнет кругом?; *И ладана* дым тонкий Висит, дрожит *усладно* (Бр.); душным *ладаном услады* (Ан.), *ладан сладостный* курит (Ив.). Зато переклички с Жуковским гораздо более явственны. Серийными становятся такие его сочетания, как *дым подымался*, *голубая глубина*: Хорошо нам, вольным *дымам*, *Подыматься*, расстилаться; Безмерные хоры и песен и криков, Как *дымы*, *подымутся* в небо глухое (Бр.), *вздымаю дым*, как знамя (Бал.), *дым* несчастий *подымался* (Гор.), . . .*Воздымая* к солнцу — в небо *Дымы* черных алтарей (Вол.). У Белого это сочетание встречается и в стихах: *подымается* тусклый *дымок*, и в прозе: *вздымался дымовой* столб разговора. Звуковая связь между словами неоднократно используется в прозе Сологуба и Ремизова: высоко, как *дым*, *подымается* пыль. . . Сочетание *голубая глубина* используют Вяч. Иванов, Бальмонт, Белый (*голубой глубиною* глаз; ср. *оголубила глубинами*) и другие поэты. Сочетание выходит за пределы поэзии символистов: «Голубая глубина» — название сборника стихов А. Платонова. Слова *голубой* и *глубокий* сближает Блок: в тишине *голубой* и *глубокой*.

В литературе начала века имеют соответствия и другие сочетания Жуковского: *могильная мгла*. Как в безмолвии *могилы*, Я живу в беззвучной *мгле* (Бр.), В *могилы* мутной, белой *мглы* (Ив), *колокол* — *клик*: *колокол. . . скликал*; На голос твой *колокола Откликнулись* вечерним звоном (Бл.), *колокольный переклик* (Ремизов), *клик колокольный* (Гор.), Лишь только *колокол* вечерний с берегов *Перекликается*, звеня и занывая, С могильной стражею белеющих крестов (Бунин).

Лермонтовское сочетание *в тесных стенах* повторяется у Брюсова: в *теснине стен* я весь на страже, — у Бальмонта: в пространстве узких *тесных стен*, — у Городецкого: *из теснин* сомкнутых *стен*. Сближение глаголов *желать* и *жалеть*: Всегда *жалеть* и не *желать* (Демон) имеет соответствие у Анненского: Ни о чем не *жалеть*, ничего не *желать*; у Сологуба: Не *жалела*, но щадила, Не *желала*, но звала.

В наследство от Фета символисты получили устойчивую связь слов *тайна* и *тень*: О тишина! *Тайна* богов! О *полутень*; Как *тайны* изваянной *тень* (Ив.), вещают *тайну тени* (Сол.), *тень таинствен-*

ного сна (Бр.) и т. д. Объединению *скелеты. . . скалят* зубы (Фет) соответствуют менее глубокие объединения Ремизова: *оскаленный скелет* в терновом венце, Блока: *скелет. . . скалясь*. Сочетание Фета *глаза газельи* также имеет соответствия у Бальмонта: с *глазами газели*, Северянина: как *глаза газели* на заре.

Повторяются и некоторые другие сочетания, принадлежащие разным поэтам: *рок—рука—Рок* нам из *мрака* зовущую *руку* простер (Ив.), *Рукою* беспощадной *рока* (Сол.), *роковая рука* (Б.), *Рок рукою* суровой Приподнял завесу времен (Бр.,), ср. у А. Плещеева: И все, что *рок* во дни невзгод Давил железною *рукою*; *веселый—весенний*:мой *веселый*, *весенний* пир (Бл.), *веселие весеннее*; *веселый* зов *весенней* зелени (Бр.), ср. *Весенний* день глядел в окно так *весел* (А. К. Толстой).

Повторяются некоторые пары слов, встречающиеся у разных поэтов XIX в.: *святой—светлый*: Одинокая участь *светла*, Безначальная доля *свята* (Бл.), Много *светлых* полян для кущ *святых* (Ив.), Под *светлым* Маиром *святую* любовь (Сол.), Что в слове «родина» *светло* и *свято*; *светят святые* огни; *светлая святыня* (Бр.), *строй—струны*: *стройные струнные* хоры (Бал.), золотые *струны стройте* без меня (Ив.), *строем струнным* (Бр.), *струнят* и *строят* инструменты (Б.), *гордый—город*: измучен скучным шумом *гордых городов*; *гордый*, царственный, торжественный *город* (Сол.), *город—горд* (Бр.), ср. *громадный гордый град*; о, *гордый город* мой (Ап. Григорьев), *видеть—ведать*: Я *видел* сны, я *ведал* откровенья (Ив.), Чтобы помнили, *видели*, *ведали*; *Ведал* громы, *видел* бури (Бр.), ср. Там на *неведомых* дорожках Следы *невиданных* зверей (П.).

Повторяются и сочетания, которые приобрели серийность уже в поэзии XIX в. Это относится в первую очередь к паре *темный—туман*. Отмеченная Бриком у Пушкина и Лермонтова, эта пара встречается и у других поэтов XIX в.: *Темнота* и *туман* застилают мне путь (А. К. Толстой), *темно*-серый, свинцовый *туман* (Случевский).

В поэзии начала XX в. сочетаются друг с другом не только слова *темный* и *туман*, но и слова *томительный*, *томный*, *мутный*, которые для некоторых поэтов становятся ключевыми: *томная тьма*, *в темноту тумана* (Б.), *потемневший туман*, *затмился* налетом *тумана*, *в томительном тумане*, в этом *мутном* городе *туманов* (Бр.), *темно* от *тумана*, во *тьме томления* земного, в *томленье темном* и великом, я *томился* и *метался* (Сол.), средь *темных* заводей и *мутных*; *потемневший*, *помутневший* взор (Бл.); ср. в *тумане мутном* (Д. Давыдов), *мутно-темны* небеса (Ап. Григорьев).

Слова *шелест — лист* дважды объединяет Тютчев: Багряных *листьев* томный, легкий *шелест*; Из летних *листьев* разве сотый, *Блестя* осенней позолотой, Еще на ветви *шелестит*. Объединяют их и другие поэты (Огарев, Языков, А. К. Толстой, Ап. Григорьев, Плещеев), а в прозе Гончаров, Чехов. Эта пара повторяется затем у Бальмонта, Белого, Иванова.

Другое звуковое подобие слова *лист — блестит* содержится в только что процитированном отрывке из Тютчева (в его же стихотворении «Листья» заглавное слово имеет в тексте два соответствия — *летим* и *блестим*), а до того в стихах Державина: *Возблистал* на *листьях* мед; Липова роща, как жар, *возблистала* Вкруг меда *листом*, Жуковского: На сумраке *листок* трепещущий *блестит*, Лермонтова: И верба, наклоненная над ними, *Блистала* вдруг *листами* золотыми. Оно также привлекает внимание разных поэтов начала века. К нему обращается Брюсов: Сухие *листья*... Они *блестели*, им время *тлеть*; Белый (в прозе): *разблистались листики* инкрустации.

Размытое сочетание *серебряный серп*, которое встречается у Гоголя, Жуковского, Майкова, используют Фофанов, Блок, Городецкий. Сочетание, основанное на сближении однокоренных слов, *веретено—вертится*: И уж *вертлявое вертится* В твоих перстах *веретено* (Ф. Глинка), *Веретено* мое прыгает, *вертится* (Некр.), также приобретает серийность: *Веретенушко*, *вертися* (Ив.), Я сам *вертел веретено* (Бр.), ср. в прозе: пыльные *веретена*, синие в вечернем свете, неслись по городу и *вертелись* (Ремизов).

Отдельные сочетания, не имеющие аналогии в традиции, также начинают повторяться, переходя от поэта к поэту. Круг этих повторяющихся сочетаний относительно широк: *тусклый—тоска*: белый, *тусклый*, *тоскующий* день (Коневской), День *тоскливый* и ленивый, День ленивый *потускнел*; *тоскою тусклой* обуян (Сол.), ср. у Л. Андреева: и вся их жизнь будет *тусклая*, *тоскливая*; *путать—путь*: Среди *запутанных путей*, В темноте мой *путь* я *путал* (Сол.), Все *запутаны пути* раздумий (Бр.), *путали перепутья* (Ремизов); *гореть—играть*: Это — кровь моя тает И *горит* да *играет*, ср. Я, *играя*, сам *сгораю* (Сол.), Хрусталь *горит*. Вино *играет* (Бр.), *Горит*, *играет* перстень самоцветный (Бунин); *луг—лог*: *Логом* струится, *лугом* бредет (Ив.), Благоухает *лог* и *луг* (Бр.), *нежный — снежный*: *нежно-снежно*-белые (Бал.), как *нежный*, *снежный*, краткий; мой *нежный* голубой *подснежник* (Б.), *нежный* саван *снежной* белизны (Бл.), *страсть — ярость*: последней *страсти ярость* (Бл.), *яростная страсть* (Бр.), *нагая — нога*: *наги ноги* (Сол.), *полунагой* и *босоногой* (Ив.). Пара *пусто—постыло* объединяется у Ремизова: и стало так *пусто* и невыносимо *постыло* — и в набросках к поэме «Возмездие» Блока: Мария, нежная Мария, Мне жизнь *постыла* и *пуста*!; Мне *пусто*, мне *постыло* жить, ср. А мне *постылый* век *усталому* коль боги и длят еще (Ан.). Повторяются и некоторые другие сочетания: *летучая туча* (Сол., Б.), *тучка летучая* (Бл., Кузмин), *дивная дева* (Сол., Кон.), *торопливый трепет* (Бал., Кузмин), *зарево зорь* (Бал., Бр.), *лунные льны* (Ив., Вол.), *перламутра переливы* (Бл., Вол.), ср. *истомные уста* (Ив.) — *уста неистомные* (Бр.).

Однокоренные слова *бездна* и *бездонный* объединяются так, что выходит на поверхность их родство: в *бездонной бездне*; *в бездне*

бездонно-глубокой (Бр.), Я пронесу тебя над *бездной*, Ее *бездонностью* дразня (Бл.), меж двух *бездонностей* и в двух зеркальных *безднах*; Из вышних *бездн* глядит *бездонность* глаз (Бал.); ср. у А. Белого: Где *бездна* гибельна (*без дна*!).

Иногда возникновению синтаксически связанных сочетаний препятствуют ограничения в сочетаемости, характерные для того или иного периода. Как только это ограничение теряет силу, так соответствующее сочетание может появиться. Слова *синий* и *сон* вступают в непосредственный контакт друг с другом, когда приобретают широкое хождение сочетания цветового прилагательного с отвлеченным существительным, и сразу начинают повторяться: *засиневет сон* воспоминаний (Бунин), *синий сон* благовонных кадил (Ан.), Беато снился *синий сон* (Бл.).

Расширяется сочетаемость некоторых слов, основанная на звуковой близости. Слово *клонить*, которое на протяжении всего XIX в. сочеталось со словом *колени* (сочетание *клонить колени* встречается еще в «Сказании о Борисе и Глебе»), приобретает иные соответствия. Это прежде всего слово *клен*: Тихо *склонялися клены*, С неба *скользнула* звезда (Бр.), Зеленею, таинственный *клен*, Неизменно *склоненный* к тебе (Бл.), *Клоня кленовый* лист (Б.); ср. Где ильм и ель, широколистый *клен* И древний дуб, сплетаяся ветвями, *Склонят* свою главу (Хомяков), затем такие слова, как *локон*: *локон наклонный* (Бр.), *колокольня*: *колокольня наклонилась* (Гор., *колонна*: *склонись* перед *колонной* Вандомской (Бр.); ср. с *балкона кланялись* цветы (Бл.).

Интересна судьба сочетаний, включающих слово *ветер*. Уже у Ломоносова это слово сочетается со словами *порывает*, *повторяют*, *вертят*, *направят*: Как в понт пловца способный *ветр* Чрез яры волны *порывает*; Се глас мой звучно *повторяют* Земля, и *ветры*, и валы; Тут *ветры* сильные... На Запад и на Юг, на Север и Восток Стремятся и *вертят* мглу, влагу и песок; Пловцу способный *ветр направить*. Сочетания с этим словом используют и другие поэты XVIII в.: *возвратила ветры* вспять; *ветрам растворил* глубокие пещеры (Сумароков), *ветрам вверяет* (Львов), *тревожные ветры* (Петров). В поэзии XIX в. слово сочетается с глаголами *верить* (Жук.), *править* (П.), *встревожить* (Лерм.), *растворить* (Полежаев), *твердить* (Тютчев), *заворотить* (Некр.), *реветь* (Мятлев), ср. в прозе: Дождь и стон *ветра* в трубе *вторили* ее хриплому голосу (Марлинский). Преимущественное распространение в литературе XIX в. приобретают сочетания с глаголом *рвать* и разными приставочными образованиями от этого глагола. В поэзии конца XIX—начала XX в. наряду с приставочными образованиями и образованиями с постфиксом *-ся*: *ворвется* в сердце *ветер* снежный (Бл.), глагол употребляется и в чистом виде, например, у Анненского, Блока, в стихах и прозе А. Белого, в поздних стихах Брюсова, у Волошина, М. Зенкевича и т. д.

Круг сочетаний, в которые входит слово *ветер*, в это время до-

статочно широк. Это по преимуществу сочетания с глаголами: *умертвить* (Фофанов), *швырять* (Бр.), *тревожить* (Бал.), *воротиться* (Бал.), *трезвонить* (Бал.), *поверять* (Сол.) и т. д., ср. *развернутое ветром* знамя (Бл.), *ветер* — винт *перевертной*, *ветер вертким вором* (Б.). Сочетания с глаголами *твердить* и *вторить* повторяются у разных поэтов: Только *ветер* не спит, И гудит, и *твердит* О свиданьи в иной стороне (М. Лохвицкая), *ветр твердит* (Б.), я *ветру* вслух *твердил* стихи (Бр.), *ветер вторит* диким завываньем Их жалобным, но радостным стенаньям (Бунин), Только *ветры* воем *вторят* Тихим жалобам его (Сол.), ср. в прозе А. Белого: *ветры вторили*.

Хотя у разных поэтов тенденция к объединению близкозвучных слов выражается в разной мере — сравнительно мало ею затронуто творчество Бунина, Анненского, Волошина, наибольшую дань ей отдал В. Иванов — можно проследить некоторые особенности, общие если не для всех, то для многих поэтов.

Если говорить о строении паронимических сочетаний, то реже всего встречаются сочетания консонантного типа: *печать печали* (Сол.), Так нам *велит* времен *величье*; *Спалена* моя степь, трава *сва*лена (Бл.). Чаще, чем другие поэты, к ним обращается В. Иванов: *сень* тающей *сети* зеленой; *узлами* пылающих *узд*; *потускла* ярь, костер *потух* и т. д. Распределение сочетаний вокалического и эпентетического типов не совпадает у разных поэтов. Если у Брюсова и Сологуба сочетания эпентетического типа единичны, то Блок и Иванов обращаются к ним довольно часто: *полунощный плащ*, *полет* всех *планет*, *святая стая*, в *серых сферах*, на улице *снежной* и *сонной*, Она *взманила*, *земля* пустынная (Бл.), *сильный*, *смольный* хмель, *Година* размерена *гордыни* Содомовой, под темной *бронзой* звучных *броней*, *стон* Протянутых воздушных *струн* (Ив.). В стихах Блока сочетания эпентетического типа дополнены сочетаниями, для которых характерна перестановка согласных и наращение согласного в начале слова, в результате чего сходство слов размывается: *больная*, *жалобная* стужа; когда ты *злобен* или *болен*; Там стоит просто *грустный*, *Расстроенный* неудачей.

К эпентетическому типу принадлежит и значительная часть сочетаний Анненского: Любит *древних*, любит *давних* ворошить; Кровью был *покрыт* и *проклят*; Есть любовь, похожая на *дым*: Если тесно ей — она *дурманит*; Грубо *сорван саван* снежный. Редкое в стихах этого времени противопоставление также представляет собой сочетание эпентетического типа: И было *мукою* для них, Что людям *музыкой* казалось.

Своеобразна по строению часть вокалических сочетаний В. Иванова. В некоторых случаях одно слово заключено в другом и как бы вынимается из него. Так организованы два типа сочетаний, с одной стороны, такие, как в *кладезях клады*, *островерхий остров*, где совпадают начальные согласные, с другой стороны, такие, как костер *державы ржавой*, *таверна верных*. Несколько сочетаний такого типа

содержится в стихах А. Белого: *души душистый* стих; навеяв *синий, синий иней*; *целю* я, *целуя*—милуя; *зарыскают* быстрые *рыси*; *бирюзовый зов*.

В поэзии начала XX века довольно много сочетаний вполне обычных, в том числе и общеязыковых. Прежде всего они характерны для Блока: *Тропу* печальную, ночную Я до погоста *протоптал*; *Строен* твой *стан*; *затянут стан*; *тонкий стан*; *взглянув* в *глаза* мне; для *веселых* и *славных* детей; *Собираюсь бросить* злобный вызов; пока не *затравлю* ее, как *зверя* и т. п. Печать обычности и простоты лежит и на других сочетаниях Блока. Связи, которые они устанавливают, лежат на поверхности: Она узнала зыбь, и *дымы*, Огни, и мраки, и *дома*; Вы, зеленые, крепкие, *малые*, Твари *милые*, небывалые; *сын осеняется* крестом; И *челн* твой — будет ли *причален*?; *Пробудились* в комнате мужчина и *блудница* (ср. в том же стихотворении: Сегодня была она, как смерть, *бледна*;), *гуляет* нынче *голытьба*. На этом фоне выделяются сочетания: меня *клянут* людские *поколенья*, *колдун* одной рукой *кадил* и особенно *закарабкался краб* всполохнутый, в которых взаимоориентированность слов обнажена. Печатью обычности отмечены и такие сочетания Блока, как *городская гарь*, на *древнем дворце*, уступом *скользких скал*, на вершинах *колких елок*, *могильный ангел*, *розовая зорька*, на *узорной резьбе*, *тело теплое* (при изысканной звуковой организации всего сочетания *тело теплое топча*), *половецкий полон*, *помыслы* твои *несмелы*.

Языковые сочетания встречаются и у других поэтов. Даже у Иванова необычная внешняя форма часто скрывает вполне обычное сочетание: *заступы тупы*, *опахалом алым*, *скалистый скат*.

На противоположном полюсе находятся тропеические конструкции, количество которых в начале XX в. возрастает по сравнению с поэзией XIX в. Это сравнения: Как *колос*, грозой опаленный, *Склонюсь* я во прах пред тобой; *Сияньем*, как *саваном* был я одет (Бал.), *Стреляет* шелковый огонь *Струею* жалящей рубина; *волоса*, как *василиски* (Б.), *залито* поле, как *золотом*, Щедрым посевом патронов (Бр.), Как *волоса*, *Волокна* тонких дымов (Вол.), Из *купола*, как из *купели* (Кузмин), сравнения-приложения: черные *вороны-воры* (Бал.), *невесту-весну* (Бл.), в *терему-тюрьме* родился, *змей-зимовник* самосон, *небо-нёбо* (Гор.).

Хотя в ограниченном количестве, но появляются и метафоры разных типов, в том числе предикативные метафоры: *мир — мираж* (Ан.), *совесть — светильник* опасный и жгучий (Бал.), генитивные метафоры: в кольца дыма Черной *думы* врезан *дым* (Ан.), *плен* твоих *пелен* (Кон.), *бусыньки брусник* (Сол.), *зовы звонов* колокольных; белой *пыли пелена* (Бр.), *лучи лучины* (Гор.). Среди этих единичных метафор выделяются метафоры Сологуба: никаким *желаньем не ужален*; надо мной бессильно *жало* твое, о *жалость*, и в особенности довольно многочисленные метафоры Иванова: *нектар нег*, *рокоты рока*, *зевы язвин*, *зеница зенита*, *лунные льны*, *вестью расцвесть*, *горящих грудей горны*.

Если В. Иванов сжимает пространство, на котором осуществляется звукосмысловой эффект и обнажает связи между словами, то особенность тропов в стихах Блока в том, что звуковое сходство слов не подчеркивается, а, напротив, прячется. В непосредственной близости оказываются слова, образующие размытые сочетания: когда же *грусть* твою *погасит* время; *воздух*, ясный, как *вода*. Синтаксические связи осложняются, так что паронимы непосредственно друг с другом не соотносятся: Умер вешний *голос*. *Погасли* звезды синих *глаз*. В некоторых случаях паронимы распределены между соседними строками, так что связь, существующая между ними, затушевывается: Мне *друг* один — в сыром ночном тумане *Дорога* вдаль; На тонкой мачте — маленький *фонарь*, Что камень драгоценной *фероньеры*; И весной непомерной *взлелеяны* Поседелых туманов *развалины*; И когда вам мерцает обманчивый *свет*, Знайте — вновь он *совьется* во тьму; Когда ты загнан и *забит* Людьми, *заботой*, иль тоскою; ср. более раннее и более простое сочетание: Я в четырех стенах, *убитый* Земной *заботой* и нуждой. Лишь в нескольких метафорах Блока обнажено звуковое сходство слов: *костры* надзвездной *красоты*; *очи ночи* бурной, ср. *дуновений* легкую *дань*. Это метафоры из ранних стихов. Однако поэт предпочел другой путь, следуя поэтам XIX в., которые нередко отрывали друг от друга слова, связанные и в звуковом и в смысловом отношении: *Покорны* солнечным лучам Так сходят *корни* в глубь могилы (Фет), *Душа*, *душа*, которая всецело Одной заветной отдалась любви И ей одной *дышала* и болела...; И никогда таким *вином*, как ныне, Ваш славный кубок *венчан* не бывал (Тютчев).

Основная позиция, в которой сочетаются близкозвучные слова в поэзии начала XX в., — соположение. Если Сологуб и Белый сравнительно редко объединяют слова как однородные: келья моя и *тесна* и *темна*; *скучным* и *скудным* томиться трудом (Сол.), *песни*, *пени*; *долы*, *дали* (Б.), то для Бальмонта, Блока, Иванова однородные члены, связанные звуковой близостью, характерны в значительно большей степени. В позиции соположения сосредоточена большая часть немногочисленных сочетаний Анненского. Сочетания отвлеченных существительных: среди кошмара *дум* и *дрем* (Ан.), *смятенье* и *смерть*; над *смертью*, *смрадом* и *страданьем* (Бл.), летят *Победа* и *Обида*, отзвук *плесков* — отзвук *пляски* (Ив.) соседствуют с сочетаниями конкретных существительных, которые в свою очередь обладают разной степенью смысловой близости: *в мире* широком, *в море* шумящем; Я — *цирцея*, *царица*; Встаньте *смерчем*, *смертным* шквалом (Бр.), тесовый *гроб*, суровый *грот* (Бал.), льет *медь* и топит *мед* (Ив.).

Сочетания двух глаголов, мало распространенные в поэзии XIX в., приобретают активность: *вздымались* и *дымились*: свечи *пылали* и *плыли*; Талый воск и *плакал* и *пылал* (Ан.), как *чаю* я и *чую*; ключ *звенит* и ключ *зовет*; *переменялась*, *переминалась*

(Бал.). Подобные объединения характерны для Блока: Бензин *пыхтит* и *пахнет*; И ты *смеешься* дивным смехом, *Змеишься* в чаше золотой; *Завивалась* и *звала*; *Бил* и *будил* колокольную медь; меня *пленять* и *опьянять*, ср. *Опьяненный* вином золотистым, Золотым *опаленный* огнем. Особенно многочисленны сочетания двух глаголов в стихах В. Иванова, который часто объединяет в этой позиции слова с разным количеством согласных: *Мреть* и *меркнуть*; *Топит*, *топчет* снег отталый, *Куралесит*, *колесит*; Севера солнце умильней и доле *Медлит*, сходя за родимое поле, *Млеет* во мгле. Соположение глаголов — частая позиция паронимов у С. Городецкого: все ли *чуют*, все ли *чают*?; А Юдо *мчит* и *мечет* взор; Но за дверью *звонок* оборвался И упал, и *звенел*, *извинялся*; *Вознеслись* лучи, как стрелы, И *вонзились* в небеса; Сердце, *стой*! Не бейся. *Стынь*, Сердце, *стань*.

Значительное место среди звукосмысловых сближений разных поэтов начала века занимают атрибутивные сочетания. Они характерны для Блока: *тихими стихами*, тишина *улетающих лат*, *смертный сумрак*, *снедающий* меня *недуг*, *несметный сонм* огней и т. п., для В. Иванова: *опустелое тело*, *землею разомлелой*, *глубокие глыбы*, ряды берез, *причастниц непорочных* и т. п. В еще большей степени характерны они для Брюсова, в стихах которого атрибутивные сочетания преобладают над всеми остальными: *земные зимы*, *едкий яд*, *тугая тайга*, *стройные строфы*, *безвестные выси*, *железные жилы*, мира *древний дровосек*, *приют запретный*, *грядущий город*, в *мохнатых мантиях*, от *браги багряной*, *уста* не *усталые* и т. д.

Сочетания подлежащего и сказуемого, связанные звуковой близостью, занимают одно из последних мест по степени распространенности: *Град горит* и не сгорает; *черт чертит* (Ив.), *сплетаются* два *лепестка* (Бр.). Есть среди них и глагольные метафоры: Как в ветер *верило* истлевшее *ветрило* (Бр.), *струятся строки* (Бал.), И синих скал зубчатые *остроги* Теснят и *стерегут* Зеркальный плен изменчивой тревоги (Ив.).

Синтаксически связанные сочетания, основанные на звуковой близости, по-разному распределены в стихах разных поэтов начала XX в.

У Сологуба звукосмысловые сочетания, возникшие довольно рано, более или менее равномерно распределяются по всему его творчеству — от раннего случая поэтической этимологии — обнажения внутренней формы собственного имени *Вытегра*: Тоска и слякоть, хоть завыть, Недаром *Вытегрой* зовется, — до сочетаний конца 10-х начала 20-х годов: *юдольный* проходя удел, земные *свергнувши вериги*. По свидетельству современников, Сологуб любил каламбуры, «улыбки слов». В стихах его шутливые сближения слов не отразились, его сочетания меньше всего каламбурны, но связь слов по созвучию для него существенна в большей степени, чем для других старших символистов. Частных сближений, не имею-

щих обобщающего характера, типа *алый лал*, *развернулись вереницы*, у Сологуба почти нет. Четкому чертежу сологубовского мира, куда частное и мимолетное почти не проникает, соответствует и характер его звукосмысловых сближений. В пары объединяются ключевые слова: *утешения тишины*, *умилительные молитвы*, *покаянные каноны*, *злое зелие*, *мучительная мечта*, разорвать бы *постылые петли*, *святые светила*, *светила возвестили*.

Иногда слово становится предметом пристального рассмотрения, при этом рефлексия направлена и на его звуковые связи, и на вызванные им смысловые ассоциации. Таким смысловым центром становится имя *Вячеслав* в стихотворении, посвященном Вячеславу Иванову: Реет имя *ВЯЧЕСЛАВ*. *Вящий*? *Вещий*? Прославляющий ли *вещи*? *Вече*? иль *венец*? *Слава*? *слово*? или *слать*? Как мне знаки разгадать?

Часть сочетаний повторяется или варьируется. Это, как правило, сочетания, важные в смысловом отношении. Центральные слова-образы Сологуба — *земля*, *безумие*, *змей* (миф о солнце-драконе, золотом змее — один из основных мифов Сологуба) связаны общностью звучания и сочетаются друг с другом: *Безумием* окована *земля*, Тиранством золотого *змея*; *безумная* и страшная *земля*; мрак *безумия земного*; *змей безумно*-золотой и т. п. В звуковом отношении перекликаются и эпитеты змея — *злой* и *золотой*. Так же варьируется связь *земной—измена*: *Земным изменчивым* убранством; *Изменил* я тебе, *неземная*. В стихах, представляющих собой отклик на события революции 1905 года, Сологуб повторяет пару *нагайка—нагая*: Я лежала *нагая* И *нагайками* били меня; *Нагаек* свист и визг мучений, *Нагая* дочь и злой палач; ср. *нагло наги*. В разных позициях и на разных расстояниях повторяется и пара *скучный—скудный*, *отрава—отрада*.

В поле зрения Брюсова прежде всего попадают двухконсонантные сочетания, часть которых представляет вариацию одного и того же созвучия: *сон яснеющий*, в *ясном сиянии* глаз, *ясная сень*, под *синим* бесплодным *сияньем* и т. п. В некоторых сопоставимых случаях глубина звуковых повторов у Брюсова меньше, чем у других поэтов. Отдельные пары слов у него сближают два согласных, в то время как у других слова с этими же корнями сближены тремя согласными: меня *утешит тишина*; *мучившей мечты*; змей *желаний* сладко *жалит*; с *молитвой умильной*; ср. соответствующие сочетания Сологуба, которые приводились выше. Однако постепенно глубина звуковых повторов увеличивается: *прозрачной*, *призрачной*; *странные растенья*; *странные строенья* облаков; *лазурный*, *лучезарный* путь; море *зимнее*, *незнаемое* мной и т. п.

В основном сочетания Брюсова не выделяются из общей массы, если не считать таких звуковых сближений, которые можно рассматривать как своего рода цитату. Посвящая стихи Игорю Северянину, он имитирует некоторые особенности его манеры, в частности, пристрастие его к нагнетанию разнотипных звуковых комбинаций:

Строя струны лиры клирной, *Братьев* ты *собрал* на *брань*... Не *пеан* взывает *пьяный*...

Картина меняется в 20-е годы, когда Брюсов испытал влияние Пастернака. Количество звуковых сближений резко увеличивается: в *мириадах миров*; икон *извечный венчик*; *осквернённый сквер*; *трели менестрелей*; *Зачерпнуть* ли под *череп* с созвездьями небо? Если сравнения представлены одним сочетанием — *манит*, *как магнит*, то метафор значительно больше: *Играет Город* в жизнь; *извет ветвей*; *Полюс* льды *престольно простер*; сквозь *шелест шелков* и из *волн валансьен*; *лыжи лижут*... наст; Сан-Марко два *жгута* витые Колены *жгут*, мечту двоя.

На основе звукового сходства сближаются апеллятив и собственное имя: *Мономахи*, *монахи*, цари; Брат ли *Кабраль кораблю*?; *Каламбур Колумба*; я в *лете лет* беззвучно затерялся; *Домби дамбами* давят Отелл; *подновленный Новалис*; *ледяной Клондайк*. Сближаются и два имени собственных: В *Беарне* ли, в *Берне* ли; *С Ганга*, *с Гоанго*, под *гонг*, под тимпаны.

Существенное место занимает в стихах Брюсова этого времени соположение близкозвучных слов: *пыль*, *полымя* в небо; *Рим* и *мир* миновал я (ср. «*Urbi* et *orbi*»); Но в *клике* ль коршунов, в орлем ли *клекоте*; Все — в былое, в *запруду*, в *запрет*?

Часть этих сочетаний несет на себе печать искусственности, которая особенно бросается в глаза в строках, в которых нагнетаются однотипные созвучия: С таежных *талостей Татлиным* стать ли?; *Лапой лампу пальма* ль валит; По *травам*, *трапам*, *тронам*, *трупам*, По *тропам* плачь, плачь по цветам. — Или когда на небольшом пространстве сочетаются разнотипные созвучия, четко противопоставленные друг другу: *тропик торопит* в *зловещей вежи*; *Гирлянды гор*, ступни столиц, Муть моря, *плавни повилики*; *Лунь*-ведун счел все *луны*, все *цифры* в *Люцифере*.

Как уже говорилось, наиболее характерно тяготение к паронимии для В. Иванова. Количество звукосмысловых сближений нарастает от сборника к сборнику и наибольшей выраженности достигает в сборнике «Cor ardens».

Круг слов, которые вступают в звукосмысловые сочетания в стихах В. Иванова, достаточно широк. В частности, В. Иванов чаще, чем его современники, обращается к сочетаниям, в состав которых входят собственные имена: *Эрос яростный*, *платаны Платона*, *лилии Галилеи*, *семенем Семелы*, *арконские* белые *кони*. Некоторые его сочетания становились предметом пародирования. В то же время у В. Иванова довольно много сочетаний, которые отсылают к опыту предшественников: *убелены луной*, *душа — дышит* (Плывет и жизнью нежной *дышит Душа* под космами таинственных убранств), они имеют соответствия у Тютчева; *лилея—лелеять* (*лилею* в глубоких лесах *Взлелеял* Пан) — у Батюшкова; *демон надоумил* у Жуковского; Чье ты, солнце, *соловей*, *славишь*; ср. у Крылова: *Соловушка*, душа моя! Я слышу, что тебя Везде за песни

славят; *парус распустило*; ср. у Пушкина: *распусти паруса* полотняные; *древнее древо*; ср. у Некрасова: чем *дерево дворянское* древней.

Как пишет С. Аверинцев, стихи Иванова противопоставлены стихам Бальмонта как воплощение слова замкнутого, которое существует «как неделимая, целостная и отделенная от всего иного единица смысла» [7], воплощению слова, разомкнутого навстречу другим словам. Тенденция к отдельности слова преобладает в ранних стихах В. Иванова. Позднее проявляется и иная тенденция — тенденция к размыванию границ слова, к звуковому объединению серии слов льющимся звуком. Так, появляется тройная рифма, более характерная для Бальмонта: Рудой *ведун* отливных *рун*, Я — берег *дюн*, что Бездна лижет; В час полных *лун* седой *валун*, Что, приливая, море движет.

В отличие от Бальмонта, который либо выдвигает на первый план один звук, либо окружает центральное повторяющееся двухконсонантное созвучие серией аллитераций, повторяющих один из звуков, его составляющих, В. Иванов в некоторых стихотворениях опирается на двухконсонантное созвучие, которое может обрастать другими согласными, в результате чего и возникает ощущение глубокой внутренней связи между словами и впечатление плывущего звука: Как плавных волн прилив под пристальной луной, Валун охлынув, наплывает И мель пологую льняною пеленой И скал побеги покрывает, — Былою белизной душа моя бела И стелет бледно блеск безбольный, Когда пред образом благим твоим зажгла Любовь светильник богомольный (Раскол); Льнет лаской золота к волне зеленой льна И ленью смольною в медвяных льется травах (Загорье). Одно слово плавно переходит в другое, звук концентрируется. Эту особенность звуковой организации стиха доводит почти до пародии И. Северянин: Сонные сонмы сомнамбул весны Санно манят в осиянные сны; Лунное сияние — это точно в небе льны... Ленно лани льняные лунно влюблены...

Так в стихах В. Иванова сочетаются два противоположных устремления — с одной стороны, отграничение соотнесенных слов, противопоставление их звуковому окружению: *скит* на белых *скатах*, с другой, — растворение их в близкой звуковой среде.

Происходит своего рода встречное движение. Не отказываясь от объединения паронимов, В. Иванов обращается к аллитерации. Не случайно строки *Пьяный пламень поле пашет* приводили на память Брюсову *Чуждый чарам черный челн* Бальмонта. И, напротив, Бальмонт, не отказываясь от аллитераций, обращается к сочетаниям, часть которых четко противопоставлена своему звуковому окружению: *сгорбленное горе*, *с душою воздушной*, *святая свита*, *остывшим*, *уставшим*. Слово в разных текстах может приобретать разные соот-

[7] *Аверинцев С.* Вячеслав Иванов. — В кн.: Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1976, с. 26—27.

ветствия: над *пустыней полусонной умирающих морей*; *тайно стынут* волны *меркнущих морей*; в *мерцании мира*; в *морях миров*; под светом *планет паутинным*; *планетность пылинок*; *сплетенья*, гирлянды *планет*; *пленительна* зеленая *планета*. Бальмонт иногда даже играет однотипными созвучиями: *Думный, дымный, темный, томный* Дремлет лес.

Синтаксически связанные сочетания, основанные на звуковой близости, в стихах А. Белого сосуществуют с другими способами звуковой организации стиха и часто не отделяются от них. А. Белого интересует звук как таковой. Тем не менее количество звукосмысловых сближений у него постепенно возрастает.

В сборниках «Пепел» и «Урна» тенденция к объединению близкозвучных слов представлена сравнительно небольшим количеством сочетаний: бросали *бренчавшие бревна*; гремели *рыданьем родным*; в краях *сырых, суровых*; *заклокотавших колоколен*; в мыслях — *молнийный излом*; сухие *шелесты слетают* с тополей; роптанья *страстные струны*; *коралловый, кровавый* рог и т. д.

Несколько звуковых отражений группируется вокруг лейтмотивов «Пепла» — внутренне связанных слов *простор, пространство, простертый*: *Просторов простертая рать*: В *пространствах* таятся *пространства*; *пространствами стертый* бредет; Я — *просторов* рыдающих *сторож*; Одинокое, бедное поле, *Сиротливо простертое* вдаль.

С разнокоренными словами, объединенными звуковой близостью, соперничают излюбленные Белым нагнетения однокоренных слов, особенно характерные для «Урны». Иногда разные способы звуковой организации стиха объединяются в одном стихотворении. Так строится неоднократно цитировавшееся в этой связи стихотворение «Смерть», в котором объединяются разнокорневые слова (минуют *песни, пени*) и, в частности, слова, дополненные аллитерацией: *сметает смехом смерть*, сочетания и повторения однокоренных слов: кругом *крутые кручи*; *краснеет красный* край (впоследствии эта строка казалась Белому неудачной); *клонюсь* над *склоном* дня; умри—*гори*: *сгорай*!, внутренняя рифма: как *нежный, снежный*, краткий. — Подобная же картина и в стихотворении «Прости», где объединяются сочетания однокоренных слов: как *ропщут, взропщут рощи*, паронимы: *внемля волненью волн* и внутренние рифмы.

В сборнике «Звезда» Белый экспериментирует с аллитерациями и ассонансами, на фоне которых выделяются более глубокие созвучия: и моря *рокот роковой*; *блистающая стая*; Над травой *мотылек* — *Самолетный* цветок. В некоторых стихотворениях разные приемы звуковой организации стиха сочетаются: Вот небеса, наполнясь, как слезами, Благоуханным блеском вечеров, Блаженными блистают бирюзами И — маревом моргающих миров.

Количество сочетаний, основанных на звуковой близости, несколько возрастает в стихах 20-х—30-х годов: *треск стрекоз*; *томно матов* Над *голубем голубизною зной*; Из-за чехла — *мельканье мел-*

кой моли; *свирепый вепрь*; *пыльный, полудневный пламень*; немою *глыбой голубой*; *молочный*, ломкий, *молодой*; *мороки рока*.

Переделывая свои старые стихи, Белый не только дробит строку, акцентируя каждое слово, вплоть до предлогов, но и объединяет слова на основе звуковой близости. Он не только объединяет слова в синтаксически связанные пары, но и сближает слова, независимые друг от друга: *Площади, пыльные липы, — Пыли пылающих плит*; *Летайте* — Над *лепетом лет*; *треплется тополь С тропы, Как влепленный в лепеты Лета*. Помимо этих развернутых звуковых построений, по которым разлиты разные вариации созвучия, в стихах этого времени используются и более обычные двухсловные сочетания: *оранжевою ржавчиною* рдея; льет *русые росы* (ср. *сырые росы* в «Пепле»), *мороками рока*; *скорбно скорчены*.

Белый не избегает и уже имеющих традицию сочетаний, он несколько варьирует их, меняя местами и т. п. (Белый знал работу О. Брика, в которой описаны эти сочетания). В стихотворении «Маленький балаган на маленькой планете „Земля“» рядом с сочетанием *молний малиновых нам миготня*, которое соотносится с заглавным словом *маленький*, используется и сближение слов *плач—печаль*, имеющее большую традицию. Опираясь на устойчивую связь между ними, Белый помещает их в необычную для них синтаксическую позицию: тысячелетием *плачет*: *печаль*. В «Первом свидании», насыщенном внутренними рифмами (И *чертит* па, и *вертит* туры), ассонансами (И *трудный гуд*, и *нудный зуд* — Так ноет *зуб*, так *нудит блуд*), повторениями однокоренных слов (От *безобразий* городских До тайн *безóбразий* Эреба, До света *образов* людских М*ногообразиями* неба), рядом с каламбурными сближениями (Графиня *толстая*, *Толстая*; Не та *калоша*: *Каллаша*), рядом с такими сочетаниями, как *гиблый гибеллин*, *осиянная Осанна*, я переломлен, *переполнен Переполохами* пустот; Так, звуки слова «*дар Валдая*» *Балды*, над партою *болтая*, — *Переболтают* в «дарвалдая», используется и традиционное объединение *туманы темные* повисли.

Звукосмысловые сочетания символистов подготавливают расцвет паронимии, который наступит в поэзии более позднего времени, хотя сами по себе они в значительной мере находятся в русле поэзии XIX в., где почти не было паронимов в тропеических конструкциях. В 20-е годы поэты начала века (Брюсов, Белый) испытывают сильное влияние нового литературного окружения.

В поэзии конца 1910—20-х годов и более позднего времени резко уменьшается роль сочетаний общеязыкового типа. На первый план выдвигается тропеические конструкции и в первую очередь метафоры разных типов: *ножами наживы* (Хл.), *радуга судорог*, *костры оркестра*, *пенится пенье* (Маяк.), *пошлина* бессмертной *пошлости* (Цв.), *метель* полночных *матиол*, *душа душна* (Паст.), и т. п. В метафоры объединяются слова, которые в поэзии XIX—начала XX в. находились в непосредственной близости друг от друга, но в кон-

такты не вступали: И *стон* раздался под *стеной* (Лерм.) — *стон стены* (Хл.), Молвит *слово* — *соловей* поет (Лерм.) — *соловьи слова* (Цв.), На *город* пали *груды* серой пыли (Бр.) — *города* — *груды* глиняные (Маяк.), На *дне* у меня Играет мерцание *дня* (Лерм.) — до *дней* последних *донца* (Маяк.). Приобретает активность и противопоставление близкозвучных слов. Одновременно продолжает играть важную роль объединение тематически неоднородных слов в рамках однородных членов: время *жертвы* и *жратвы*; без *проволочек* и *проволочек* (Хл.), *в монистах*, *в монетах*, *в туманах*; *чернил* и *чар* (Цв.), о, тяжелые *соты* и нежные *сети* (Манд.), о *принципах* и *принцах* (Паст.).

Меняются и типы сочетаний, которым отдается предпочтение. Если в поэзии XIX в. слова легко обрастают вставками и наращениями, так что сходство между ними маскируется, в поэзии XX в. это сходство акцентируется. В связи с этим резко падает количество эпентетических сочетаний, хотя некоторые поэты прибегают к ним неоднократно: на площадь, *мрачно очерченную чернью*, *стодомым содомом* (Маяк.), *древен* и *дивен*; *сивилла*: *ствол* (Цв.). Возрастает роль вокалических сочетаний, которые тяготеют либо к полному совпадению звукового состава слов, либо к минимальному отличию между словами: в поте — *пишущий*, в поте — *пашущий* (Цв.).

Паронимические сочетания в тексте утрачивают свой единичный характер. Нагнетение паронимов разных типов становится одним из принципов организации текста: *Слезают слезы* с крыши в трубы, к *руке реки* чертя полоски (Маяк.). Иногда таким образом организованы и в достаточной мере развернутые тексты (например, «Лесная тоска» Хлебникова).

Материал поэзии XIX в. и в первую очередь поэзии Пушкина наглядно показывает, что словосочетания, основанные на звуковой близости, напоминающие некоторые факты поэзии XX в., на самом деле принадлежат к другой системе. Это становится еще очевиднее, если принять во внимание, что в создании этой системы принимают участие не только рассмотренные, но и те сочетания, которые основаны на соответствии звонких согласных одного слова глухим согласным другого: *Пружины* ржавые опять *пришли* в движенье; *Параше Препоручу* семейство наше (П.) и т. д.

Сколь бы резко ни отличались системы, в которые включаются сочетания, основанные на звуковой близости, в XIX и XX вв., и сколь бы отличными друг от друга ни были сами сочетания, в стихах поэтов XX в. используются и сочетания, уже апробированные ранее. Это относится не только к таким сочетаниям, как *ветер рвет*, *лист шелестит*, *дым подымается*, которые приобрели ко времени «паронимического взрыва» устойчивый характер, но и к менее обычным: *тучные тучи*, *город горит* (Маяк.), *желанный*, *жаленный*, *пожар пожирает* траву (Цв.), *синь* и *сонь* (Ес.), еще *спутан* и свеж первопуток, *карабкались крабы* (Паст.) и т. п. Некоторые сочетания повторяются у разных поэтов, как повторялись они и в более ран-

нее время: Радости *пей*! *Пой* (Маяк.), *Пей* и *пой*, моя подружка (Ес.), Я хочу, чтобы поезд и *пил* и *пел* (Цв.).

Таким образом, новая система вбирает в себя старые элементы, которые переосмысливаются в соответствии с ее особенностями.

Н. Н. ИВАНОВА

ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИРИКЕ

Лирическое слово монологично по своей природе. Признание и исповедь поэта, его созерцание и размышление, обращение и призыв изливаются обычно в монологе. Вследствие этого тема предлагаемой статьи звучит несколько парадоксально. Тем не менее, широкое проникновение элементов диалога в современную лирическую поэзию является, с нашей точки зрения, одной из характерных черт ее сегодняшнего бытия.

Распространение и упрочение диалогических элементов в лирике связано с укреплением позиций «разговорности» в стихотворной речи, со все большим сближением языка поэзии с разговорной стихией литературного языка. Одно из проявлений этого процесса можно видеть в разнообразном по форме использовании в лирическом стихотворении выразительных возможностей «чужой» речи, будь то прямая речь одного героя или обмен героев репликами — их диалог.

О диалогичности современной лирической поэзии можно говорить, имея в виду различные вещи. Под диалогичностью лирики в широком смысле понимают характер выражаемых в ней отношений между автором (лирическим героем) и современным массовым читателем-слушателем, то существенное качество поэтического слова, которое влияет на самую суть лирической поэзии, как бы превращая ее из авторского лирического монолога в диалог — форму беседы автора с читателем. Яркая «обращенность» современной лирической поэзии к читателю-собеседнику, находящая различное выражение и в речевых формах, безусловно способствует демократизации стихотворной речи, упрочивая разговорную экспрессию в тексте, служа разговорности стиля.

Приведем примеры такой внутренней диалогичности поэтического текста. Обращенность к другу-читателю — яркая черта многих стихотворений Р. Рождественского и характерная особенность его поэтического почерка. Стихотворение «Тем, кто не видел землю вблизи», например, завершается строфой с прямым обращением *друзья* и согласованными с ним императивными глагольными формами второго лица мн. ч. *сумейте*, *измерьте*, *возьмите*, *поймите*.

Скорее, друзья! Сумейте —
землю шагами измерьте!
Песню с собой возьмите
и землю сердцем поймите.

Пусть она открывается
с каждым восходом и полднем. . .
Такое не забывается!
Не верите? Спорим!

Концовка этого стихотворения *Не верите? Спорим!* содержит почти диалогического характера реплику, начало спора, как бы концентрируя стилистическое своеобразие текста в целом. Стихотворение Е. Евтушенко «Земляки» начинается рядом вопросительных предложений.

Вы Россию действительно любите?
А за что? До самих не дошло?
За ромашки, березки и лютики?
Не забыли вы душу ее?
Сименона вы с чувством читаете,
уважаемый мною земляк,
а читали ли вы Чаадаева?
Все же Пушкин читал как-никак.

Однако это не просто вопросы в лирическом монологе — выразительный прием семантической актуализации последующего утверждения; кроме последнего, это и предложения, которым придан яркий колорит звучащей речи; это — как бы вопросы-реплики в живом разговоре, в общении, что значительно отличает их от вопросительных предложений книжно-поэтической речи [1]. Помимо эмоциональной обращенности к читателю-собеседнику, они несут с собой также экспрессию, присущую построениям устной разговорной речи, с их лаконизмом, эллиптичностью, расчлененностью и т. п. Разговорность тона, заданная этими предложениями, поддерживается также характерным вводом предложения, начинающегося союзом *а*, с внутренним разрывом предложения, ср. *А за что? За ромашки, березки. . . ?* и *А за что? До самих не дошло? За ромашки. . .?* в тексте стихотворения [2], с разговорными лексическими средствами (что) *дошло до* (кого-н.) в знач. ‘кто понял что-н.’; *все же*, *как-никак*.

Другое понимание диалогичности современной стихотворной речи связано с подходом к лирической поэзии со стороны выразительности речевых форм, прежде всего синтаксического строя. Последний позволяет увидеть среди синтаксических структур — слагаемых лирического текста — достаточно значительный пласт элементов диалогической речи и конструкций прямой речи. Все эти элементы

[1] Восприятию экспрессии «устности» здесь отчасти мешает ритмическая организация текста, «семантический ореол метра» в терминологии М. Л. Гаспарова, отсылающий к классическим трехсложникам Некрасова.

[2] О «влиянии на письменную монологическую речь структурных черт диалога», о «разных видах разрыва конструкций, построенных на основе вопросо-ответного соединения» см.: *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М.: Наука, 1966, с. 140.

несут в тексте стилистическую и эстетическую «нагрузку»: первую, стилистическую, — как речевые средства с разговорной окраской в силу их причастности к «говорению», изображению звучащей речи; вторую, эстетическую, — как слагаемые художественной структуры, в которой они оказываются приспособленными к выражению идейно-образного содержания стихотворения и служат общей стилевой установке автора. Функциональная «нагруженность» диалогических элементов в лирическом тексте близка той, которая свойственна диалогу в художественной прозе [3]. Но между ними есть и различие, связанное со специфическими условиями существования диалога в лирике. Малое пространство лирического текста и в связи с этим увеличение значимости лексических и стилистических значений каждого словесного слагаемого, каждой синтаксической конструкции определяют значительно бóльшую строгость и тщательность в отборе этих средств, следовательно, более высокую степень их эстетической «нагруженности». В этих условиях приобретает особое значение и стилистический фон, на котором более отчетливо выступают или, напротив, с которым сливаются разговорные по своей стилистической окраске элементы диалога. Кроме того, следует принять во внимание и подчиненность упомянутых элементов текста законам ритмической организации словесного материала в поэзии, стиховой природе лирического слова.

В стихотворении Б. Слуцкого «Очередь за книгой» голоса автора и неавтора отчетливо различаются.

Мы в очереди./ — Что дают? —
Ответствуем, что мы за книгой.
— Разочарован? Дальше двигай! —
Но некоторые — встают.
Встают. Стоять не устают.
Стоять всю жизнь, до смерти/рады
не хлеба ради — слова ради,
что им по слогу выдают.

Отчетливее наций, рас,
ясней, чем лысины, седины,
знак на лице, /что ты хоть раз
стоял за книгой. / Хоть единый!

Кто облучен ее лучом, /ее сияньем коронован,
тому иноз нипочем: / вознагражден он томом новым.
Надеюсь, что не раз, не два
возобновится эта давка
у застекленного прилавка.
— А что там продают?
— Слова.

[3] *Полищук Г. Г., Сиротинина О. Б.* Разговорная речь и художественный диалог. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979.

Ввод диалогических реплик с их яркой разговорностью, вносящих в текст экспрессию устной речи: — *Что дают?*; — *Разочарован? Дальше двигай*!, стилистически контрастируя с дальнейшим текстом, актуализирует семантику последующих слов, выделяет поэтическую гиперболу: *Стоять всю жизнь, до смерти рады не хлеба ради — слова ради*, которая нарастает от стиха к стиху. Эти «сигналы» устной речи в поэтическом тексте (ср. порядок слов в стихе *Дальше двигай* и — обычный в разговорной речи: *двигай дальше*, *давай отсюда* и т. п.) выполняют и характерологическую функцию, что особенно наглядно при сравнении упомянутых реплик с репликами «мнимого» диалога в концовке стихотворения. При сохранении внешних признаков диалога — формы вопросо-ответного единства — здесь выступает авторская речь, лишенная стилистически сниженных слов, ср. *Что дают?* в начале стихотворения и *А что там продают?* в конце, с характерной метафоричностью: *продают слова*.

Это взаимодействие «чужой» и авторской речи, как и композиционная функция этих элементов — их участие в обрамлении текста, являются свидетельством важной роли диалогического элемента в художественной организации и стилистической окраске стихотворения.

Аналогичную стилистическую функцию выполняют диалогические реплики в другом стихотворении Б. Слуцкого — «Самый старый долг».

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.
Я лечу, / лечу, / лечу. . .
— Ты бы, мамочка, соснула. —
Отвечает: — Не хочу. . .

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница / этой жизни. /
Сверху — вниз.
С ложки / мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон,
снится маме утомленной:
это он, / это он,
с ложки / некогда / кормленный.

«Чужая» речь, в данном случае — бытовая, обиходная речь самого поэта, отличается на фоне поэтического контекста и ласковой формой прямого обращения *мамочка*, и разговорным глаголом *соснуть* (ср. *заснуть*). Для усиления экспрессии «устности» автор прибегнул к типичному для устной, а не для письменной передачи прямой речи

способу ее ввода в текст: *Отвечает: — Не хочу...* Таким образом, двустишие *Ты бы, мамочка, соснула, — Отвечает: — Не хочу...* оказывается стилистически противопоставленным остальному тексту как яркий разговорный акцент в стихотворении; элементы диалога при этом выполняют и характерологическую функцию: они характеризуют лирического героя стихотворения как сына в его отношении к старой, тяжело больной матери.

Стилистическая разговорность стихотворения К. Ваншенкина «Объяснение» многообразна:

Сказал: — Еще с тех пор... —
Ответила: — Я тоже... —
И глянула в упор,
Смущая и тревожа.

Дождинку стерла с губ,
Но не поцеловала.
Знать, кровь различных групп
В их жилах бушевала.

В формировании разговорного стиля весьма существенна роль диалогического элемента, как бы задающего общую тональность: стихотворение начинается с обмена персонажей краткими репликами с характерной для устной, а не для письменной речи ситуативно восполняемой незавершенностью высказывания. Разговорность обнаруживается и в наличии стилистически сниженной лексики (*глянуть, дождинка, знать* в знач. вводного слова), и в характерном преобразовании штампа книжной речи: ср. *кровь течет, бежит, льется в чьих жилах* и *кровь* (*какой*) *группы бушует в* (*чьих*) *жилах*, где благодаря глаголу *бушевать* усилена экспрессия сочетания, а сам фразеологический трафарет лишен «стертости» вследствие внутриструктурного взаимодействия сочетаний, прикрепленных к различным функциональным сферам (поэзия, вообще литература и, с другой стороны, специальная сфера, медицинская терминология — *группа крови*). Диалогический момент начала стихотворения, помимо сообщения тексту экспрессии устной речи, акцентирует внимание на героях, которые предстают как персонажи драматизованной сцены. Это впечатление поддерживается и далее: автор как бы видит героев со стороны, наблюдает за ними, за внешними проявлениями их поведения: *Дождинку стерла с губ, Но не поцеловала*; и лишь заключительные стихи итог-размышление. Внутритекстовой диалог, таким образом, выполняет двоякую роль: способствует драматизации лирического повествования и участвует в формировании разговорного стиля стихотворения, не контрастируя при этом с другими разговорными слагаемыми текста, а напротив, усиливая их звучание.

Внутритекстовое взаимодействие речевых форм, выражающих авторский и неавторский голоса, может быть и более сложным, вос-

приниматься не всегда однозначно, как, например, в стихотворении К. Ваншенкина «Течение болезни».

Больной не ест, не пьет.
Отбрасывает книжку.
Термометр — как лед,
Засунутый под мышку.
Что, дождь?.. С высот сойдя,
Средь лампового блеска
Лицо жены с дождя,
Приближенное, резко.
А сам он мал и гол,
Купанья ждет в корыте.
Еще один укол?
Пожалуйста, колите.

Воспоминаний круг
Распался. С прошлым счеты.
Приехал старый друг.
Прощаться? Что ты, что ты!..
И вдруг — спокойный свет.
Снежинки вьются редко.
Глядит — а друга нет.
Пустая табуретка.
И с дрожью новых сил:
— Я не сумел заметить,
Он снился или был?..
— Был, был. Уже дней десять...

В рассказ о болезни, ведущийся в третьем лице, в 3-й строфе вдруг включается «чужой» голос или, возможно, различные голоса. Последние два стиха здесь могут быть отнесены, скорее, к двум различным лицам (ср., например, голос врача или жены *Еще один укол?* и ответ *Пожалуйста колите*). При любом толковании это — внесение в текст экспрессии разговорной речи, и, хотя внешние признаки диалога — графическое его выделение — здесь отсутствует, о разговорной экспрессии говорит эллиптичность первой реплики, согласие, содержащееся во второй. Та же картина повторяется в заключительном стихе четвертой строфы: (*Прощаться?* — как бы голос лирического героя — *Что ты, что ты!* — как бы голос друга, возможно, и жены), причем, как и в предыдущей строфе, эти реплики, не оформленные в виде прямой речи, конечно, принадлежат автору-лирику. Речь идет, таким образом, о выражении авторского голоса, представленного в форме диалога с характерными для него синтаксической упрощенностью и краткостью диалогических реплик, экспрессивностью и лаконизмом. В заключительной строфе диалог, наконец, приобретает графически выраженную форму:

И с дрожью новых сил:
— Я не сумел заметить,
Он снился или был?..
— Был, был. Уже дней десять...

Диалог занимает здесь уже три стиха, т. е. выступает как завершение постепенно нарастающего в тексте драматизма изложения, и вместе с тем как заключительный разговорный и эмоционально-экспрессивный акцент. Характерологической функцией элементы диалогической речи в стихотворении не осложнены, голоса участников диалога по этому признаку не различаются.

Диалогические элементы в лирическом тексте всегда стилистически значимы, при этом их значение как слагаемых художественной структуры прямо пропорционально их эстетической «нагруженности».

Речевые формы элементов диалога в стихотворении Р. Рождественского «Марк Шагал», как и в стихотворении К. Ваншенкина «Течение болезни», стилистически не противопоставлены речевым формам разговорного авторского лирического повествования.

Он стар / и похож на свое одиночество.
Ему рассуждать о погоде / не хочется.
Он сразу — с вопроса: / — А вы не из Витебска?. .
Пиджак старомодный / на лацканах вытерся. . .

— Нет, я не из Витебска. . . / Долгая пауза.
А после — слова / монотонно и пасмурно:
— Тружусь и хвораю. . . / В Венеции — выставка. . .
Так вы не из Витебска?. . / — Нет, не из Витебска. . .
. . . . . .
. . . . . .

— Так вы не из Витебска?. . / Он замолкает.
И вдруг произносит, / как самое-самое,
названия улиц: / «Смоленская», «Зáмковая».
Как Волгою, / хвастает Витьбой-рекою
и машет по-детски / прозрачной рукою. . .

— Так вы не из Витебска. . . / Надо прощаться.
Прощаться. / Скорее домой / возвращаться. . .
Деревья стоят / вдоль дороги на вытяжку.
Темнеет. . . / И жалко, / что я не из Витебска.

Однако здесь особенно ярко выделяется характерологическая функция диалогических средств, формирующих образное представление о художнике, чье имя вынесено в заглавие стихотворения. Помимо прямой передачи диалога автора и героя в тексте имеются и неоднократно повторяемые с некоторым варьированием вопрос—реплика персонажа — *А вы не из Витебска?* — в первой строфе (ср. далее: *Так вы не из Витебска?* . . во второй и пятой строфах и с другой интонацией еще раз в пятой строфе: *Так вы не из Витебска.* . .) и ответная реплика поэта — *Нет, я не из Витебска* или — *Нет, не из Витебска.* Эти диалогические элементы, принимая на себя функцию рефрена, служат не только сюжетному развитию стихотворения (вследствие повтора усилению общей разговорности его тона), но и становятся своеобразным символическим выразителем основной темы, каждый раз наполняясь новым содержанием и пронося через весь текст эмоциональную характеристику образа персонажа. Для идейно-образного содержания и стиля стихотворения существенно и то обстоятельство, что слова ответной реплики *я не из Витебска* завершают все лирическое повествование, что актуализирует их семантику и экспрессию, подчеркивает их особую значимость для текста в целом.

Голоса автора и персонажа в лирическом повествовании могут, как мы видели, быть различимы или не различаться. Они нередко сли-

ваются в речевых формах стихотворения в одно целое, причем диалог, в котором воплощен лирический текст, предстает в известной мере условностью, условной формой выражения, избранной поэтом-лириком. Так, диалогическое построение стихотворения И. Шкляревского «Три возраста» не делает его разговорным

Отец рассказывает мне
о первой мировой войне.

— Скажи, отец, ты убивал?
— Я воевал. И убивал.

Под шум разросшихся берез
я вспомнил детский свой вопрос.

Отец помедлил и сказал:
— Стреляли все. И я стрелял.

И десять лет еще прошло.
Отец мой дышит тяжело.

Я знаю на вопрос ответ:
— Не убивал, не помню, нет. . .

При всей простоте синтаксического строя авторского повествования, отвечающей синтаксической упрощенности диалогических реплик, отсутствии поэтизмов, семантических смещений в лексике и т. п. в стихотворении отчетливо слышен один голос — голос поэта-лирика с его проникновением в психологию человека, философским подходом к вопросам человеческого бытия, переоценке ценностей на основе жизненного опыта и т. п. Диалогичность текста служит здесь нарастанию внутреннего драматизма, а последняя реплика — мнимая реплика: по внешним признакам — это прямая речь персонажа, но в еще большей мере это — голос автора: *Я знаю на вопрос ответ. . .* По функции в тексте такая реплика близка слову с метафорическим значением, в котором сосуществуют два значения, содержится и конкретный образ, и отвлеченное содержание.

В отдельных случаях мы имеем дело по существу лишь с имитацией диалога[4], как, например, в стихотворении К. Ваншенкина «Народ и царь».

— Знаете, кто я, / и помните, кто вы? —
Царственный голос над зноем долин.
— Знаем, всесильный, / и помнить готовы:
Ты — властелин. / Мы — пластелин.
Мы пребываем в дощатой опоке,
В стенках, куда ты нас лично вминал.
Но подступают иные эпохи,
И переводятся формы в металл.

[4] Именно такой диалог характерен для многих произведений классической донекрасовской поэзии.

Придавая тексту внешние признаки диалога, поэт полностью устраняет приметы «устности», экспрессию разговорной речи и снимает характерологическую функцию речевых форм в речи персонажа. Книжно-литературное звучание, таким образом, в одинаковой степени характерно и для речи царя, и для речи народа.

Голоса автора и персонажа могут сливаться в лирическом тексте не только в речевых формах, свойственных авторскому лирическому повествованию, т. е. не только в голосе поэта-лирика, но и в голосе героя-персонажа, в речевых формах последнего. При этом стилистическая окраска текста, вместившего элементы прямой речи или диалога, находится в прямой зависимости от социальной принадлежности персонажа, т. е. от наличия или отсутствия в диалогических элементах текста специфических средств его речевой характеристики. Стихотворение К. Ваншенкина «Старый поэт», например, представляет собой поэтическую имитацию прямой речи персонажа — старого поэта, где авторское слово представлено единственным стихом — вторым стихом первой строфы.

— А как я живу? —
Смотрит чертом, журнал отложив. —
Еще на плаву,
До сих пор, представляете, жив.

Но прочно забыт.
Не смущайтесь, я знаю давно.
Немного знобит.
Ничего, я прикрою окно?

Такие дела.
Вот вам строчки недавнего дня:
Жизнь мимо прошла,
Просвистев, не попала в меня. . .

Поскольку необходимость в индивидуальной социально-речевой характеристике персонажа здесь отпадает, и автор и персонаж — поэты, имитация диалога в стихотворении создается не столько с помощью лексических показателей своеобразия чужой речи, сколько строевыми приемами изображения прямой речи, такими, как ответная вопросительная реплика первого стиха с характерным начинающим союзом *а*, глагольные формы 2-го лица изъявительного и повелительного наклонений *представляете*, *не смущайтесь*; бессоюзная связь в предложении *Ничего, я прикрою окно?* Особое место среди речевых средств принадлежит тем, которые оформляют образ в заключительных стихах: признание старого поэта с метафорическим уподоблением жизненного процесса полету пули могло бы исходить и от автора. Двоякая отнесенность этих слов, т. е. возможность одновременной принадлежности их герою-поэту и автору-повествователю, композиционно актуализирована в концовке текста. Общее разго-

ворное прочтение стихотворения, охарактеризованное нами как диалогичность, опирается, следовательно, не на речевое различие социально охарактеризованных персонажа и автора, а на приметы «устности», связанные с синтаксическим устройством текста.

В стихотворении И. Шкляревского «Занавеска», начинающемся как неторопливый рассказ (что подчеркнуто употреблением глагольных форм несовершенного вида *провожали*, *пили*), прямая речь персонажей и авторское повествование чрезвычайно близки по своему характеру вплоть до отдельных лексических совпадений, усиливающих эту близость.

День провожали. Пили чай.
Старик заметил невзначай,
Что занавеска колыхнулась.
Ну точно кто ее задел.
Сказал старухе: — Ты коснулась?
— Где я сижу? Совсем сдурел. . . —
О сыне вдруг заговорили.
А было тихо за окном.
И к ночи дверь уже закрыли.
— Ну, точно тянет сквозняком! —
Старик свое твердит упрямо.
И вдруг стучат!
— Ты слышишь, мать? —
И вправду зазвенела рама.
Иду! А сам не может встать. . .

Разговорный по тону стих *Ну точно кто ее задел* (ср. будто-бы кто-то. . .), принадлежащий поэту, поскольку это продолжение повествовательных стихов с характерным употреблением глагольных форм прошедшего совершенного: *заметил*, *колыхнулась*, *задел*, имеет лексическое соответствие в прямой речи персонажа-старика, начинающейся тою же разговорной частицей *ну*: — *Ну, точно тянет сквозняком!* Обратим внимание на это весьма значимое употребление в авторском повествовании разговорной частицы *ну*, присоединений с союзом *а*, характерного для устной речи приема введения прямой речи *Сказал старухе*: — *Ты коснулась?*, а также на наличие стилистически сниженной лексики (разг. *невзначай*, просторечн. *вправду*). Все это служит сближению авторского повествования с речью персонажей — крестьян (старик, старуха), реплики которых не только характерологичны, но и различаются между собой: более нейтральна разговорная речь старика (— *Ты коснулась? . .* — *Ну, точно тянет сквозняком*! . . . — *Ты, слышишь, мать? . . . Иду!*), разговорно-просторечна, даже грубовата, речь старухи (Сказал старухе: — *Ты коснулась? — Где я сижу? Совсем сдурел. . .* —). В этом отношении показательна реплика заключительного стиха *Иду!*, принадлежащая персонажу (глагольная форма первого лица наст. вр.) и поэтому как бы противопоставленная словам автора-повествователя, своеоб-

разной авторской ремарке от 3-го лица *А сам не может встать.* Однако в отличие от остальных случаев ввода прямой речи и диалога в текст стихотворения, реплика *Иду* графически не выделена автором, что дает основание для отнесения ее одновременно и к авторской речи. В этом, как кажется, можно видеть подтверждение речевыми средствами слияния, спаянности речевых форм автора и персонажа в контексте и актуализацию общей стилевой установки на простоту, разговорность лирического высказывания, в художественной структуре и стилевом характере которого столь значительное место принадлежит диалогическим элементам.

К лирическим стихотворениям, стиль которых формируется при участии прямой речи и диалогических элементов, примыкают и такие произведения, которые не содержат «чужого» голоса, а, напротив, как искони присуще произведениям лирического жанра, вмещают лишь голос поэта-лирика, но в своеобразной форме. Стилистическая установка на простое слово, разговорность, приближенность поэтической речи к речи обыденной, повседневной обусловливают использование в лирическом монологе поэта речевых форм, близких бытовому диалогу. Так, постепенное нарастание разговорной экспрессии в стихотворении Е. Винокурова «Человек мне этот неприятен. . .» достигает максимальной степени в заключительном четверостишии.

Как-то странно булькая, хохочет,
Тянет непонятный анекдот.
Не могу понять, чего он хочет,
Почему никак он не уйдет.
Я молчу, как будто кляп забили. . .
Наконец-то! Вышел. Я повис
На перилах: — Вы портфель забыли!
Нет, зачем же?! Я вам сброшу вниз!

Здесь оказываются композиционно выделенными, т. е. как бы стилистически акцентированными такие характерные для устной речи черты, как синтаксическая незавершенность высказывания (*как будто кляп забили. . .* — ‘кому? куда?’), синтаксическая самостоятельность связанных в нормативно-литературной речи единиц (*Наконец-то! Вышел.*), наконец, представленная в виде прямой речи и обращенная к воображаемому персонажу речь автора — *Вы портфель забыли! Нет, зачем же?! Я вам сброшу вниз!* Прямая речь представляет здесь эмоциональную кульминацию текста и является средством предельной концентрации экспрессии «устности», звучащей речи с ее эмоциональностью, лаконизмом (*Нет, зачем же?* — реплика содержит ситуативный эллипсис с возможным содержанием: ‘зачем же вам возвращаться’ или ‘зачем же вам подниматься по лестнице’), выдвижением вперед основной темы высказывания (ср. — *Вы портфель забыли* и литературно правильный порядок слов: *Вы забыли портфель*). Прямой речи принадлежит в концовке текста главная роль не только в создании эмоционального образа, но и в семантике

целого: она является здесь метонимическим средством выражения полного неприятия поэтом определенного типа личности, средством ярко эмоционального и выразительным.

Прием введения в текст действенных сигналов устной речи, какими являются диалогические элементы, в целях использования экспрессивных красок последней аналогичен приему использования литературных реминисценций, привлекаемых для сообщения стихотворению стилистических красок текста-источника или колорита определенной исторической эпохи [5]. Он напоминает цитацию устной речи, из которой таким путем извлекаются наиболее характерное, типичное. К приему такого своеобразного цитирования диалогических элементов устной речи обращается, например, К. Ваншенкин в стихотворении «Девушка в длинной шинели. . .»

Девушка в длинной шинели.
Госпиталь. Юность. Война.
Как они, право, сумели
Вынести это сполна?
Если приходится худо,
Лучшую мину сострой.
Годы прошли — и покуда
Та же работа сестрой.
Четко подстрижена челка.
Возраст? А возраста нет.
Вечнозеленая елка,
В белый глядящая свет.

Здесь стих последней строфы *Возраст? А возраста нет*, содержащий своеобразное вопросо-ответное единство, по форме характерное для устной, а не письменной речи, является той экспрессивной искрой, которая освещает текст в целом, по-особенному высвечивая индивидуальный поэтический образ в концовке стихотворения — уподобление одинокой женщины вечнозеленому хвойному дереву.

Значение включений в лирический текст отдельных реплик—цитат из диалога для стиля стихотворения во многом зависит и от их места в композиции целого. Так, их стилистическая роль заметно увеличивается в концовке стихотворения, в сильной позиции в композиционной структуре текста. Например, две начальные строфы стихотворения К. Ваншенкина «Не стоит спорить со стариками. . .» не отличаются разговорностью тона.

Не стоит спорить со стариками, —
Мотив щемящий в ночи возник, —
Пускай им кажутся сорняками
Растенья, выросшие без них.

[5] *Иванова Н. Н.* Высокая и поэтическая лексика. — В кн.: Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М.: Наука, 1977, с. 35 и след.

Пугаясь моды, как смен погоды,
В воспоминаньях пускай парят.
— Вот в наше время! Вот в наши годы! —
Пускай с достоинством говорят.

Пускай считают нас слабаками, —
На них и вправду земля стоит.
Не нужно спорить со стариками.
. . .Чего так рьяно? А сам старик.

Это связано как с использованием поэтического приема метонимической характеристики «своего» времени с позиции «стариков» (*Пускай им кажутся сорняками Растенья, выросшие без них*), так и с речевыми формами упомянутых четверостиший — употреблением книжных лексико-фразеологических и синтаксических средств (*щемящий мотив, в ночи, парить в воспоминаньях, говорить с достоинством*), причастного и деепричастного оборотов, нанизыванием императивных конструкций. Наличие анафорической разговорной частицы *пускай* — как и включение «чужого» голоса, который подается поэтом остраненно, — служат здесь подготовке впечатления и стилистически связующим звеном между упомянутыми строфами и заключительной очень разговорной по тону строфой, как бы фокусирующей общее впечатление о стихотворении. В третьей строфе, помимо стилистически сниженных лексических средств — разговорной частицы *пускай*, оформляющей включение ряда императивных конструкций, просторечных слов *слабак*, *вправду*, влияющих на ее звучание, имеется венчающий строфу стих *Чего так рьяно? А сам старик*, который звучит как своеобразная цитация записей живой устной речи, с характерной для последней экспрессией, лаконизмом, эллиптичностью выражения (*Чего так рьяно?* 'что делаю?') и стилистически значимым присоединением ответной реплики при помощи союза *а*, объясняющим защиту позиции стариков: *А сам старик.*

Рассматриваемые элементы лирического монолога, которым поэт с определенной стилистической целью придает форму диалогических реплик живой звучащей речи, типа рассмотренных выше *Возраст? А возраста нет* или *Чего так рьяно? А сам старик* в стихотворениях К. Ваншенкина, имеют двойственный характер. Они принадлежат, как мы убеждены, поэту-лирику, но вместе с тем вопросительная часть этих вопросо-ответных единств является, как часто бывает в разговоре двух лиц, как бы вопросом—повтором чужого вопроса, в нем ощутим «чужой» голос, с которым сливается голос поэта [6].

---

[6] В этом явлении стихотворной речи можно усмотреть близость к несобственно-прямому диалогу. Последний «представляет собой диалог, преломленный сознанием одного из его участников. Диалог строится так, что один из говорящих представлен в двух ролях: и как лицо говорящее, и как лицо, воспринимающее чужую речь» (*Кожевникова Н. А.* Несобственно-прямой диалог в ху-

Беседуя с читателем, поэт как бы слышит обращенный к нему вопрос, не прозвучавший в тексте, но прервавший развитие лирического размышления. Примерно так обстоит дело и в стихотворении Р. Рождественского «Взрослеют люди».

Взрослеют люди / на распеве крутом.
Взрослеют, / сердце для других разбросав. . .
И не пьют? / Да нет — / пьют. / Дело не в том.
Дело в большем. / Дело в честных глазах. . .

Это впечатление упрочивается здесь еще более в силу последующего развития ответа, своеобразного разговорного нарастания ответов на вопрос, внезапно оборвавший лирическое повествование: *Да нет — пьют. Дело не в том. Дело в большем. Дело в честных глазах. . .* Поэт как бы настойчиво убеждает воображаемого оппонента, настаивает на своем мнении. Здесь, как нам представляется, отчетливо проступает двойственный характер диалогических элементов текста, который позволяет говорить об одновременном проявлении различных форм диалогичности в лирическом тексте — диалогичности в широком смысле слова, как беседы автора с читателем, выраженного общения между ними, и диалогичности как наличия в тексте реплик диалога с их экспрессией устной разговорной речи.

Итак, диалог в тексте лирического стихотворения может быть условной формой поэтического выражения, когда тексту присущи лишь внешние признаки диалогической речи. Однако в современной поэзии элементы диалога гораздо чаще позволяют различить в тексте голоса автора (лирического героя) и персонажа, которые в речевом плане, в свою очередь, могут существенно отличаться друг от друга или быть едва различимы, как бы сливаясь в один голос (автора или персонажа). При этом элементы диалога, сохраняя лексические и синтаксические особенности звучащей речи, выполняют характерологическую функцию, неся с собой момент социальной или эмоциональной характеристики образа автора или персонажа. Диалогические включения в текст способствуют также драматизации лирического повествования. Служа изображению устной речи, диалогические элементы в лирическом стихотворении оказывают заметное влияние на эмоциональный образ текста в целом, их наличие во многом определяет разговорность стиля стихотворения, непринужденность его звучания. Минимальная синтаксическая сложность и краткая протяженность диалогических реплик и включений прямой речи способствуют простоте, лаконизму выражения. Они усиливают также рас-

дожественной прозе. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М.: Наука, 1976, с. 283). В нашем случае смещено само понятие диалога, так как представлен только лирический монолог автора, в создании которого участвуют речевые формы, напоминающие о диалоге. Но поэт-лирик выступает и «как лицо говорящее, и как лицо, воспринимающее чужую речь».

члененность поэтического высказывания, приводящую к синтаксическому сгущению речи в лирическом тексте. Все это связывает широкое использование диалога в современной лирике с процессом демократизации стихотворной речи, активно осуществляющимся в современной поэзии.

Э. И. ХАНПИРА

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕФИНИЦИИ

Дефиниция (определение) — один из типов толкования слов. Я предпочитаю здесь однозначный термин *дефиниция* (который в словосочетании *художественная дефиниция* выступает как терминоэлемент) многозначному термину *определение* (*художественное определение* может быть понято и как эпитет).

Дефинициями устанавливаются (выявляются) значения как общеупотребительных слов, так и терминов (Канделаки, с. 5; Горский, с. 305). Дефиниции в словаре общего языка и в терминологическом словаре равно должны удовлетворять требованиям логики. Различия между такими дефинициями в том, что первые — это, в подавляющем числе, дефиниции обыденных понятий, а вторые — научных (теоретических) и специальных. Определяя обыденные понятия, словари общего языка устанавливают (выявляют) обыденные (языковые) значения слов и устойчивых словосочетаний, т. е. значения, присущие словам и устойчивым словосочетаниям в общем языке. А. А. Потебня писал: «Что такое „значение слова“? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела. Так как говорится о всевозможных вещах, то без упомянутого ограничения языкознание заключало бы в себе, кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая другая наука, еще содержание всех прочих наук. Например, говоря о значении слова *дерево*, мы должны были бы перейти в область ботаники. . . Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других наук, — дальнейшим значением слова» (Потебня, с. 19). Об этом же предупреждал Л. В. Щерба: «*Прямая* (линия) определяется в геометрии как „кратчайшее расстояние между двумя точками“. Но в литературном языке это, очевидно, не так. Я думаю, что прямой мы называем в быту „линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)“» (Щерба, с. 280). И пояснил: «. . . в основе наших обывательских понятий *прямо*, *направо*, *налево* лежит, я думаю, линия нашего взгляда, когда мы смотрим

перед собой» (Там же, с. 280) [1]. Легко заметить, что по существу речь идет о различии между терминологическими и нетерминологическими значениями слов.

По В. М. Солнцеву, языковое значение слова есть «упрощенное понятие», «стабильное в понятии, тот минимум признаков понятия, который закрепляется за знаком языка и который необходим, чтобы данный знак приобрел общественную значимость. ., который делает слово понятным и позволяет ему функционировать в речи» (Солнцев, с. 111). Иллюстрируя это положение, В. М. Солнцев пишет: «Так, содержание понятия „движение“ изменяется по мере углубления знаний людей об этом явлении. Для существования слова *движение* вполне достаточен какой-то минимум более или менее постоянных признаков понятия «движение», который закрепляется за данным звуковым комплексом в виде его значения. Разумеется, значения также меняются, хотя и не так быстро, как понятия. Благодаря наличию значения у слова *движение* этим словом могут пользоваться люди, которые отнюдь не представляют себе ясно научного содержания понятия „движение“» (Там же, с. 112).

То, что А. А. Потебня называл «ближайшим» или еще «формальным» (Потебня, с. 20) значением, а Л. В. Щерба — «обывательским понятием», то В. М. Солнцев называет «упрощенным понятием», а С. Д. Кацнельсон — «формальным понятием» (Кацнельсон, с. 18—25) [2].

---

[1] Слово *обывательский* употреблено здесь не в оценочном значении. Интересно отметить, что в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова *прямая линия* определяется так: «Линия, образом которой может служить бесконечная, туго натянутая нить». Видимо, со временем, когда с помощью школы достоянием решительно всех носителей языка станет точное (геометрическое) определение прямой линии, толковые словари зафиксируют это. «Обывательские» понятия тоже находятся в движении, отражая общественно-исторический опыт носителей языка, рост их образованности. При этом одни из таких понятий изменяются быстрее, другие — медленнее. Система «языковых понятий (ближайших значений) постоянно приближается к системе научных понятий, стремится включить ее в себя, никогда, однако, не достигая этого предела и не совпадая с этой системой» (Степанов, с. 24).

[2] Формальному понятию С. Д. Кацнельсон противопоставляет содержательное понятие, отмечая единство их объемов. Коснувшись различения С. Д. Кацнельсоном содержательных и формальных понятий, логик Е. К. Войшвилло так комментировал его: «Судя по всему, под содержательным понятием подразумевается понятие как система знаний, а под формальным — понятие, взятое в основном его содержании. . . Такое различие и соответствующая ему трактовка лексического значения слова не вызывает возражения. Однако сам термин „формальное понятие“ здесь едва ли удобен из-за некоторых ассоциаций, которые могут возникать в связи с его употреблением. Более естественным было бы употребить его лишь для таких лексических значений, в которых фиксируются несущественные признаки предметов, хотя и достаточные для выделения этих предметов» (Войшвилло, с. 126—127). И чуть дальше: «. . .определения в толковых словарях, когда задача состоит лишь в выделении обозначаемых словами предметов, существенно отличаются от таковых в энциклопедических словарях. Введенный С. Д. Кацнельсоном термин „формальное понятие“ скорее подошел бы для понятий, которые сообщаются в пер-

Дефиниции обыденных понятий, разумеется, не могут не отличаться от дефиниций научных понятий. Логик Д. П. Горский констатирует: «Все определения можно подразделить на повседневные и теоретические. . . Теоретические определения являются существенными компонентами научных теорий. . . Определения значений слов, которые встречаются в толковых словарях, могут быть примером повседневных определений» (Горский, с. 91).

Думаю, что «повседневные дефиниции», верно устанавливающие нетерминологические значения слов на страницах толковых словарей, нельзя назвать ненаучными: они появились в итоге научной работы и в явной форме выражают то, что есть в общем языковом сознании [3]. Они научны по способу, которым добыты, и по адекватности отражения. Они научны, как научно, например, адекватное описание грамматического строя какого-либо языка или диалекта.

«Теоретические дефиниции» в отличие от повседневных научны еще и по своему содержанию.

Итак, логика выделяет дефиниции повседневные [4] и теоретические. Однако в художественной речи встречается еще один вид дефиниций — художественные дефиниции. Обратимся к фактам:

Что дружба? Легкий пыл похмелья, / Обиды вольный разговор, / Обмен тщеславия, безделья / Иль покровительства позор (Пушкин, с. 169); Что слава? — Яркая заплата / На ветхом рубище певца (Там же, с. 168); Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей) (Там же, с. 664); Переводчики — почтовые лошади просвещения (Там же, с. 1407); Я т ь. . . Вы подумайте: что такое слезы человеческие? Малодушная психиатрия и больше ничего! (Чехов, с. 116); С а т и н. . . Ложь — религия рабов и хозяев. . . Правда — бог свободного человека! (Горький, с. 173); Н и л. . . Ребятишки — ведь это люди в будущем. . . (Там же, с. 40); Т е т е р е в. . . Хитрость — ум зверя (Там же, с. 49); К о с т ы л е в. . . Что такое странник? Странный человек. . . не похожий на других. . . (Там же, с. 161); Француз: Чего кипятитесь? / Обещали и делим поровну: / Одному — бублик, другому — дырка от бублика, / Это и есть демократическая республика (Маяковский, 2, с. 204); Не хочу / похвастать / мыслью

вом случае. Эти же понятия, если угодно, можно назвать „обыденными", „повседневными" в отличие от научных. Однако смысл слова, термина может составлять и научное понятие. Под термином „счетное множество" в математике подразумевают «множество, эквивалентное множеству натуральных чисел». Это, конечно, не обыденное понятие. Итак, нет никакой принципиальной разницы между „обыденными" и научными понятиями по их форме. Различие может быть только в точности и глубине отражения» (Войшвилло, с. 128).

[3] Конечно, самодельные дефиниции, устанавливающие нетерминологические значения слов, принадлежащие обычным носителям языка (т. е. неязыковедам), как правило, и по способу добывания, и по точности отражения не могут быть названы научными.

[4] Которые могут быть, как мы заметили, ненаучными и научными.

новенькой, но, по-моему, — / утверждаю без авторской спеси / — коммуна / — это место, / где исчезнут чиновники / и где будет / много / стихов и песен (Там же, 7, с. 154); Любить — / это значит: / / в глубь двора / вбежать / и до ночи грачьей, / блестя топором, / рубить дрова, / силой / своей / играючи. / Любить — / это с простынь, / бессонницей рванных, / срываться, / ревнуя, к Копернику, / его, / а не мужа Марьи Иванны, / считая своим / соперником (Там же, 9, с. 383); Слово — / полководец человечьей силы (Там же, 7, с. 105); Юбилей — это пепел, / песок и дым; / юбилей — это радость седым; / юбилей — / это край кладбищенских ям; / это речи / и фимиам; / остановка предсмертная, / вздохи, / елей — вот что лезет / из букв «ю-б-и-л-е-й» (Там же, 7, с. 236); Мы / ничьей башки / мостами не морочим. / Что такое мост? / Приспособленье для простуд (Там же, 7, с. 89); Время / вещь / необычайно длинная. . . (Там же, 7, с. 235); Партия — / это / единый ураган, / из голосов спресованный / тихих и тонких, / от него / лопаются / укрепленья врага, / как в канонаду / от пушек — / перепонки /. . . . Партия — / рука миллионопалая, / сжатая / в один / громящий кулак. . . / Партия — / это / миллионов плечи, / друг к другу / прижатые туго /. . . Мозг класса, / дело класса, / сила класса / — вот что такое партия (Там же, т. 6, с. 265, 266, 267); Что такое счастье? Соучастье / в добрых человеческих делах, / в жарком вздохе разделенной страсти, / в жарком хлебе, собранном в полях. / Да, но разве только в этом счастье? (Асеев, с. 202).

В стихотворении А. Ахматовой «Про стихи» сказано: Это — выжимки бессонниц, / Это — свеч кривых нагар, / Это — сотен белых звонниц / Первый утренний удар. . . / Это теплый подоконник / Под черниговской луной, / Это — пчелы, это — донник / Это — пыль, и мрак, и зной (Ахматова, с. 298). У Б. Пастернака в «Определении поэзии»: Это — круто налившийся свист, / Это — щелканье сдавленных льдинок, / Это — ночь, леденящая лист, / Это — двух соловьев поединок /. Это — сладкий заглохший горох, / Это — слезы вселенной в лопатках [5], / Это — с пультов и флейт — Фигаро / низвергается градом на грядку (Пастернак, с. 56).

«Поэзия — это фотография невидимого», — сказал Грэм Грин в беседе с Евг. Евтушенко (Евтушенко).

Б. Пастернак так определяет старость: Но старость — это Рим, который / Взамен турусов и колес / Не читки требует с актера, / А полной гибели всерьез (Пастернак, с. 150). А. Вознесенский об аэропорте: Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот — / Аэропорт!. . . / Аэропорт — озона и солнца / Аккредитованное посольство! (Вознесенский, 1964, с. 65, 67). Любовь у А. Вознесенского — «это райское яблоко с бритвами» (Вознесенский, 1972, с. 108), а чайка — «плавки бога» (Вознесенский, 1970, с. 162).

[5] «Лопатки — стручки гороха» (примеч. Б. Пастернака).

Л. Мартынов определяет весенний разлив: Я родился в начале мая, / И прекрасно я понимаю, / Что такое разлив весенний: / Это ветер и гребни в пене, / Это вывернутые коряги / И затопленные овраги, / В ночь, когда над стерней колючей, / Подымаются сизые тучи, / Возвращеньем зимы угрожая (Мартынов, с. 247).

Существует научное мышление, существует «обыденное мышление, в котором деловая информация и прагматическое использование языка играет бóльшую роль, чем отвлеченное рассуждение» (Кацнельсон, с. 15), и есть «художественное мышление, использующее слово для образного воспроизведения действительности» (Там же, с. 15). Если не все люди обладают научным мышлением, то обыденным владеют все, а художественным — многие. Научное мышление порождает научные понятия (и оперирует ими), обыденное — обыденные, а художественное — художественные.

Художественные понятия являются слепками с образных представлений. Содержание этих понятий выявляется художественными дефинициями.

К художественному мышлению (в особенности к художественным понятиям и художественным дефинициям) прибегают не только писатели. Крылатой стала дефиниция, принадлежащая академику И. П. Павлову: Факты — воздух ученого; Связь — нервы Красной Армии, — читаем в директиве Верховного Главнокомандования (цит. по: Правда, 11 сент. 1979). Широко известны дефиниции: Революции — локомотивы истории; Пролетариат — могильщик буржуазии; Насилие — повивальная бабка общества, когда оно беременно новым; Религия — опиум народа; Артиллерия — бог войны; Болтун — находка для врага. А вот дефиниция архива, данная неархивоведом: «Долговременная память» истории и культуры, местопребывание некогда живых человеческих стихий, отбушевавших, отвердевших в документе (Скуратовский) [6]; М. Планк говорил, что эфир — это дитя классической физики, зачатое во скорби (Кузнецов, с. 49).

Вспоминаются и некоторые афоризмы шестилетнего Саши Селезнева, о котором рассказала «Литературная газета»: горе — то, чего нельзя поправить; легенда — бывшая правда; звон — крик предмета; смекалка — ум солдата, акробат — пропеллер с руками и ногами; царь — одна власть; дубленка — шкура наизнанку (Глушаков).

Это свойство мышления, видимо, и было использовано при зарождении традиции комических (в том числе сатирических) словарей в XVIII в. в европейских литературах. В «Современном словаре» Г. Филдинга (1752 г.) находим, например: А н г е л. Женщина, обычно прескверная; П о л и т и к а. Искусство получать места при дворе (цит. по: Привалова, с. 79). И в русских комических словарях,

[6] Г. Гейне в статье «К различному пониманию истории» заметил: «Le pain est le droit du peuple (хлеб есть право народа. — *Э. Х.*), — сказал Сен-Жюст, и это — величайшие слова, сказанные за всю революцию» (Гейне, с. 9).

ведущих свое начало с журнала А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» (1759), содержатся художественные дефиниции как остро сатирической, так и юмористической направленности, например: Чиновник. Мрачная душа со светлыми пуговицами: Кладбище. Поле равенства; Время. Пространство, наполненное глупостями и преступлениями; Красноречие. Богатая одежда лжи; Карикатура. Эпиграмма в рисунках; Щекотать. Смешить пальцами (цит. по: Привалова, с. 85, 87).

М. И. Привалова замечает, что в проанализированном ею материале наиболее «распространенный тип истолкования слов. . . представлен группой, где определитель. . . равен метафоре (метонимии, реже синекдохе)» (Там же, с. 84). И продолжает: «Отметим, что, несмотря на большое разнообразие метафорических определений значений слов, в них наблюдается одно общее свойство: метафоры здесь всегда иронические, так как часто опорными в них выступают слова обозначающие очень далекие понятия, почти ничего не имеющие общего со значением и сферой употребления заглавного слова» (Там же, с. 84).

«Определение — операция логическая, лингвистическая и гносеологическая одновременно. И тем не менее оно чаще всего рассматривается с какой-либо одной, как правило, логической точки зрения, причем его лингвистический, методологический и гносеологический аспекты упускаются из виду. Конечная цель всякого определения — познание. Особенность определения является его роль как инструмента опосредованного, дискурсивного познания, осуществляющегося с помощью языка» (Попа, с. 176). Это сказано об определении как операции, процедуре. Напомню, что определением в логике называют еще и результат этой операции, т. е. дефиницию.

С логической точки зрения приведенные здесь художественные дефиниции ошибочны: они содержат слова, употребленные метафорически, не указывая необходимых и достаточных существенных признаков понятия, они совершенно не раскрывают содержания и объема определяемых понятий. Да, но каких понятий? Повседневных (обыденных) и научных. Однако предметом дефинирования здесь были не они, а художественные понятия. Целью операции, в итоге которой появились художественные дефиниции, было не просто познание, а художественное познание. Художественное дефинирование выступает как инструмент опосредованного, как бы стремящегося к дискурсивности (рассудочности) или имитирующего ее образно-интуитивного познания действительности с помощью языка.

Художественные дефиниции отливаются в формы, напоминающие логические. Вот примеры художественных дефиниций, структурно напоминающих так называемые классификационные дефиниции (т. е. определения через ближайший род и видовое отличие): Что такое мост? Приспособленье для простуд, Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного человека. Примером художественных определений, напоминающих так называемые остенсивные опре-

деления, могут служить дефиниции демократической республики (у Маяковского), весеннего разлива (у Л. Мартынова), счастья (у Н. Асеева) [7].

Те «необходимые и достаточные существенные признаки», которыми наполнены разные по структуре художественные дефиниции, — это образы и ассоциации, «всплывающие в светлое поле сознания» (выражение Л. Якубинского: Якубинский, с. 38) художественно мыслящего человека, когда он хочет лаконично выразить то, что он мысленно видит, сделать увиденное ясным читателю (а тем самым и самому себе) именно как увиденное, отвечая на вопрос «А что это такое?».

Для этого автора в данное время, в данной ситуации и для данной цели — это действительно необходимые и достаточные существенные признаки. И для читателя тоже.

Одни из художественных дефиниций более, так сказать, зрительны, более образны, адресованы больше глазу, чем мысли, другие менее зрительны и даже в какой-то мере умозрительны, более интеллектуальны. Одни воссоздают зрительный образ, наглядный, другие — тяготеющий к понятийности, классификационности. Сопоставим: «чайка — плавки бога» и «правда — бог свободного человека».

А что говорят логики об этих дефинициях? М. С. Строгович к числу «логических форм, сходных с определением», отнес «наглядное разъяснение предмета при помощи примеров и сравнений». «Таковы выражения: „дети — цветы жизни“, „природа — великий учитель человека“. В художественной литературе такого рода наглядные разъяснения встречаются очень часто. Наглядное разъяснение предмета при помощи примеров и сравнений имеет большое значение и в практике и в науке. Оно не определяет предмет, но может служить дополнением к определению, чтобы сделать его более выразительным, облегчить его уразумение» (Строгович, с. 117). Во-первых, не все художественные дефиниции можно, по-видимому, рассматривать как созданные с помощью сравнений (или содержащие в себе скрытые сравнения), например дефиницию моста (у Маяковского), дефиницию станционного смотрителя (у Пушкина) и ряд других. Во-вторых,

---

[7] «Под остенсивными определениями понимаются определения значений слов и словосочетаний путем непосредственного ознакомления. . . с предметами, действиями и ситуациями, обозначаемыми этими словами и словосочетаниями» (Горский, с. 84). В художественной речи такое ознакомление осуществляется не путем показа самих «предметов, действий и ситуаций», а посредством их «словесного портрета». Этот портрет может складываться из упоминания действия (действий) или состояния (состояний), присущего (присущих) данному «предмету, действию, ситуации», и/или упоминания каких-либо ассоциаций, связанных у автора с этим «предметом, действием, ситуацией». Таков ассоциативный словесный портрет, который создает напоминающее остенсивную дефиницию «Определение поэзии» у Б. Пастернака. Дефиниция стихов (у А. Ахматовой) диффузна по структуре — тут совмещены подобие классификационной дефиниции с подобием остенсивной.

в метафоре тоже скрыто сравнение, но от этого она не перестает быть метафорой. В-третьих, «примеры» — это и есть выраженный с помощью языка образ предмета в том аспекте, в том его ракурсе или в той его функции, которые актуальны для носителя образа.

Дело в том, что художественно мыслящий индивид так видел (или видит) предмет в данное время, в данной ситуации. И потому так определяет то художественное понятие, отражающее образ предмета, которое «всплыло в светлое поле» его сознания. В контексте его речи — это дефиниция. У нее художественный статус дефиниции.

Д. П. Горский верно отмечает: «. . . на уровне художественного, поэтического языка значение некоторого выражения (под выражением Д. П. Горский разумеет здесь языковой знак или сочетание языковых знаков, обозначающие какой-либо предмет в самом широком смысле этого слова. — *Э. Х.*) как некоего целого существенно отличается от значения этого выражения на уровне науки или даже повседневного языка. То, что на уровне поэтического, художественного языка является вполне допустимым, становится абсурдным при переводе его на язык науки. Спецификация (т. е. обнаружение, представление специфических признаков. — *Э. Х.*) описываемого объекта на уровне языка художественной литературы к тому же осуществляется не на основе его объективных существенных свойств, а на основе некоторого образа. . .» (Горский, с. 103—104). Как пример Д. П. Горский приводит значение слова *архитектура*, устанавливаемое определением: «Архитектура — это не что иное, как окаменевшая музыка».

Могут возразить: индивидуальный образ предмета субъективен и уникален, как можно обобщить в понятие образ, никому, кроме автора, не известный? Однако общепринятость или просто распространенность не есть признак обобщения. Мост, увиденный Маяковским как приспособленье для простуд, — это индивидуальное ви́дение. Но оно же обобщение: ведь Маяковский относит этот признак ко всем мостам. Другой поэт мог бы увидеть мост как рукопожатие берегов. И это опять-таки относилось бы ко всем мостам мира. С точки зрения поэта, это был бы необходимый и достаточный существенный признак, отличающий данный предмет от всех прочих. Здесь, как сказал бы Д. П. Горский, «спецификация объекта осуществлена на основе некоторого образа».

Отмечая отличия художественного мышления от других форм мышления, А. Н. Лук пишет: «Художественное мышление меньше боится пробелов в поступающей информации, ибо заполняет их воображением. Это мышление оперирует цельными образами и высшими ассоциациями, схватывая самые общие связи на вершине иерархической лестницы ассоциаций, а затем уже находит их выражение через конкретную деталь» (Лук, с. 109) [8].

[8] Другой исследователь замечает: «Абстрагирующая работа человеческой мысли в одинаковой степени обязательна как в научной, так и в художественной форме познания. Но в искусстве абстракция проявляется в особой, только ему свойственной форме — форме художественного обобщения» (Оганов, с. 19).

Художественное мышление, мышление в образах, воплощаясь в речи, не отменяет присущего слову в языке денотативного значения (предметной отнесенности), а лишь приписывает слову окказиональный сигнификат. Или, говоря в других терминах, значение слова остается тем же, а смысл новый (и окказиональный) [9]. Этот сигнификат, этот смысл не в языке (языку он неизвестен), а в речи.

Надо еще сказать о таком виде художественных дефиниций, которые выдаются за ответ на вопрос «Что это такое?», тогда как на самом деле отвечают на другой: «Почему это так называется?».

У многих слов сохранилось то, что А. Потебня, вслед за В. Гумбольдтом, называл «внутренней формой слова». Значение слова не сводится к его живой внутренней форме (ср. *писатель*, *подоконник*, *подснежник*). Поэтому понятие, в котором отражен предмет, названный данным знаком, богаче содержанием, чем понятие, заключенное в самом знаке, в знаковой стороне слова: первое отражает необходимые и достаточные существенные признаки, второе — какой-нибудь один признак и не обязательно существенный. Первое интернационально, второе — национально. Объем первого меньше объема второго. Вот почему определять первое через определение второго — значит нарушить одно из логических правил определения[10].

В логике и грамматике говорят о предикации. «Предикация есть некоторое сообщение» (Бибихин, с. 232). «Отчетливая предикация создается генетическим образом слова. . .» (Там же, с. 231), т. е. внутренней формой слова (*писатель* — «тот, кто пишет»). Эту предикацию В. В. Бибихин называет «внутренней предикацией», «предикацией внутри слова» (Там же, с. 231). Это свернутая предикация.

Живая внутренняя форма слова на памяти, на виду и на слуху у всех носителей языка. Ее не надо раскрывать определением. У слова *странник* живая внутренняя форма. В языковом сознании но-

---

[9] Возможность приписывать слову разные понятия (сигнификаты, концепты) покоится на разноаспектности самого объекта называния, на возможности неединственности отражения денотата в понятии. В. И. Ленин в конспекте «Науки логики» Гегеля записал: «Дефиниций может быть много, ибо много сторон предметов. . .» Этими словами он предварил цитату из Гегеля: «Чем богаче определяемый предмет, т. е. чем больше различных сторон представляет он для рассмотрения, тем более различными могут быть выставляемые на основе их определения» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 29, с. 216). «. . .один и тот же объект может выделяться посредством описания различных его характеристик. В таком случае мы имеем дело с экстенсионально (т. е. по объему. — *Э. Х.*) равными, но интенсионально (т. е. по содержанию. — *Э. Х.*) различными определениями» (Горский, с. 249, см. также с. 111—112, 252).

[10] У М. Строговича читаем: «. . .что такое *юридический*? Мы объясняем, что это слово происходит от латинского слова jus, juris, что означает 'право'. Это не определение понятия, а только объяснение слова. В некоторых учебниках логики такое объяснение слова называется словесным определением. Но это не определение предмета, так как оно не указывает его признаков, а лишь объяснение самого слова (точнее, его знаковой стороны. — *Э. Х.*)» (Строгович, с. 117).

сителей русского языка свернутая предикация этого слова такова: «тот, кто странствует». Костылев (в «На дне») предполагает иную: «странный человек, не похожий на других». Это неожиданно. Это работает на образ Луки: он странен Костылеву и всем обитателям ночлежки.

Итак, художественные дефиниции ненаучны и по способу своего возникновения и по разрешающей силе своего содержания (неадекватность отражения объективного мира). Они наскозь субъективны, личностны. Если не обозначить (не назвать, не написать) рядом с ними тот предмет, понятие о котором они раскрывают, то невозможна идентификация (разумеется, за исключением случаев, когда эти дефиниции уже стали широко известными, например, в песне В. Гусева из кинофильма «В шесть часов вечера после войны» *суровый бог войны* отождествляется не с Марсом, а с артиллерией). Они не претендуют ни на научность, ни на объективность. Они обслуживают ситуацию. И претендуют на то, чтобы в этой ситуации раскрыть содержание художественного понятия, которое способно схватить такие стороны, такие функции, такие ассоциативные связи отражаемого предмета, которые не под силу схватить ни обыденному, ни научному понятию. По поводу одного места из предисловия Ф. Энгельса к первому немецкому изданию работы К. Маркса «Нищета философии» В. В. Кешелава говорит: «Есть у Ф. Энгельса одно многозначительное замечание, из которого явствует, что отношение между научным суждением и суждением моральным не следует принимать за однолинейное, то есть за такое отношение, в котором одна его сторона (научная), взвешенная на всех весах истинности высшего ранга, выступает всегда со знаком плюс, а вторая, наоборот, со знаком минус. Если не впадать в сциентистский педантизм, то нет оснований не допускать такой возможности, при которой моральное суждение может оказаться, с точки зрения исторической правды, более высокой пробы, нежели научное при всех формально-логических достоинствах последнего» (Кешелава, с. 137).

Художественное понятие не только на страницах, где оно закреплено и раскрыто в художественной дефиниции, но и в общественном сознании может оказаться, «с точки зрения исторической правды», предпочтительнее, актуальнее научного, отражающего тот же предмет.

Своей образностью, ситуативностью, своей привязанностью к лицу, их создавшему, художественные понятия и художественные дефиниции напоминают окказиональные слова (которые иногда называют еще эгологизмами, но чаще и неточно неологизмами или авторскими неологизмами и которым некоторые лингвисты отказывают в статусе слова единственно на том основании, что эгологизмы не вошли в язык и употребляются в речи не иначе, как цитатно).

Художественное понятие, раскрытое в художественной дефиниции, остраняет предмет, т. е. знакомый предмет предстает как незнакомый, впервые увиденный или как недостаточно знакомый, увиден-

ный с неизвестной стороны. Как уже говорилось, дефиницией устанавливается (выявляется) значение слова. Художественной дефиницией устанавливается художественное значение слова. Оно в этом случае всегда окказионально, т. е. у данного слова нет в данном языке такого значения, оно присутствует только в этом тексте, у этого автора [11]. В отличие от окказиональных значений, которые могут получить широкое признание и войти в язык (все новые значения были некогда окказиональными, индивидуально-метафорическими), окказиональные значения, устанавливаемые художественными дефинициями, не входят в язык в качестве значений слов. В язык могут войти сами художественные дефиниции на правах устойчивых выражений как разновидность крылатых слов, пополняя его афористику.

Раскрытие содержания художественного понятия посредством явной дефиниции [12] — художественный прием. И как таковой он вид другого художественного приема — остранения [13].

По Б. Брехту, эффект остранения «состоит в том, что вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами, превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой разумеющееся в известной мере становится непонятным, но это делается лишь для того, чтобы оно стало более понятным» [14].

Привычная вещь — человеческие слезы превращаются у чеховского персонажа в неожиданную и малопонятную «малодушную психиатрию». И если от этого сами слезы не стали более понятными, более понятным стал персонаж.

---

[11] Различение узуальных и окказиональных значений слов восходит к немецкому лингвисту Г. Паулю (см. перевод его книги «Принципы истории языка». М., 1960).

[12] Дефиниции разделяются на явные (эксплицитные) и неявные (имплицитные), последние раскрывают содержание понятий контекстуально, с помощью всего смысла контекста, а не специально построенного предложения, в котором перечислены необходимые и достаточные существенные признаки предмета, «схваченные» понятием.

[13] «Термин „остранение“ был введен В. Шкловским в 1914 г. Этим термином он обозначил задачу литературного произведения вывести читателя „из автоматизма восприятия“, заставить его как бы заново увидеть предмет; сделать привычное необычным, странным. По типографскому недосмотру слово было набрано с одним *н*, затем ошибка стала традицией. Всестороннюю разработку проблема остранения получила у Брехта, который придал ей общеэстетический смысл и связал с социально-преобразующей функцией искусства» (Гулыга, с. 34).

[14] «Остранение не является. . . исключительной прерогативой искусства. . . Остранение оказывается присущим не только искусству, но и науке, вообще любому акту творческого познания и осмысления действительности» (Тульчинский, с. 245). «. . .Неожиданное сопоставление, умение увидеть вещи и явления в новом свете характерны не только для искусства. Все привычные для нас выражения метафорического происхождения когда-то являлись новыми и непривычными, хотя создавались они не только в области искусства, Фактически здесь идет речь об общих принципах творческого мышления» (Андреев, с. 121).

Художественная дефиниция выступает и как характерологическое средство (элемент речевой самохарактеристики персонажа), и как средство юмора, иронии, сарказма, патетики, и как средство образного пояснения, прояснения предмета. Она может выполнять сразу все три эти свои инструментальные функции, а может выполнять две из них. В последнем случае всегда одной из двух присутствующих будет функция средства образного и остраненного пояснения предмета.

ЛИТЕРАТУРА

Андреев А. Л. Место искусства в познании мира. М., 1981.
Асеев Н. Собрание сочинений, т. 4. М., 1964.
Ахматова А. Бег времени. М.; Л., 1965.
Бибихин В. В. К онтологическому статусу языкового значения. — В кн.: Традиции в истории культуры. М., 1978.
Брехт Б. Собрание сочинений, т. 5/2. М., 1965.
Вознесенский А. Антимиры. М., 1964.
Вознесенский А. Взгляд. М., 1972.
Вознесенский А. Тень звука. М., 1970.
Войшвилло Е. К. Понятие. М., 1967.
Гейне Г. Собр. соч. , т. 6. М., 1958.
Глушаков Евгений. Шестилетний Саша — «расширитель проблем». — Лит. газета, 1 окт. 1980.
Горский Д. П. Определение. М., 1974.
Горький М. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1970.
Гулыга А. В. Искусство в век науки. М., 1978.
Канделаки Т. Л. Значения терминов и система значений научно-технических терминологий. — В кн.: Проблемы языка науки и техники. М., 1970.
Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965.
Кешелава В. В. Соотношение теоретико-познавательного и этико-аксиологического аспектов в марксистской философии. — Вопросы философии, 1979, № 7.
Кузнецов Б. Г. Современная наука и философия. М., 1981.
Лук А. Н. Психология творчества. М., 1978.
Мартынов Л. Первородство. М., 1968.
Маяковский В. В. Полн. собр. соч. М., 1954—1961.
Оганов А. Логика художественного отражения. М., 1972.
Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М., 1961.
Попа К. Теория определения. М., 1976.
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. I—II. М., 1958.
Привалова М. И. Приемы комического истолкования значения слов в сатирических миниатюрах XIX в. — В кн.: Современная русская лексикография. 1980. М., 1981.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в одном томе. М., 1949.
Скуратовский В. Гори ж, сияй, заря святая! — Лит. газета, 12 сент. 1979.
Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975.
Строгович М. С. Логика. М., 1949.
Тульчинский Г. А. К упорядочению междисциплинарной терминологии. — В кн.: Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
Чехов А. П. Полн. собр. соч., т. 12—13. М., 1978.
Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. — В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Якубинский Л. О звуках стихотворного языка. — В кн.: Поэтика. Сборник по теории поэтического языка, в. 3. Пг., 1919.

В. В. КРАСНЯНСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ШТАМП В ЛИРИКЕ С. НАДСОНА

В истории русской поэзии С. Надсон, выразитель настроений 80-х годов прошлого века, в истории русской поэтической речи дал талантливые образцы «среднепоэтического» языка (Гинзбург, с. 246) второй половины XIX в. По отношению к символистам, у которых словарь «в принципе (обычно все же не на практике) уже ничем не ограничен» (Гинзбург, с. 247), С. Надсон — антипод, во всяком случае они никогда не включали его в число своих предшественников. Его словарь беднее не только словаря символистов, но и словаря романтической поэзии первой трети XIX в. Не случайны иронические или даже резко отрицательные отзывы о поэтической форме его лирики. В. Я. Брюсов называл его «младенцем в области стихотворной техники», не знавшим ее «азбуки» (Брюсов, с. 108).

Поэзия С. Надсона — это своеобразный феномен. Устойчивый читательский интерес поддерживался на протяжении всей дореволюционной эпохи. Сборник «Стихотворения», изданный впервые в 1885 г., уже в 1906 г. выходил 22-м изданием. «Человека читают как никого, может быть, чуть не каждый год новое издание требуется. . .» — говорил А. П. Чехов незадолго перед смертью (Чехов в восп., с. 639).

Характерно отношение А. П. Чехова к поэзии С. Надсона. По его мнению, он «был лучшим современным поэтом» (Чехов, 2, с. 26), т. е. лучшим поэтом 80-х годов, и оценка в другой плоскости: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? . . Мило, талантливо, Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить» (Чехов, 5, с. 133). В суждениях А. П. Чехова о языке художественной литературы рассыпаны отрицательные оценки отдельных слов, таких, как «мармеладное» слово *идеал*, разговорно-оценочных *пошлый* и *пошлость*, различных «красивых» слов типа *аккорд*, *лабиринт* и т. п. (Русские писатели о языке).

Но ведь все это любимые слова С. Надсона! Например, «мармеладное» слово *идеал* впервые употребляется им в одноименном стихотворении, где, кроме заглавия, встречается еще дважды: За этот *призрак идеалов* / Немало сгибнуло борцов; И *к идеалу человека* / Пойдут уверенной стопой [1]. И далее постоянно на протяжении всего творчества: Звучал нам *голос идеала*; И с неба на землю сойдет *идеал*; Пусть разбит и поруган *святой идеал*; Если в сердце твоем оскорблен *идеал*; Чтоб к *идеалу человека* / Вести страдающих людей; *Боль за идеал* и слезы о свободе; увлекала / Гордая мысль *к красоте идеала*; *В заветный идеал* поблекло упованье; Нет, я больше

[1] Все стихотворные тексты С. Надсона цитируются по указ. сб. Подсчеты количества словоупотреблений проводились на основе всех текстов указ. сб.

не верую *в ваш идеал*; Я дерзко рвался ввысь, где светит *идеал*; Воплощен *заветный идеал*; И отблеск райских зорь — тот *отблеск идеала* и др.

В поэтических контекстах С. Надсона *идеал* означает некую возвышенную цель, связанную с духовным устремлением, приподнимающим над действительностью. Это привычное употребление слова в литературном языке XIX—начала XX в. В связи с этим, например, в заглавии статьи С. А. Венгерова «Русская литература . . . как источник идеализма» *идеализм* следует понимать как совокупность идеалов с положительной оценочностью в семантике. А. П. Чехова не устраивала не только стандартность, стертость и декларативность такого употребления, но и то, что изъятое из привычных философско-нублицистических контекстов, слово *идеал* в художественной речи было стилистически чужеродным и еще более «размытым» по семантике.

В современных оценках С. Я. Надсона сложился стереотип: он определяется как талантливый выразитель настроений своего времени, обычны похвалы его «искренности» (Русские писатели, с. 457), но поэтическая форма его лирики, образный строй, язык оцениваются всегда отрицательно. Стихотворения С. Надсона представляются своеобразным вместилищем разнообразных поэтических штампов лирики XIX в. Но уже то, что его «читали как никого», во всяком случае больше, чем любого из новых поэтов начала XX в. (т. е. языковое новаторство символистов, футуристов и других воспринималось на фоне традиционной поэтической речи С. Надсона), заставляет внимательнее отнестись к словесным стандартам его лирики.

Нередко поэтические штампы С. Надсона трактуются приблизительно и выбираются случайно: «. . . идеал и царство Ваала, свет и мрак, любовь и вражда, лавр и терн, меч и крест, сомнение и вера, раб и пророк — таковы аллегорические абстракции-антитезы, к которым сводит Надсон все многообразие житейских коллизий и психологических драм своего времени» (Бялый, с. 34). Действительно, лирическое произведение Надсона строится на резко очерченных антитезах, но далеко не всегда это аллегории. Употребление слова *идеал*, как это видно из приведенных контекстов, не содержит в себе никакой аллегоричности. Аллегория в целом не свойственна С. Надсону, стертые метафорические образы похожи на аллегории тем, что представляют обыкновенно стилистически отрицательный материал в лирике.

Выбор слов, представляющих антитезы, во многом случаен. *Пророк* — частотное слово, но противопоставление не *пророк-раб*, а *пророк — толпа*. *Идеал* и *царство Ваала* — действительно антитеза, но *Ваал* имеет лишь 3 употребления в лирике С. Надсона, из них только одно в данном сочетании, и самое существенное: последнее употребление слова падает на 1880 г. (*Верь: настанет пора — и погибнет Ваал*), — и только известность стихотворения, в котором

встречается в последний раз *Ваал* («Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат. . .»), извиняет неточность. Некоторые стихотворения С. Надсона оказывают коварную услугу в представлении о его поэтическом языке.

Единство тем, мотивов, образов лирики поэта заставляет думать о единстве поэтической фразеологии. Между тем ряд словесных штампов стихотворной речи встречается только на первых порах творчества. Кроме *Ваала*, можно упомянуть еще *лиру* как символ поэзии. В ранних стихах наблюдается несколько употреблений: И *лиру честную*. . .; И в дивных звуках *честной лиры*; Владеет *лирою* моей; Нет, *лира истины*, свободы и отмщенья; *в позабытой лире*; *лирою своей* / Вторить старинному напеву. Последний случай использования слова отмечается в 1882 г., и в стихах 1883—1886 гг. нет ни одной *лиры*. Следовательно, С. Надсон менялся, хотя и на протяжении небольшого отрезка времени.

Традиционные символы и метафорические перифразы стоят в одном ряду с заимствованиями тем, образов, ритма, интонационного рисунка стиха. Заимствования носят естественный характер, поскольку в большей части мы имеем дело с «ученическим» периодом в творчестве поэта, и не-ученическое, зрелое не имеет значительных отличий от детских, подражательных стихов. Тематика, мотивы, позиция лирического героя, традиционная поэтическая фразеология и традиционные формы стиха — все это было неизменным на протяжении творческого пути С. Надсона, и для восприятия современного читателя его поэзия представляет собой некое монотонное стилистическое единство.

Обыкновенно заимствуется интонационно-ритмический рисунок стиха, некоторые элементы фразеологии и поза лирического героя: *Под звуки музыки, струившейся волною, / Один среди толпы, пестреющей кругом, я вдруг задумался. . .* (ср. лермонтовское: *Как часто пестрою толпою окружен*); *Рыдать? — Но в сердце нет рыданий. Молиться? — Для кого, кому?* (ср.: *Любить — но кого же? — на время не стоит труда* и т. д.). Особенно ясен первоисточник в тех случаях, когда у С. Надсона полностью сохраняются метр и интонация стиха и повторяются «ударные» начала строк: *Я жить хочу, — хочу волнений, / Кипучих дум, мятежных гроз, / Хочу безумных наслаждений, / Борьбы и тернов, мук и роз* (ср.: *Я жить хочу, хочу печали / Любви и счастию назло. . .*); *Прощай, туманная столица! / Надолго, может быть, прощай!* (ср.: *Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ. . .*; одновременно напоминается и перевод байроновских строк: *Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай*). Некоторые известные поэтические строки, главным образом лермонтовские, эксплуатируются не раз, за такими стихами, как *Толпы поспешный приговор, Врагов суровый приговор*, стоит лермонтовское *Судьбы свершился приговор*.

Заимствование каких-либо известных стихотворных строк может носить сложный характер, восходить одновременно к разным источ-

никам. Например, не вызывает сомнения, что начальные три строки стихотворения С. Надсона перекликаются одновременно с двумя произведениями: *Какая-то печаль мне душу омрачает, / Когда, кончая день, и шумный и пустой, / Я возвращаюсь вновь в мой угол трудовой.* Первая строка дает явное заимствование из «Деревни» А. С. Пушкина: *Но мысль ужасная здесь душу омрачает.* Здесь полное совпадение конца строки, а также метра и синтаксической структуры стиха. Но «Деревня» разностопна, вторая часть стихотворения выражает совсем не те настроения, что представлены у С. Надсона. По интонационно-ритмическому рисунку и лирическому настроению более явственная перекличка с «Думой» М. Ю. Лермонтова: *Печально я гляжу на наше поколенье! / Его грядущее — иль пусто иль темно, Меж тем под бременем познанья и сомненья* и т. д. У С. Надсона повторяется не только шестистопный ямб, но и положение пиррихиев в строке, есть лексические переклички (*печально — печаль, пусто — пустой*), совпадает по интонационно-синтаксическим качествам конец второй строки (*иль пусто иль темно — и шумный и пустой*). Такое «двойное» заимствование, конечно, связано с отсутствием самостоятельной концепции формы, поэтики стиха и не могло носить сознательный характер, т. е. «чужие» элементы поэтической речи не «присваивались», не использовались в целях намеренной стилизации или для того, чтобы вступить в спор с предшественником, развивая его тему.

Чаще же всего не лексико-фразеологические переклички с поэзией предшественников создают представление о вторичности поэтической речи С. Надсона, а ритмико-синтаксический строй стиха. За строками: *Я заглушил мои мученья, / Разбил надежд безумный рой / И вырвал с мукой сожаленья / Твой образ из груди больной* — стоит начало пушкинской лирической миниатюры: *Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; / Остались мне одни страданья, / Плоды сердечной пустоты.* Для С. Надсона характерна перелицовка именно в начале стихотворения каких-либо достаточно известных строк русской лирической классики.

Обилие традиционных оборотов речи и заимствованных образов, сочетаний слов создает впечатление стандартности поэтического языка. Метр и звуковая структура рифмы, взятые из стихотворной техники первой половины XIX в., а также среднепоэтические словесные блоки, восходящие опять-таки к поэзии первой половины века, говорят о вторичности многих отрезков лирических текстов. Например: *Он вспомнил прежние мечтанья, / Судьбой разбитые мечты. Его влекло его призванье / К сиянью вечной красоты.* Четырехстопный ямб в его «надоевшем» интонационно-ритмическом варианте оснащен стертой поэтической фразеологией: *прежние мечтанья, разбитые мечты, вечной красоты.* Или: *А мерный звук моих речей, Дрожанье зыбкого стекла, И плач метели за окном, Стенящий в сумраке ночном.* Тот же четырехстопный ямб с мужскими рифмами, что и в «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, и та же фразеология пер-

вой половины века: *мерный звук*, *плач метели*, *стенящий в сумраке ночном*.

Итак, ориентация на традиционные формы стиха и традиционный поэтический язык порождала словесные штампы. Поскольку С. Надсон в области поэтического языка ничего не изобретал, он оказывался неизбежно беднее своих предшественников: его словесные штампы лишь осколок богатого и разнообразного по составу стихотворного языка первой половины XIX в. Само по себе использование стертых образных средств не является чем-то предосудительным, антихудожественным. Очевидно, отбор традиционных элементов стихотворной речи может давать различные впечатления о степени «штампованности» речи. Но безусловно и то, что С. Надсон дает образцы не только среднепоэтического языка, — как и всякий талантливый поэт, он узнавался по индивидуальным приметам речи.

Наряду с очевидными цитатами, которые не осознавались поэтом как цитаты и вызывались подражательным характером творчества в целом, в текстах С. Надсона отмечается сознательное использование заимствуемого образа в качестве сигнала, влекущего за собой смыслы, заложенные в стихотворении-первоисточнике. Образ обычно извлекается из популярных строк известного стихотворения (чаще всего М. Лермонтова или Н. Некрасова). В известных некрасовских строках *Душно! без счастья и воли / Ночь бесконечно длинна. / Буря бы грянула, что ли? / Чаша с краями полна!* образ ночи используется как символ социальной «беспросветности», а *душно* связано с выражением чувства неудовлетворенности социально-политическим устройством (Григорьева, Иванова, с. 226—227).

У С. Надсона лейтмотивным оказывается образ *душной ночи*: И часто их прибой под хмурыми скалами / Мне *в ночи душные* забыться не давал; *Душна была ночь*, так душна, что порою / Во мгле становилось дышать тяжело; *мучительно душна*, / Она идет, идет, овладевая мною, / *Ночь* злобы и тоски; Сегодня *ночь была душна*; Так *душны покровы ночной темноты*; И *ночь* вокруг меня томительно *душна*. Темы болезни, бессонницы лирического героя постоянно соединяются с выражением социальных чувств, лейтмотив развертывается в других сочетаниях прилагательного с определяемыми словами: *душная полночь*, *темнота*, *мгла*, *мрак*, *тюрьма*, *храм*, *столица*, *жизнь*, *мир*.

Таков же характер использования образа *пестрой толпы*, взятого из лермонтовской строки «Как часто пестрою толпою окружен»: *пестреющий толпою*, / Высокий, мраморный, залитый светом зал; *Не в пестрой толпе*, не при громе речей. . . / Поймем мы всю горечь утраты своей; *И пестрота толпы*, и яркий блеск огней. Мотив развит в многообразных сочетаниях слова *толпа* с определениями: *толпа пошлая*, *суетная*, *суетливая*, *бездушная*, *пресыщенная*, *жалкая* и т. д. Пестрота толпы для большей части контекстов оказывается необязательным признаком, но важна отсылка к лирике Лермонтова, сигнализация коллизии, настроения лермонтовского стихотворения.

Таким образом, для С. Надсона был характерен прием сигнально-цитатного использования образа, вызывающего ассоциации, связанные с контекстом первоисточника. Такой прием получил распространение в поэзии начала XX в.; для С. Надсона показательно лейтмотивное использование сигнального образа.

Традиционно-поэтическая лексика используется с большими ограничениями. Старославянизмы с неполногласием, выполнявшие функции поэтической лексики, редки и случайны. Только в ранних стихах дважды отмечается *златой*: *заря златая*, *златой венец*. Всего лишь однажды как отголосок «поэтической вольности», ради попадания слова в метрическую сетку стиха: *розы младого венца*. Этим неполногласие исчерпывается. Многие поэтизмы встречаются случайно, по одному-два раза (*лилейная рука*, *нежный цвет ланит*, *скользит по ланитам слеза*), многие вообще не употребляются (типа *перси*, *вериги* и т. п.).

В качестве постоянных элементов текста используются *очи*, *уста*, *чело*, *нега*, *грезы*, *лобзать (лобзание)*. Выбор характерен для С. Надсона. Обычно эти слова сопровождаются приподнято-поэтическим контекстом. Например, *очи* употребляются или в связи с метафорой огня: *горели очи*, *вспыхнет на очах*, *горят возлюбленные очи*, *потухшими очами*, *очи наслаждением горят*, *мысль в очах горящую*; или в связи с изображением блеска, сияния в глазах: *ослепляя блеском очей*, *в лучах твоих очей*, *сияющие очи*, *слезы сверкают в очах*, *слез*, *сияющих в очах*; или же в связи с разнообразными приподнято-поэтическими характеристиками: *в лазури очей*, *взор загадочных очей*, *глубина ее синих очей*, *звезды-очи*, *зловещее в этих очах*, *чудно нежен взор ее очей*, *прекрасным очам* и т. п. Такой же сопроводительный контекст и при употреблении лексемы *уста*: *уста окованы молчаньем*, *в уста лобзает*, *очерк уст*, *по очертанью уст*, *не разомкнув уста*, *сколько уст клевещет* и т. п. Обычны при этом эпитеты оценочно-торжественного характера: *уста суровые*, *братские*, *вражеские*, *нечистые*, *гнойные*, *трепетные*, *медвяные* и т. д. Еще более сужен круг словесных связей у *лобзать (лобзание)*: *не оскверняй его лобзаньем*, *греховные лобзанья*, *жаждой лобзаний*, *огнем лобзаний*, *восторженно лобзает*, *млели лобзанья*, *блаженны лобзанья краски*.

Употребление поэтизмов у С. Надсона сковано традициями поэтического языка, за многими случаями стоят контексты предшествующей лирики XIX в. Особенно ощутимо это в употреблении слова *чело*: *с думой на челе*, *чело спасителя язвит*, *и на челе венец терновый*, *с венком на челе*, *чело изрезали морщины*, *с челом пылающим*, *мрамор чела*, *на царственном челе*, *терн обвился вкруг чела*, *гордый лавр гордого чела*, *с безжизненным челом*.

Сужение словесных связей поэтизма объясняется тем, что он берется С. Надсоном как носитель экспрессии, как необходимый украшательный (поэтичный) элемент в стихотворном тексте (характерно, например, такое соединение — *чарами неги и грез*). Следствием та-

кого несвободного обращения с поэтизмом оказывается, с одной стороны, устойчивое и постоянное употребление его в каком-либо одном значении, с другой (при попытке выйти из круга привычных словесных связей), — размывание семантики слова.

Нега постоянно используется в значении 'безмятежный покой, блаженство' в однотипных контекстах: И *в вечерней неге* мирно нивы спят; Только ты не знаешь *неги* и покоя; *В весенней неге* мирно спят; *Спокойной негой* дышит сад; *в сладкой неге* сад заснет. Контексты нередко сближаются с какими-либо известными строками, и можно подозревать перелицовку пушкинского «Объято негою спокойной» в случаях: *объята негою и снами*, *истомой и негой объято*.

Представление о системе значений слова у С. Надсона уже частично утрачено. Так, у А. С. Пушкина (по данным Словаря языка Пушкина) преобладает употребление без зависимого генитива, как в форме единственного числа, так и множественного: В ее объятиях *я негу пил* душой; Так чуждо мертвых *наших нег*. С генитивом редко: И *негу чувств* и сердца трепетанье. У С. Надсона *нега* обычно употребляется с зависимым генитивом, что свидетельствует о некоторой семантической опустошенности слова: *нега объятья*, *нега полуденных лучей*, *нега сладострастья*, *нега весны*, *нега лета*, *нега любви*, *нега желаний*, *нега лобзаний*. Слово используется в большей мере ради экспрессии поэтизма, нежели ради той семантики, которую содержит в себе. Использование поэтизма без зависимого генитива дает подчас рискованные обороты речи: *Негой вспыхнет взгляд — мгновенность* (вспыхнет) *и томленье* взаимно противоречат друг другу, и такое соединение слов было бы невозможным, если бы сохранялось ясное представление об объеме значения слова.

Словоупотребление у С. Надсона скковано традиционными поэтическими контекстами, и как только слово выходит из привычного словесного окружения, возникают различные неловкие обороты речи: *буря гневным челом уперлась в небеса*; *дрогнет сад*, *наклоняясь челом до земли*. Но в некоторых случаях неожиданные соединения слов дают свежие образные представления: *суетные очи*. Если говорить об этих случаях, то С. Надсон — не только завершитель традиций, но и предшественник поэзии начала XX в.

Грезы — самый частотный поэтизм в лирике С. Надсона (80 употреблений в текстах указ. сб.). Встречается почти исключительно в форме множественного числа, всего лишь 3 раза находим форму единственного числа: *сиянье / Лампады довершает грезу*; *тихой грезою*; *она идет как греза*. Показательно, что во всех текстах Пушкина отмечается лишь 15 употреблений этого слова. Активизация в использовании поэтизма падает на вторую половину XIX в., нередко встречается у поэтов начала XX в. (И. Северянин, К. Бальмонт).

У С. Надсона это излюбленное слово, два стихотворения разных лет называются «Грезы», оба носят программный характер, это размышления о назначении поэзии. Частотность слова у С. Надсона связана с тем, что *грезы* в его лирике — не только мечты, продукт

воображения, сны, но и символ поэтического ви́дения мира. Есть и другая, «техническая», причина частотности слова — инерционный характер рифмовки стиха. Часто *грезы* выступают в паре с *слезы* в концах стихотворных строк: *Иная жизнь, иные грезы — Ни ласки жаркие, ни слезы*; *тихо льются слезы — и мольба и грезы*; *разбившиеся грезы — и, плача, эти слезы*; *былые грезы — святые слезы*; *тревожат тягостные грезы — как жемчуг, тихо льются слезы* и т. п. Из двух слов, дающих рифму, более вынужденным, менее свободным в употреблении является *грезы*. Об этом говорит то, что *грезы* чаще всего встречаются в двух формах (форме им. п. мн. ч. и форме род. п. мн. ч.), и то, что обычно положение слова в рифме (*грезы — слезы, грез — слез*), в то время как употребление *слезы* значительно разнообразнее и по набору форм, и по положению в стихотворной строке.

Постоянно использует С. Надсон традиционные образы-символы и метафорические перифразы. В этой области он не оригинален, повторяет стандарты поэтической речи, но сам выбор из состава богатой поэтической фразеологии русского стихотворного языка показателен.

Традиционно метафорическое и символическое употребление слов *цепи, оковы*. Из всего многообразия в использовании этих словобразов у С. Надсона сохраняется лишь одно символическое значение — *цепи, оковы* как символ социального гнета: *цепей тяжелых бремя* / Мы с мысли скованной сорвем; *мысль в оковах* дремлет; *тяжкая цепь* беспощадно гнетет; томясь *в цепях* . . . несчастная Россия; мир . . . *в цепях* метался и стонал и др. Другие использования данного образа не встречаются, например, *цепи бытия, оковы любви, брака*.

С. Надсон воспринял метафорический образ *рой чего-л.* (см. пушкинское: *Там вывел колкий Шаховской / Своих комедий шумный рой*) и использовал его в самом традиционном виде. Это трехсловное сочетание, в котором при стержневом слове-образе *рой* обязательно зависимый генитив и эпитет, либо к стержневому слову, либо к зависимому генитиву: *надежд разбитых рой, рой безжалостных дум, благородный рой желаний, отрадных звуков рой, рой земных желаний, песен резвый рой, надежд безумный рой, рой отрадный упований, рой вдохновенных грез, каких-то звуков рой, рой несбыточных мечтаний, надежд невозвратимый рой.*

Метафорические сочетания, обозначающие чувства, состояния, с стержневым словом *яд*, характерные для поэзии первой половины XIX в., широко используются С. Надсоном: *яд безжалостных сомнений, яд жгучего сомнения, яд сомнений и борьбы, яд страданий, яд безмолвного страданья, яд тайных дум, горький яд сознанья, жгучий яд стыда, яд затаенных слез, моей печали яд, яд тоски тяжелой и глубокой*. То же с стержневым словом *отрава*: *отрава слез мятежных, отрава жгучих дум, отрава сомненья*. Для С. Надсона в употреблении этих перифраз характерно семантическое «согласование»,

у него нет диалектичных, оксюморонных, излюбленных Пушкиным, типа *яд любви*, *яд наслаждений*.

Самой же частотной метафорой оказывается метафора огня, которая используется для изображения чувств, состояний, душевных движений. С опорным словом *огонь*: *огонь глубокой муки*, *огонь затаенных сомнений*, *огонь негодованья*, *зависти тайный огонь*, *огонь любви*, *огонь карающих речей*, *огонь страданий*, *огонь лобзаний*, *огонь презренья*, *огонь вдохновенного взора*, *огонь улыбок* и т. д. Метафоры огня с опорным глагольным словом: *жгли ее уста*, *зажгу в душе свет*, *песня его томила и жгла*; *горят возлюбленные очи*, *жжет тебя огнем святое слово*, *улыбка горит на лице*, *жжет тебя вопрос*, *восторг сжигает мне чело*, *веры свет в груди пылал* и т. д. Излюбленная метафора огня отразилась и в частом употреблении эпитета *жгучий*, который соединяется обыкновенно со словами, обозначающими чувства, состояния: *сомнения*, *слезы*, *тоска*, *горе*, *боль*, *страх*, *мука*, *страданья*, *стон*, *думы*, *печаль*, *наслаждения* и др. Характерно плеонастичное употребление эпитета в поэтических фразеологизмах с опорным словом-образом *яд*: *яд жгучих сомнений*, *жгучий яд страданья*, *жгучий яд стыда*.

Метафора С. Надсона далеко не всегда удовлетворяет чувству «соразмерности и сообразности». *Улыбка горит на лице* — слишком смелое выражение в рамках традиционного поэтического языка. *Огонь глухих своих страданий* — оборот внутренне противоречивый, при этом противоречивость никак не мотивируется в контексте. С. Надсон, целенаправленно используя одни и те же стандарты поэтической речи, нередко нарушает нормы традиционного употребления, при этом не обусловливая нарушения каким-либо особым отношением к поэтическому языку, как это стало обычным у поэтов начала XX в.

Тяготение к «красивым» иноязычным словам типа *аккорд* и *лабиринт* С. Надсон разделяет со многими поэтами XIX в. Эта «поэтичная» лексика используется и его современниками, например, К. Фофановым: *аккорды суеты*, *под флером покрывала*, *вечность навсегда для нас закрыла флером* и др. (Фофанов. Стихотворения. . .). Употребление этих слов всегда связано с поэтической метафорой. У С. Надсона чаще всех встречаются *аккорд*, *флер*, *диссонанс*: *прозвучал аккорд*, *аккорд голосов*, *аккорд задрожит*, *аккорд еще рыдает*, *аккорд речей*, *диссонанс мучений*, *диссонансы тяжкой муки*, *за флером туманным*, *за облаком флера*, *как флером окутав*. Использование других слов (*диадема*, *фимиам*, *абрис*, *ореол*, *лабиринт*; и нек. др.) ограничено единичными контекстами.

Традиционно и использование метафорического эпитета в тех отрезках лирических текстов, где выражаются какие-либо «светлые» чувства, чаще всего посредством пейзажа. По характеру употребления эпитет осуществляет ту же идею «поэтичности» слова, что и иноязычная лексика названной разновидности: *алмазные звезды*, *алмазная струя* (фонтана), *жемчужная пена*, *жемчужные*

пески океана, *нити* (слез), *зеркальная река*, *гладь*, *зеркальные озера*, *золотистые лучи*, *золотая заря*, *зорька*, *луна*, *весна*, *юность*, *золотой день*, *месяц*, *свет*, *огонек*, *золотые звезды*, *струйки*, *мечты*, *серебристая пена*, *струя*, *луна*, *песня*; и т. д. Необычных, неожиданных для читателя сочетаний в употреблении эпитета не наблюдается.

С. Надсон широко использует традиционные средства риторического синтаксиса, которые способствуют созданию эмоционального тона стихотворения, обыкновенно насыщенного рассуждениями, тезисами и антитезисами и, в целом, отмеченного логической упорядоченностью. Показательны при этом начальные строки, задающие риторически-приподнятый тон всему стихотворению и оживляющие его условной диалогичностью.

Среди таких средств нужно отметить начальные слова-предложения *да* и *нет*: *Нет, не ищи ее в дыхании цветов*; *Нет, легче мне думать, что ты умерла*; *Нет, я больше не верую в ваш идеал*; *Нет, муза, не зови. . . Не увлекай мечтами*; *Да, это было все. . . Из сумрака годов*; *Да, только здесь, среди столичного смятенья* и т. п. Ср. лермонтовские начала: *Нет! — я не требую вниманья*; *Нет, я не Байрон, я другой*; *Нет, не тебя так пылко я люблю*; и др.

Отрицание в начальной строке — более сильный способ создания условной диалогичности, нежели утверждение. Отрицание представлено в самых различных видах, наиболее характерно отрицание при форме повелительного наклонения глагола: *Не упрекай меня* за горечь этих песен; *Не говори*, что жизнь — игрушка; *Не презирай* толпы: пускай она порою; *Не вини меня*, друг мой, — я сын наших дней; *Не гони ее*, тихую грусть, когда; *Не сравнивай* с грозой души моей страданье; *Не налагай* оков на вдохновенье; *Не упрекай* себя за то, что ты порою; *Не говорите мне* «он умер». Он живет.

Здесь мы имеем дело с традиционным лирическим зачином русской поэзии, который носит отчетливый медитативно-риторический характер. В этом качестве С. Надсон сближается опять-таки с М. Ю. Лермонтовым: *Не думай, чтоб я был достоин сожаленья*; *Не смейся, друг, над жертвою страстей*; *Не смейся над моей пророческой тоскою*; *Не верь, не верь себе, мечтатель молодой*; *Не плачь, не плачь, мое дитя*; и др.

Показателен и такой композиционно-синтаксический прием, как период с *когда*. Такой период или составляет большую часть лирической миниатюры, или же задает стилистику стихотворения, которое строится на обыгрывании периодической речи, «подхватывании» течения поэтической речи, или же представляет собой контраст по отношению к последующей части текста. В использовании этого приема С. Надсон следует М. Лермонтову. Их объединяет то, что период с *когда* представлен в их лирике только в ямбическом стихе. Но С. Надсон несравненно беднее и монотоннее своего предшественника.

В использовании традиционных для стихотворной речи композиционно-синтаксических приемов наблюдается та же закономерность, что и в употреблении традиционно-поэтической лексики: сохраня-

ются лишь осколки некогда богатой системы, они становятся как бы сигналами поэтичности речи, утрачиваются их разнообразные выразительные возможности.

В пласте слов, выражающих главный мотив лирики С. Надсона — мотив страдания, наиболее ясно стремление выйти из круга стандартных лексических сочетаний. Иногда для этой цели используются слова типа *диссонанс*: *диссонансы тяжкой муки, лабиринт скорбей, аккорд еще рыдает*. Чаще же всего обновление поэтического штампа происходит путем его смещенного употребления. Обычные *венец лавровый, венец терновый* не раз встречаются у С. Надсона, но есть и *венец печали и сомненья*. В сочетании *рой дум, страданья и сомненья* объединяются разнопорядковые явления, разрушается привычное образное представление. То же наблюдается при использовании излюбленной метафоры огня: *страдание горит в чертах его лица, вспыхнувшим страданьем, зажгу печалью страстной, печаль не жгла, вспыхнет слеза святая, одинокие слезы горят*. Тихая печаль может «жечь», страдание приобрести признак мгновенности и т. д.

Самое примечательное в поэтической речи символистов заключено в новых контекстах для старых образных средств, и в этом смысле С. Надсон — предтеча поэзии начала XX в., несмотря на обилие в его лирике поэтических штампов. *Одинокие слезы горят* — оборот в принципе ничем не отличается по характеру употребления от известной блоковской метафоры *И очи синие, бездонные / Цветут на дальнем берегу*. Развитие русской поэтической речи объективно наталкивало на разрушение системы традиционных «поэтических» элементов и обновление их путем смещенного употребления.

ЛИТЕРАТУРА

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960.

Брюсов В. Я. Сила русского глагола. М., 1973.

Бялый Г. С. Я. Надсон. — В кн.: С. Я. Надсон. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1962.

Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1974.

Григорьева А. Д., Иванова Н. Н. Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969.

Григорьева А. Д., Иванова Н. Н. Язык лирики XIX в. Пушкин — Некрасов. М., 1981.

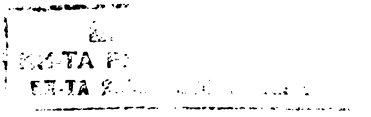
Надсон С. Я. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1962.

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. М., 1971.

Русские писатели о языке / Под ред. Б. В. Томашевского и Ю. Д. Левина. Л., 1954, с. 654—680.

Чехов А. П. Письма, том 2. М., 1975.

Чехов А. П. Письма, том 5. М., 1977.



ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Н. Д. Арутюнова. Аксиология в механизмах жизни и языка 5

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ . . 24

М. Я. Гловинская. К понятию чисто видовой пары 24
Ю. С. Азарх. О связи словообразования с морфологическими категориями 35
Е. В. Падучева. Притяжательное местоимение и проблема залога отглагольного имени 50
Л. А. Соболева. Моделирование сложных прилагательных 67
Т. С. Морозова. Синтаксические свойства глагола и его словообразовательный потенциал 81
Е. Л. Гинзбург. Классификации словообразовательных гнезд русского языка с первообразными прилагательными I. 96
Л. И. Василевская. Метонимия в собственных именах 110

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СТИХОВЕДЕНИЕ . 121

Т. М. Николаева. Оппозиции «туга—веселие» и «тьма—свет» в «Слове о полку Игореве» (анализ фрагмента имманентной смысловой структуры памятника) 121
И. И. Жинкин. Взаимоотношение компонентов интонации в речи и в музыке (публикация С. И. Гиндина) 137
И. И. Ковтунова. Заметки об интонации поэтической речи 149
Г. Н. Иванова-Лукьянова. Особенности ритмико-интонационной организации стихотворной речи 158
М. Л. Гаспаров. Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише 169
Н. А. Кожевникова. Об одном типе звуковых повторов в русской поэзии XVIII—начала XX в. 186
Н. Н. Иванова. Диалог в современной лирике 211
Э. И. Ханпира. О художественной дефиниции 225
В. В. Краснянский. Поэтический штамп в лирике С. Надсона 237

Проблемы структурной лингвистики 1982

Утверждено к печати Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства *Г. Н. Корозо.* Художественный редактор *Т. П. Поленова.* Технический редактор *Е. Н. Евтянова.* Корректоры *М. В. Бортхова, К. П. Лосева*

ИБ № 28330

Сдано в набор 22.02.84. Подписано к печати 07.08.84. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л 15,5. Уч.-изд. л. 18,3. Усл. кр.-отт. 15,5. Тираж 2350 экз. Тип. зак. 1266. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90.

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука» 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12